

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:
М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)
А. Г. Байбородин (Иркутск)
П. В. Басинский (Москва)
А. В. Болдырев (Курск)
А. В. Кирилин (Барнаул)
В. М. Костин (Томск)
А. К. Лаптев (Иркутск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)
М. А. Тарковский (Красноярск)
М. В. Хлебников (Новосибирск)
А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов
ответственный секретарь

Максим Долгов
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова
редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова
редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев
начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов
редактор отдела общественно-политической жизни

Кристина Кармалита
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Ю. С. Лаврова
Верстка: О. Н. Вялкова

9/2019

Содержание

ПРОЗА

Ирина СОЛЯНАЯ. Сами вы жертвы! Повесть.	3
Геннадий БАШКУЕВ. Убить время. Рассказ.	52
Денис ГЕРБЕР. Пробуждение. Рассказы.	71
Янис ГРАНТС. В ожидании лучших дней. Рассказы.	99
Сергей ЗЕЛЬДИН. Профессионал. Рассказ.	113
Анатолий АНДРЕЕВ. Чудо гороховое. Рассказ.	117

ПОЭЗИЯ

Александр РАДАШКЕВИЧ. «Я выучил уроки бытия...» Стихи.	49
Иван ВАСИЛЬЦОВ. О лишних птицах. Стихи.	63
Наталья АХПАШЕВА. Застиранный неба деним. Стихи.	96
Анна ТРУШКИНА. Предчувствие белого. Стихи.	111

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир ЧАГИН. Николай Ауэрбах: бегство на Север.	125
Владислав ОГАРКОВ. Тояма Токанава.	147

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Павел КУРАВСКИЙ. Китеж-град Ларисы Кравченко.	162
---	-----

Книжная полка

Владимир РОМАНОВ. «Там, где солнце садится в телегу...»	182
---	-----

Картинная галерея «Сибирских огней»

Владимир ЧИРКОВ. Сергей Мосиенко. <i>Искусствоведческие письма.</i>	186
--	-----

<i>Авторы номера</i>	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Ирина СОЛЯНАЯ

САМИ ВЫ ЖЕРТВЫ!

Повесть

Я — трудный подросток. А вы думали, что признать это будет тяжело? Ничего подобного. Признать легко, а вот жить с этим — увы, не очень.

Во-первых, я — рыжая. Вы никогда не задумывались, что рыжие — это особенные люди? Я в этом уверена. Если в классе пять брюнеток, три шатенки, десяток русских, то кто их замечает? Но стоит появиться одному рыжему, все сразу обращают на него внимание. «А, это тот, рыжий» или «та самая рыжая» — сразу понятно, о ком ведется речь. Я — рыжая. Меня все знают в младшей школе: и ученики, и учителя. Есть разные степени рыжести, но мне досталась самая противная — кудрявая и конопатая. И потому самая запоминающаяся.

Во-вторых, я хулиганка. Глядя на своих родителей, я думаю, что природа сыграла с ними злую шутку. Быть рыжим — значит быть хулиганом. Это однозначно! Ярлык на тебя навешивают сразу же, ты даже сопротивляться не подумаешь. Взрослым виднее. Потом, раз у тебя переходный возраст, то твое личное мнение можно сразу назвать хамством. Ребенок может иметь свое мнение, а вот если он его высказал — все, хам.

В-третьих, я живу в неполной семье. Это усугубляет мое положение в глазах взрослых. У меня есть мама, отчим и папа. Папу я знаю плохо, вижу редко. Помню, что он давно-давно называл меня Рыжиком. Мы жили в Кубинке, он играл на гитаре, и мы ездили на реку рыбу ловить. Но мама не любит говорить о папе, потому что он неудачник, пьяница и алиментщик. Папа никогда о нас и обо мне не заботился и уж никаких нежностей не выказывал. А мама никогда не ошибается, потому что она — муниципальный служащий. К тому же она руководит целым аналитическим отделом. Отчим у меня нормальный, по крайней мере не пилит меня. Иногда мы играем в шашки, в «Имаджинариум», он водит нас с мамой в кино. Мы делаем вид, что у нас раскрепрасные отношения.

В-четвертых, я влипаю то в одну историю, то в другую. И все они хотя и безобидные, но доставляют хлопот моей маме и ее мужу.

И вот теперь, когда я снова влипла в историю в связи со всеми причинами, которые вам теперь известны, я оказалась в полиции. И именно Игорь приехал в полицию и сидит теперь со мной на какой-то облезлой лавочке. Гладит меня по голове и что-то утешающее шепчет. А мама, как всегда, на работе, муниципально служит.

Я в полиции впервые, и я удивлена тому, как тут грязно и тесно. Постоянно звонит телефон, и толстяк с волосатыми лапами отвечает в трубку грозно, но неразборчиво. Передо мной стеклянное окошко с надписью «Дежурная часть», краска облупилась, и буквы выглядят кривыми — ну совсем как в моих черновиках по русскому. На стекле приклеена старая заскорузлая жвачка. Мама часто мне говорит, что я фокусируюсь на мелочах и надо это изживать. Надо воспитывать и развивать в себе привычку видеть главное. Но если я буду следовать ее совету, то я буду думать о том, что недавно произошло со мной, потому что это — главное. А мне думать об этом совершенно не хочется. Поэтому я фокусируюсь на мелочах и вижу, что в углу коридора скрючился какой-то грязный мужик. До него никому нет никакого дела, и он даже пару раз дергался в сторону выхода, но полицейский за столиком рядом бросал на него суровый взгляд и поправлял кобуру. Наконец этого мужика уводит на второй этаж какая-то толстая тетка в форме. У нее такая узкая юбка, что, кажется, треснет по швам, а ноги обтянуты блестящими колготками, как сосиски в упаковке. Я начинаю улыбаться, но потом спохватываюсь и снова принимаю подобающий унылый вид. Игорь беспрерывно гладит меня по голове, машинально. Это сильно раздражает: кажется, что он вот-вот дырку протрет в моей макушке.

Мне скучно, мне хочется на улицу, мне хочется кушать. Я бы сейчас съела сладкий пирожок с яблоками. Я прямо вижу, как разламываю пирожок. А внутри мягкие протертые яблоки. Не застарелое столовское повидло, а пропаренные и протертые яблоки. Как у Бабулилки.

И как это меня угораздило влипнуть до обеда! Надо было влипнуть, основательно покушав.

Наконец в коридор вбегает молодая женщина, ее шелковый шарф развевается от быстрой ходьбы, и я вижу, что у нее на шее маленькая татуировка в виде веретена. Вы думаете, что я это выдумала? Нет, женщина пробежала мимо меня, пахнув сигаретами и мокрой улицей. Я отчетливо увидела татуировку на шее. Ну хоть что-то интересное за последний час! Женщина требовательно постучала в окошко дежурной части, показала какую-то синюю книжечку, тяжелая дверь раскрылась, и она исчезла за ней, чтобы почти сразу вернуться за мной.

— Здравствуйте, — порывисто обратилась она к Игорю. — Как ты? — спросила она уже у меня.

Я молчала и во все глаза смотрела на ее татуировку, так как женщина склонила голову ко мне, с высоты своего роста. Ее длинные сережки качнулись почти у моего носа.

— У нее фрустрация? — спросила женщина Игоря.

— Не знаю, — растерянно сказал Игорь и поднялся.

— Анна Сергеевна, психолог, — представилась женщина. — Я работаю с вашей дочкой перед ее допросом.

— Она мне не дочь, — смущенно сказал Игорь и сильнее обнял меня за плечи. — Я ее отчим.

— Это плохо, — покачала головой Анна Сергеевна. — Надо, чтобы при допросе был законный представитель ребенка. А где ее мать?

Игорь начал оправдываться, как-то путано объясняя, что моя мать на работе, выехала за пределы района. Выглядело неубедительно, словно «муниципально управлять» для мамы гораздо важнее, чем быть тут со мной, в отделе. Я продолжала рассматривать Анну Сергеевну. Нет, татуировка — это не веретено, я ошиблась. Но что это?

— Что-то не так? — отвлеклась от разговора с Игорем Анна Сергеевна.

— Все норм. — Я подняла брови и помахала ладошкой, а потом кивнула в сторону собеседницы. — Это веретено?

— А... Это? Это не важно... Это... куколка. Ну, такая, от бабочки. — Анна Сергеевна была смущена.

— А, переходная форма от гусеницы к бабочке, — уточнила я, снабдив ответ всепонимающим взглядом. Почему бы и нет? У взрослых могут быть свои заморочки.

К нам со второго этажа спустилась толстая тетка, похожая на ту, что увела странного мужика несколько раньше. У них там, наверху, инкубатор по производству толстых теток? Зайдешь на полчаса Анной Сергеевной, а выйдешь — пивной канистрой.

Тетка направилась к нам и сказала:

— Кулешова Маргарита, две тысячи седьмого года рождения, и психолог Примак Анна Сергеевна пройдут сейчас со мной. Посторонним нельзя. — Последняя фраза явно относилась к Игорю.

Он поднялся. На фоне толстой тетки Игорь выглядел и молодым, и каким-то несущественным. Он начал что-то объяснять тетке, но она менторским тоном (да-да, я знаю, что это такое, потому что моя мама часто говорит моей же бабушке: «Не надо со мной разговаривать менторским тоном!») ответила: «Кулешова Галина Петровна сейчас приедет, я с ней созванивалась».

Удивительно, как можно коверкать глаголы! А взрослые еще борются за чистоту речи. Если вдуматься в глагол «созваниваться», то получится полный бред. Словно стоят две тетки с колокольчиками в руках и пытаются синхронно звонить. Если звон синхронный, то — ура, бейте в ладоши. Но у взрослых не так-то просто, вот они качают-качают колокольчиками, а со-звона и нет...

Так, это я снова отвлеклась на мелочи. А главное — то, что начнется допрос. Если честно, то меня ни разу не допрашивали. В животе заныло.



Я и Анна Сергеевна поднялись за сосисочными ногами на второй этаж, а затем по коридору, а затем и на третий этаж — и оказались в темном, но просторном зале. Над его входом висела табличка «Актальный зал», а внутри были задернуты темные шторы и стояли рядами привинченные к полу деревянные откидные кресла. Пахло пылью и чем-то старым. Может быть, и мышами. Но я раньше не нюхала мышей и не могу утверждать точно. По крайней мере, при описании этой комнаты мне пришли на ум именно мыши. Анна Сергеевна явно удивилась тому, что нас привели сюда.

— Аня, все кабинеты заняты. Посидите пока тут, пока мать Кулешовой не придет. Потом допрашивать начнем.

Ну и словечко — «допрашивать»! Моя русачка упала бы в обморок. Но я не из таковских. Если бы я постоянно в обморок падала, то не смогла бы сейчас писать вот эти воспоминания. Типа мемуары, как пишут все великие люди. А то, что я стану великим человеком, тут уж не сомневайтесь.

Криво улыбнувшись, я уселась на первое попавшееся прикрученное к полу кресло. Интересно, у них тут деревянные кресла воруют? На мне джинсы старые, мне все равно, испачкаюсь или нет. Рядом я положила свой рюкзак. Зеленую шапку, которую я очень люблю, наконец стянула с головы и сунула в него. Куртку расстегнула.

Анна Сергеевна о чем-то переговорила с толстой теткой, и та ушла, а Анна Сергеевна сняла свое черное модное пальто и села рядом со мной на такое же кресло. Под пальто на ней оказался широкий свитер «оверсайз» светло-кофейного цвета и черные брючки в обтяжку.

— Давай знакомиться, — улынулась Анна Сергеевна.

— Мы знакомы, — ответила я ей, очаровательно улыбнувшись, показав все двенадцать брекетов на верхней челюсти, да еще с зелеными подушечками. — Я — Маргарита Кулешова, две тысячи седьмого года рождения, а вы — Анна Сергеевна.

— Все верно, — снова улынулась Анна Сергеевна. — Я подростковый психолог, я работаю с детьми, которые подверглись насилию. Мы немного подождем тут твою маму и приступим к допросу, так?

Я кивнула. Можно подумать, у меня был выбор.

— Я смотрю, ты брекеты носишь? Хочешь иметь красивую улыбку? — продолжила Анна Сергеевна. Она явно хотела установить контакт со мной.

— Нет, это мама хочет, чтобы у меня была красивая улыбка, и она инвестировала бабушкину пенсию в мой рот, — сказала я.

Анна Сергеевна заливисто засмеялась, явно оценив уровень моего юмора. Что ж, зато она убедилась, что я не нахожусь в состоянии фрустрации.

— Расскажи, в каком ты классе и с кем ты дружишь из одноклассников, — продолжила Анна Сергеевна.

— Я учусь в пятом классе, и я ни с кем из одноклассников не дружу, — ответила я ей, так же нахально продемонстрировав брекеты.

— Вот как? — удивилась психолог. — Это редкость. Такая общительная девочка, и нет друзей?

— Я не сказала, что у меня нет друзей, — улыбнулась я снова. — Я сказала, что я ни с кем из одноклассников не дружу.

— Да, я поняла... М-м-м... Ну а как ты учишься? Ходишь ли на какие-то кружки, секции?

— Нормально учусь. Занимаюсь пением и на пианино играю. Еще танцую, занимаюсь верховой ездой, играю в лапту, хожу на бодибилдинг, снимаю видеоклипы, покоряю по субботам Эверест, съедаю сосиски на скорость, еще у меня есть муравьиная ферма и пятнадцать щенков лабрадора, а также два хомяка — Кеша и Глаша, попугай Лариса Петровна и три кошки пятнистого окраса.

— О, не многовато ли для одной девочки? — удивилась Анна Сергеевна.

— В самый раз. — Я достала смартфон и ввела пароль. Потом начала просматривать почту во «ВКонтакте», явно показывая Анне Сергеевне, что мне с ней говорить не о чем.

Анна Сергеевна пристально рассматривала меня, я видела это через челку.

— Ты через класс не перепрыгивала? — спросила она наконец. — Ты выглядишь взрослее. И рост у тебя... М-м-м... какой рост?

Я демонстративно молчала, тыкая в экран. В этот момент я услышала стук каблучков по коридору. Это моя мама мчалась спасти своего рыжего птенца из коварных лап. Влетает в комнату, очки съехали на бок, куртка расстегнута, сумочка тоже, помада размазалась, тушь явно потекла. Плакала. Все понятно. Я поднялась и обняла ее. Это было нетрудно. Во мне уже сто пятьдесят два сантиметра росту, а в маме только сто шестьдесят.

Мама, понятное дело, снова начала плакать. Я всегда испытывала жгучий стыд при виде маминых слез. У меня уже выработался рефлекс, как у собачки Павлова. Мама плачет — мне стыдно. Проиграла Россия в чемпионате мира по футболу, мама плачет — Рите стыдно. Кто-то разбил склянку духов «Ив Роше» (точно не я), мама плачет — Рите стыдно. Теперь мне стало стыдно снова. Меньше всего я ожидала, что мама расплачется при посторонних. И я начала ее утешать, что-то бубнила и даже погладила по мокрым волосам. Мама неожиданно улыбнулась мне и сказала:

— Надеюсь, что все скоро закончится.

Ага, как бы не так!

Толстая тетка оказалась следователем. Она промурыжила нас в своем кабинете почти полтора часа, выпытывая всякие подробности. Не на ту напала! Мне ужасно хотелось есть, мне хотелось домой и не хо-



телось никаких подробностей. Ничего толком не добившись, толстая тет-ка и Анна Сергеевна отпустили нас.

Когда мы ехали домой, Игорь сказал, что у меня состояние фрустрации и что это пройдет нескоро, главное, на меня не давить и не делать вид, что произошло что-то страшное. Я ни в чем не виновата, и не надо меня наказывать. Это ему посоветовала Анна Сергеевна. В общем, типичный случай с названием «На-контакт-не-идет».

На следующее утро меня не пустили в школу, и это не могло не доставить мне дикой радости. Я продолжала лежать в кровати, а мама осталась со мной дома. Она жарила, парила и варила. Ибо только так мамы представляют себе рай для детей. Интернет у меня не отключили, смартфон не отобрали (а могли бы). А вот это уже точно — рай. Раз Игорь сказал, что я ни в чем не виновата, то и наказывать вроде бы не за что.

Провалившись полдня на диване со смартфоном, я изрядно отлежала себе все бока. У меня на полчетвертого был назначен бассейн, и его мне пропускать совершенно не хотелось, но мама была настойчива. Она сказала: «Отдыхать так отдыхать!» — и впихнула в меня изрядный кусок домашней пиццы. Потом, увидев, что я совершенно расслаблена и даже слегка увяла от переедания, она подсела ко мне и доверительным голосом сказала:

— Ну маме-то ты можешь все рассказать, доченька.

Я обреченно вздохнула. Да, недолгим было счастье покоя.

— Мама, мне нечего тебе рассказать, я почти ничего не видела и не запомнила.

— Понимаю, ты сильно испугалась, доча, но все уже позади. Надо просто забыть о плохом.

— Вот я и пытаюсь.

— Ну-ну. Я не это хотела сказать, я хотела узнать, как все это было.

Я же переживаю, мне же надо знать, я же мать.

Я поняла, что мне не отвертеться, и решила, что надо быть максимально краткой в своем рассказе.

— Ты меня будешь ругать?

— Господи, нет, конечно!

— Ну, я шла в музыкалку, уже опаздывала, не поела... Нас задержала русачка, сказала, что надо в тексте ошибки исправлять. Я вышла, уже никого не было из попутчиков. Пошла мимо сосен, вдоль дороги. Иду себе, иду. Смотрю — стоит машина, белая, длинный корпус. И трясется. Дверь сбоку открыта. А там Лерка. Наполовину в машине, ноги — на улице. Я ее по куртке узнала и по дурацким кроссовкам с фонариками на подошвах. Ну, я и подошла к Лерке, дернула ее за ногу. Она от испуга заорала. И тот мужик тоже заорал.

— Какой «тот мужик»? — Мама умела вычленять главное.

— Тот, который показывал мне фотографии на телефоне.



— Риточка, лапочка, какие фотографии? Я не знала ничего про фотографии!

— Это на прошлой неделе было. Я шла на кружок. Так же точно шла одна, вдоль дороги. Меня позвал лысый мужик в серой ветровке и сказал, чтобы я посмотрела в его телефоне, сколько там времени. Типа он не видит. Я посмотрела на экран его телефона, а там была фотография.

— Какая фотография? — Глаза у мамы стали похожи на блюдечки.

— Фотография мужика в голом виде.

Мама закрыла рот рукой, а глаза у нее стали еще круглее.

— Рита, — сказала мама, опомнившись, — ты ничего не придумываешь?

— Нет. Зачем мне?

— Ты мне раньше об этом не говорила.

— Ну, мало ли, не говорила...

— И что там была за фотография?

— Ну, обычная фотография. Стоит мужик голый. В руках какая-то тряпка. А на другой фотографии...

— Там еще и другие фотографии были?

— Были. Он начал листать экран, и там были другие фотографии.

— И что там было?

— Там был этот мужик, все время голый.

— И что ты сделала?

— Я ему сказала, что он придурок, и пошла дальше.

— А он? — Мама сильно волновалась.

— А он крикнул мне, чтобы я никому не говорила. Типа он в карты проиграл кому-то и должен был мне показать эти фотографии.

— Почему именно тебе? — Мама недоумевала и даже сердилась.

— Не знаю, я его раньше не видела. Может, просто кому-то надо было их показать.

— А потом что было?

— А ничего не было. Я несколько раз видела возле школы его машину. И обходила стороной. А он, наверное, в машине был. Но я шла себе и шла. По своим делам.

— Да положи ты этот телефон! — Мама выхватила у меня смартфон из рук и стала листать страницы. — Вот я сейчас посмотрю, что у тебя тут! Небось, читаешь разную дрянь на сайтах.

Я замолчала, понимая, что бесполезно сопротивляться. Мама листала страницы и проверяла вкладки, приговаривая что-то о том, как мне много воли дали и что если бы не бабушка, которая бесконтрольно оплачивает весь мой трафик, она бы отобрала проклятый этот Интернет, и так далее. Ну, обычная тема. Им, значит, можно сидеть и смотреть свою «Игру престолов» с голыми дядьками, а мне нельзя «Мэджик зоопарк» смотреть. А то вдруг я увижу, как одна кошечка с другой кошечкой котятки делают! Зло прямо берет, ей-богу!



— Так, Маргарита, — сказала строго мать, — я еще Игорю покажу твой смартфон, пусть посмотрит историю поисков в Интернете, пусть почитает ленту событий и твою переписку. Доверия тебе нет никакого, учти. — И с гордым, победоносным видом положила телефон в карман и вышла в кухню. А я осталась, дура дурой, с недоеденной пищей и без телефона.

Волей-неволей, а пришлось сесть за пианино, начать разучивать сонатину. Сконцентрироваться было трудно. Я отвлекалась на несущественное. Так, я начала думать о своей учительнице музыки. Эта тетка совершенно уникальная. Она дает мне произведения, которые сроду не найдешь даже в Интернете, чтобы послушать, как юные гении играют. Вот дала мне сонатину какого-то Лукомского. Это что-то какофоничное на три страницы. Я добрела уже до второй страницы, и то только все руки отдельно. Как я буду их соединять — прямо не знаю. Иногда мне думается, что в нашей школе ноты кончились. Моцарт с Бахом были розданы, а что осталось — то мне. Я «помучила кошку» примерно с полчаса. «Мучить кошку» — это выражение моего отчима. Это так мои занятия на пианино Игорь называет. Сам бы попробовал Лукомского сыграть!

Может, я была расстроена тем, что у меня телефон отобрали. Может, я уже устала от лежания на диване, может, меня Лукомский бесит, я не знаю. Но ничего не получалось. Тогда я стала придуриваться. Стала крутиться на стуле поочередно в разные стороны и говорить на разные лады «А-а-а» и «Э-э-э», поочередно опять же. Пока мать не пришла и не сказала, что у нее уже голова болит и пора бы мне делом заняться.

В общем, мысль такая: до вечера мне телефон не отдадут, а надо что-то делать. Причем полезное. Ну, я взяла старое полотенце и вытерла всю пыль с подоконников и столов (однако не заметила особых изменений в комнате). Потом на книжной полке над рабочим столом Игоря переставила все книги и блокноты корешками вовнутрь. Красиво. Беситься будет, конечно, ну на то и взрослые, чтобы беситься. Чтобы уж окончательно доказать свою полезность, я поправила покрывала на диванах, дав пинка коту, и разложила все подушки ромбами. Самой даже понравилось.

И тут зазвонил домашний телефон.

Если честно, то я уже тыщу лет не слышала, чтобы он звонил. Мы им пользуемся исключительно для Интернета. Я взяла трубку. Мне звонила учительница музыки Алла Петровна. Она попросила меня прийти в школу — какой-то срочный вопрос, что-то по поводу ансамбля. А то, говорит, я тебе на мобильный телефон не дозвонилась. Еще бы она дозвонилась! Я пошлепала на кухню и поставила маму в известность: надо мне идти в музыкальную школу, срочное дело. Мама, разумеется, согласилась. Конечно! Если на секцию по плаванию — так нет, а в компанию к Лукомскому — нате.

В общем, я пошла в школу, мне недалеко — два квартала. Мама строго-настроено приказала ничего не говорить о том, что я была в полиции и все такое. Пусть, мол, подольше не узнают, что я жертва преступления. Ну что за психология! Не преступник же! Да и какая я жертва? Сами вы жертвы.

Музыкальная школа у нас находится в здании трактира купца Ломова. Этот купец понастроил в нашем городке кучу разных зданий. Красивые. В одном из них наша администрация, где мама работает, в другом — почта. А вот рядом, на соседней улице, в бывшем трактире наша школа, храм искусств. Что бы мы делали, если бы не Ломов, где бы размещались, ума не приложу.

Аллу Петровну я не очень люблю, к слову сказать. У меня раньше был другой учитель, мы два года занимались с Леонидом Павловичем. Классный дядька. Всегда веселый, усы черные. Постоянно шутил. Пальцы длинные, как у паука, так и бегают. Он постоянно мне показывал, как играть. Всякие хитрости, как быстро переставить пальцы в этюде, как растянуть первый и пятый пальцы на аккорде, как стаккато брать, чтобы не соскальзывали пальцы. Потом его дочь поступила в институт в Москве, и он уехал, а мне сказал: «Ну, Марго, светлая королева, не скучай!». Не знаю, что он имел в виду, но часто меня называл «светлой королевой», это гораздо лучше, чем «бездарь глухая».

Прихожу, смотрю: сидит Алла Петровна, в вечной своей блузке с рюшами, сама на подушку похожа. Выражение лица кислое, как на приеме у зубного врача. Рядом с ней сидит мальчик. Ничего так мальчик, ушастый только. Встал, поздоровался со мной. Коля Федоров зовут. Ну, Коля так Коля. А я Рита Кулешова.

— Риточка, мы упустили из виду ансамбль, в третьем классе ансамбль полагается исполнять. Времени маловато для разучивания, но ничего, поднажмем. Ты же проболела в этом семестре, программу догоняла. Вот, с Колей будешь играть. Тебе вторая партия, Коле — первая. У него слух получше, чувство ритма... В общем, справитесь, — сказала Алла Петровна своим прокисшим голосом.

Очень педагогично, ничего не скажешь. Мама моя всегда говорит, что ученика критиковать в глаза, да еще в присутствии других учеников, никак нельзя.

— Алла Петровна, а ну его, этот ансамбль. Может, я две сонатины Лукомского лучше выучу? И даже Гёдке могу, Черни... — стала вяло протестовать я.

Алла Петровна выпучилась из блузки:

— Риточка, не спорь! Сроку — месяц, будем по субботам дополнительно собираться, и вы сами на дому поиграете. Договоритесь, кто к кому будет приходиться.

Вот дела! Этого еще не хватало! Ушастый Коля тоже весь как-то поник. Стал украдкой чесать коленку. Может, это у него нервный тик?



Алла Петровна вручила мне ноты. Ксерокопия, два листа. Слава прогрессу, мы теперь нотных тетрадей и альбомов не носим. Все легкое, одноразовое, необременительное. Красным фломастером была выделена каждая четная нотная строка. Это моя партия. Одни аккорды, в двух руках.

— Это Чайковский, «Испанский танец», облегченный вариант, — подал голос Коля. — Я уже играл его, только в переложении для одного исполнителя.

М-да. Вундеркинд. Он его играл уже. А я так только с Гёдике да Лукскомским ознакомилась. И как это меня сразу угораздило к Чайковскому приступить?

Алла Петровна пригласила меня и Колю присесть и поочередно сыграла обе партии. Конечно, вторая партия была совершенно непонятная и однообразная. Мелодия-то идет в первой партии, там хотя бы запомнить что-то можно... Эх...

Алла Петровна назначила нам встречу на среду и отпустила. Получается, я к среде должна соединить две руки в своей партии. Ладно, посмотрим.

Мы с Колей пошли к раздевалке. Меня догнала Полина, коротышка из моего класса.

— Ой, Кулешова, привет! А чо ты в школе не была? — Полина хитро улыбалась. Она была ниже меня почти на голову.

— Не была и не была, тебе-то что? — попыталась отвязаться я.

— А к нам из полиции приходила тетка и рассказывала про тебя, что ты вроде как жертва преступления, что ты была подвержена какому-то незаконному воздействию. И теперь созовут родительское собрание, и будут нашу школу охранять по периметру и обзванивать родителей, чтобы проверяли, во сколько мы ушли, во сколько пришли. И приедет с областного телеканала послезавтра какой-то знаменитый журналист. У тебя будут интервью брать, как у жертвы. Блин, везет же, покажут по телику!

— Сама ты жертва, — буркнула я.

— Ой, а про Лерку Кириллову сказали, что ее вообще какой-то мажор изнасиловал! Интересно, это правда? Она в школу не пришла, спросить не у кого.

— Дура ты, — сказала я.

А Коля стоит и слушает, уши аж покраснели.

Я оттолкнула Полину и пошла в раздевалку. Коля поплелся за мной. Ну, думаю, только спроси чего-нибудь у меня, я тебе сразу по красному уху врежу. Нет, молчит и сопит.

— Ты в какой школе учишься? — вдруг невпопад спросил он.

— Ну, в первой.

— Переходи к нам, у нас нормально. Я в Зареченской поселковой учусь.

— Это ж ездить.

— Зато дураков меньше, — резонно сказал Коля и пошел восвояси.

Через неделю в школу ходить стало совсем невозможно. От повышенного внимания к моей особе, хотя никакой журналист интервью у меня не брал. Моя подкованная юридически мама устроила скандал на тему сохранения тайны личности ребенка. Но в региональных новостях был репортаж, где показали школу, учеников издали и нашу вечно беременную собаку Чапу, которая живет за мастерскими. Но я все равно была в центре внимания. На меня и Лерку все пальцами показывали и хихикали за спиной. Лерке особенно худо пришлось, она и на уроки ходила ссутулившись. Я — чуть-чуть прямее. Каждый день школьный психолог вызывала меня к себе в кабинет и вела долгие беседы о том, что нужно все в жизни воспринимать спокойно, с долей критики, не заикливаться на проблемах. Да-да. Особенно когда тебе ежечасно о проблеме напоминают...

Вызывали на допрос в полицию, я кратко рассказала все, что от меня требовалось. Оказывается, я тоже потерпевшая от преступления. Да-да. Мое удивление было ого-го каким! В документах было написано, что этот мужик посягал на мою половую неприкосновенность и нормальное нравственное и психологическое развитие. А я-то думала, что я просто свидетель... И наказание для этого мужика будет гораздо строже, так как у него, получается, было аж два эпизода преступления. От этой мысли я просто сникла. Что я, фотографий не видела пошлых в Интернете? Да и по телевизору иногда такое показывают!

В полиции мне какие-то картинки давали, что-то я раскрашивала, отмечала. Психолог с шарфом была тоже там, надоела изрядно. Зато я узнала, что теперь будет суд и моей маме даже предлагали большие деньги за то, что она попросит судью о снисхождении для этого мужика. А Леркина мама эти деньги взяла. Оказывается, у мужика жена есть и даже две дочери. И он отрицает вину. Поэтому ему много лет лишения свободы грозит. Это я от следователя услышала.

Я подумала, что если бы школьный охранник не подбежал, мне бы никто не поверил. Что мое слово против слова взрослого? Лерка почему-то все отрицает. Не знаю уж почему. Но ее за это отправят в какой-то детский центр. Будут там обследовать и проводить психологическую реабилитацию. Жертва же. Сами вы жертвы, вот я что думаю. Мне врать нечего. Что было — то и рассказала. Телефон мне, кстати, вернули, только все аккаунты удалили из соцсетей. И я, как дура, теперь через элпочту переписываюсь.

Все эти события продолжались три недели. За это время высохла грязь и на березе возле дома появились мелкие клейкие листочки, которые приятно пахли. А береза стала похожа на окутанный дымом силуэт человека.



Затем нарисовался мой папаша, которого я в последние два года только мельком и видела. Пришел как-то вечером к нам домой, с разящим запахом пива. Мы с Колей занимались ансамблем. Коля классно играет, пальцы очень тренированные, кисть твердая и куполом. А у меня по-прежнему так, как у него, не получалось. С чувством ритма — беда. Я заслушиваюсь, как Коля триольки выводит, и на два делю. И получается разнобой. Три четверти, да на каждую по триоли... Запомнить сложно. Коля терпит, начинаем сначала. От начальных аккордов уже тошно, я их выучила от «а» до «бе». Включаем без конца YouTube. Там-тааа, тарарам-там-тааа. Получается все равно колхоз.

Тут мама моя заглядывает. Глаза круглые, очки блестят.

— Рита, папа в гости пришел.

Коля, понятное дело, культурно прощается и уходит. А могли бы позаниматься еще.

Папа без «здрaсте» начинает нудьгу. Что это я в комнате с мальчиком закрываюсь, да что это за мальчик? И вообще, следит ли кто-то за тем, что я в Интернете делаю? Кто мне пишет, что я смотрю? Сам бы и следил, резонно заявляет мама. Нет, мы решили, что ты воспитываешь, а я алименты плачу и не мешаю. Так вот, я решил, что никуда это не годится, у меня такие же права. И я в суд обращусь и отберу дочь себе, буду в ежовых рукавицах держать. Пока у тебя планерки-фигнерки, глава района «самдурак», новый муж — тебе некогда с дочкой заниматься. И ля-ля, и ля-ля в таком духе. Меня никто ни о чем явно спрашивать не собирается. Я развернулась и пошла к себе. Ан нет, дорогуша, я еще не закончил, и вообще, принеси дневник и рассказывай, как так у тебя получилось, что в четверти по географии тройка.

Тут Игорь пришел и встал в дверном проеме. Весь такой подтянутый, спортивный и трезвый. И дома ходит в брюках. А папка мой весь замызганный, в спортивках, но рубашка на все пуговицы застегнута. И запах пива. Мерзкий запах, я с детства его не терплю. В общем, Игорь его культурно за локоток вывел на улицу, а дверь за ним запер. Папа еще долго орал под окнами — прямо стекла звенели. В трехкамерном стеклопакете. Мама стала злиться, все шторы на окнах задернула и, выставив меня в мою комнату, с Игорем стала обсуждать перспективы.

А перспективы были печальные, как я утром узнала.

Мама решила отправить меня в санаторий, о чем и объявила за завтраком. Я аж какао пролила на кота. Не знаю, как вы бы воспринимали, а я — как ссылку. Как преступника, меня ссылают бог знает куда. Но мама непреклонно мне говорит, что никакая это не ссылка, что мне надо отдохнуть, выйти из стресса, потому что я жертва. Сами вы жертвы! Я сразу подумала, а как же ансамбль наш с Колей? Мама на смех меня подняла. Мол, на будущий год вообще не стоит в музыкалку ходить — нет



у меня ни способностей особых, ни желания заниматься. А она устала, видите ли, меня подгонять. А как праздник какой семейный, так я ничего для гостей и сыграть не могу, даже Лукомского. В общем, всё за меня решили: и в санаторий я поеду, и в школу не пойду (кстати, там чаепитие в конце года обычно проходит, и я его пропущу, так как весь май буду в санатории), и музыкалка моя закончится бесславно.

Тут я уже плакать начала. Впервые за все это время. Так обидно стало, ей-богу. И говорю злобно:

— Ты себе ещё одну дочку роди, правильную. Которая на пианино играет, по географии пятерки носит, и в бассейне не тонет, и не хамит.

Мама с Игорем переглянулись как-то странно. Ну да. Все ясно, подозрения мои не на пустом месте.

Игорь стал утешать меня: мол, все образуется, надо сменить обстановку. Надо маму слушаться, она ж мне зла не желает. Ага, вот ты ее и слушайся.

В общем, я позвонила вечером Коле, сказала, что и как. Он расстроился, голос как-то изменился. Глухой такой стал. Сказал, что придет вскорости, и трубку повесил.

Пришел Коля, когда все уж спать легли. Я сплю на первом этаже, мое окно выходит на улицу. Понятно, что я не спала, а как только мне фонариком Коля в окошко осветил, то я окно открыла. Вижу: стоит, в куртке и в шапке. Холодно. Сразу мне говорит:

— Давай убежим с тобой. У меня есть три тыщи денег. Я копил на велосипед. Побежим к бабушке моей. Она живет под Борисоглебском, в деревне. Добрая.

— И на чем туда побежим? На велосипедах?

— Ну, прямо там, на велосипедах! На «Блаблакаре».

Это чо за зверь такой, не знаю. А Коля сказал, что в Интернете на каком-то ресурсе надо зарегистрироваться и со случайным попутчиком ехать. Типа такси, но не по заказу клиента, а как попутчик к водителю. Кто-то едет в Борисоглебск и тебя довезет за минималку.

— Ага, — говорю, — на первый пост милиции и довезет.

Но Колька такой уверенный был.

— А бабуля твоя нас выдаст родителям, — говорю. — Все взрослые заодно и против нас, детей.

— Не, — отвечает, — она у меня мировая бабка. Когда родители разводились, я у нее полтора года жил, ничо.

В общем, сомнения меня взяли. Но уже то хорошо, что Коля себя по-мужски повел. Хоть какой-то выход предлагает. А потом сказал, что один его знакомый так из дома убежал и почти год при монастыре жил. Ничего себе! А я вспомнила эту историю. Его всем городом искали, думали, что утонул. А он приبلудился к монастырю и жил там, потом его в больнице лечили долго. Нормально, думаю, вот нас в сумасшедший дом после монастыря и сдадут. Лучше уж в санаторий ехать.



Ни до чего мы не договорились, Коля домой пошел. А я спать легла. В комнате холодина, все тепло в окно улетело, комнату выстудила.

А утром я и говорю маме:

— Давай ссориться не будем. Давай оставшийся месяц я уж как-то доучусь. А потом можешь меня хоть на все лето к бабушке отправлять в Кубинку, или в санаторий, или еще куда. Обещаю честно исправить тройку по географии.

Мама как-то странно на меня посмотрела. Как на говорящую мебель. А Игорь меня сразу поддержал. Вот, говорит, умный подход. Ребенок тройку исправит, на утренник ходит. Перемелется все — мука будет. Мама снова посмотрела на меня как-то странно и говорит Игорю:

— Она от рук отбилась совсем, в голове одна ерунда. Ее надо изолировать. Эта Лера непутевая, теперь Коля привязался. Знаешь, из какой семьи? Федоровы. Понял? Так-то. Я уже все решила. Не вмешивайся. Если бы это была твоя дочь, ты бы меня понял.

Игорь молча встал из-за стола и сразу ушел в кабинет. Мне его даже жалко стало, жалче, чем себя. Говорю маме:

— Почему ты никого слушать не хочешь? Что ты за царь такой? У нас демократия, у всех есть право голоса.

А мама говорит мне злым таким голосом и очень тихо:

— Пока ты живешь в моем доме, ешь мой хлеб, то нету у тебя никакого права голоса. Будут свои дети — будешь их воспитывать. А пока сиди и помалкивай.

Все мне понятно. Это ее работа испортила. Она привыкла руководить отделом. Там пятнадцать мартышек бегает, по ее же словам, одна тупее другой. Но мы-то не на работе!

Пока я думала, что мне делать, пришлось слезы вытирать и в школу собираться. Меня отвозил Игорь, всю дорогу он молчал, а потом сказал:

— Ты на мать, Ритуся, не обижайся, ей трудно сейчас. Ее надо поддерживать, ей скоро в больницу ложиться на сохранение. А кто за тобой присматривать будет? Вот она и хочет тебя в санаторий отправить. Не упрямясь. Мы же друзья?

Не друзья мы, вообще-то. Ты — отчим, а я — падчерица. И вообще ты подкаблучник. Но я это ему не сказала, я это ему подумала. А сама спрашиваю:

— А что такое сохранение?

Он помялся и говорит:

— Это значит, что нужно покапать в вену витамины, полежать в покое. Обследоваться. У женщин это бывает.

Я так поняла, что ничего страшного. По крайней мере, не операция.

После школы я быстро переделалась в кигуруми, у меня классный кигуруми в виде единорога. И пошла на улицу Суворова — дура дурой, как сказала бы моя мама. Хорошо, что она меня не видела. А пошла я к пап-



ке. Я знала, где он живет, и примерно представляла, что там происходит. На столе, небось, склянки-бутылки, мойва вонючая соленая, драные газеты и окурки. Жена — какая-нибудь толстуха нечесаная.

Пришла на улице Суворова, там живет еще мой одноклассник Паша, которого все зовут Павелик, потому что его мама в первом классе постоянно приходила и пицчала умильно: «А как тут мой Павелик себя ведет?» От Павелика-то я и узнала, что на улице Суворова в доме двадцать теперь мой папка живет. Возле дома стояла машина скорой помощи. За зеленым забором собака привязана. Гавкала громко, но когда я калитку открыла, то села на задние лапы и начала хвостом мести. Мелкая собаченция, почти щенок. Я ее за ухом потрепала, она даже притихла. Крыльцо было новое, недавно покрашенное, даже видны следы от тапок. Кто-то шлепал. Я постучала в дверь, и довольно быстро мне открыла тетка. На ней был белый халат, шапочка, а в руках оранжевый чемодан, с которым ездят фельдшеры скорой помощи.

— Тебе чего? — спросила она строго.

А я говорю:

— У вас попить есть? — Ляпнула, сама не знаю зачем.

А тетя посмотрела на меня странно. Иди, мол, в дом, там тебе и попить дадут, и поесть. Сама в сторону отошла, и я мимо нее протиснулась. Зашла в дом, а там народу что-то многовато. И воют. Темновато в коридоре, я вовнутрь вошла. Вижу: на диване какая-то бабушка лежит, а рядом на табуретках расселись две незнакомые мне тетки и мой папка. Тетки воют, а папка печально так смотрит на них. Увидал меня, подошел и говорит:

— Что тебе надо? Ты зачем сюда пришла? Ты чего так вырядилась?

Слишком много спросил сразу. Я стою и молчу. Поняла, что бабушка, которая на диване, недавно умерла. В общем, им не до меня. Повернулась и пошла молча. Папка меня догнал у двери и говорит:

— Мне некогда, Ритуся, теща вон померла. На тебе... — и протягивает мне сто рублей мятых. — На мороженое, — говорит.

А я ему, такая гордая:

— Да не ем я мороженое, — и пошла домой.

Иду по улице, плакать хочется, аж выть. И тут дождь пошел. И вымокла я до нитки в своем кигуруми. Пришла домой, а на спине у меня какая-то полоса. Ну не хватало еще такого — испортить любимый кигуруми! Эх, легла и доплакала вволю. Дома никого не было, хорошо-то как.

Поплакала-поплакала, да и села разучивать свою партию аккордов. Ансамбль ждать не будет, когда бабку похоронят да кигуруми отчистят. Играю я, а сама размышляю: что за жизненные у меня варианты? Выживай как хочешь. Решила составить себе план по выживанию. Кончила бренчать, села за стол, взяла фломастер и призадумалась. Какой бы план написать?



Но тут с работы пришел Игорь. И говорит, давай, мол, Ритуся, пельмени лопать. Кто же против пельменей?

За обедом он мне и сообщает, что мамка легла в больницу на сохранение и мы к ней завтра вечером сходим. А пока будем жить без мамки, как пираты. Будем есть пельмени, сосиски, яичницу и макароны. Вроде бы я не дуручка и понимаю, что есть мы будем то, что можно сварить или изжарить за десять минут, но делаю вид, что принимаю игру. Взрослым всегда необходимо думать, что мы во что-то играем. Хотя сами играют будь здоров, только не в игрушки, а в людей.

Сели мы пельмени лопать, а Игорь мне и говорит:

— Хочешь, историю расскажу?

— Давай, — говорю. А мне тыщу лет не интересно, какие там истории.

— Я тебе расскажу про одного человека, которого сломали обстоятельства, — говорит Игорь.

Я думала, что он про того маньяка мне расскажет, который свои интимные фотографии нам показывал, но я ошиблась.

— Жил да был один парень, у которого в жизни случилась трагическая история. Отец этого парня был осужден за двойное убийство. Ну, Ритуся, это было дело давнее, сроки заключения были серьезные. Когда убийцу посадили в тюрьму, парень учился в школе, в шестом классе, то есть был чуть постарше тебя. Он приходил в школу, а с ним никто не хотел общаться, все его сторонились.

— А откуда ты знаешь эту историю, прочел где-то? — Я сделала вид, что заинтересована.

— Я с этим парнем учился вместе. Он сидел впереди меня. Я-то всегда был длинный, на задней парте обретался. А этот вот хлюпик сидел впереди. С ним даже девочка после этой истории с убийством сидеть не хотела. Словно тот чумной или заразный. А отец его убил двух незнакомых людей. Вроде как был пьян, пристал к девушке. Какой-то мужчина его стал останавливать, и завязалась драка. Мужчина умер от ножевого ранения, а девушка ударилась головой о бордюр и тоже умерла. Все происходило в парке, в многолюдном месте. В драке много участвовало людей, но как-то сошлось, что виноват оказался именно этот мужчина. У которого были сын и жена.

— Путано рассказываешь, — упрекнула я отчима и продолжила есть пельмени. — Было бы проще, если бы ты называл имена или фамилии. А то говоришь «он» да «тот».

— Да, наверное, ты права, но... — усмехнулся Игорь и потер глаза руками. — Так вот, парень, мой одноклассник, конечно, не верил, что его отец виновен. Сначала он пытался всем объяснить, но его и слушать не хотели. Потом просто дрался, когда его обзывали. Потом он стал замкнутым и необщительным.

— А потом они переехали с мамой в другой город? — предположила я.

— Нет, никто никуда не переехал. Парень ходил в школу, его продолжали дразнить и лупить.

— И ты тоже? — удивилась я.

— И я тоже. Чем я был лучше других? — вздохнул Игорь.

— А что потом?

— Потом прошло несколько лет, и мы окончили школу. С этим парнем так никто и не дружил, он стал сторониться ребят. Со временем его перестали дразнить и вообще делали вид, что его нет. Он хорошо учился, занимался спортом, играл на гитаре и сочинял песни, но ни учителя, ни ученики его не любили.

— Это несправедливо, — сказала я. — В чем же парень виноват?

— Несправедливо, — согласился Игорь. — Но это не конец истории. Его отец отсидел в тюрьме почти двадцать лет. Этот парень ездил к нему на свидания раз в год. К тому времени мать парня уже развелась с отцом и стала жить отдельно. А парень отучился в институте, женился на красивой девушке, у них родилась дочка. Он стал работать инженером. А после его отец вышел из тюрьмы. И поселился с этим парнем, то есть в его семье.

Игорь собрал посуду и стал шумно ее мыть, загудела водогрейка. Он явно ждал вопроса, а я задумалась. История мне показалась какой-то знакомой. Не хотел ли Игорь сказать, что я тоже теперь буду изгоем в классе? Хотя меня никто и не обзывал, и не бил вроде... Мысли мои переключились на себя любимую.

— Ты не закончил историю, — потребовала я продолжения.

— Ну да. — Игорь налил себе в чашку кипятку и сунул пакетик черного чая.

— Я чай не буду, — категорично отказалась я. — Чай после обеда разжижает желудочный сок, что приводит к колиту. Давай рассказывай, кто там сломался.

— Отец его был уже старик, — продолжил Игорь. — На спине и груди, даже на пальцах рук и ног у него были татуировки. Он был лыс, болел закрытой формой туберкулеза и говорил сорванным, прокуренным голосом. Он не хотел работать и долго оформлял пенсию. Жить с ним было невозможно, тем более в доме с маленьким ребенком. Он день и ночь пил, а напившись, орал песни под расстроенную гитару и предъявлял всем претензии. Так продолжалось ровно полгода.

— И что потом? Сын его убил? — спросила я, холодея.

— Нет, сначала сын снял ему квартиру. Но его отец дебоширил и пьянствовал и однажды упал в подъезде и сломал ногу. Ухаживать за ним было некому, и мой знакомый сдал отца в дом-интернат для престарелых, — спокойно ответил Игорь. — Сдал в интернат, потому что ему тоже надо было как-то жить, воспитывать дочь, работать. А его отец стал писать на него жалобы во все инстанции, у парня начались проблемы на работе, его стали вызывать в полицию. И парень начал выпивать.



Я видел его в то время. Он сильно изменился. В его облике стал проглядывать его отец — неудачник, злобный матерщинник... Потом его отец повесился на подтяжках в своей комнате в интернате, спасти его не удалось.

Игорь пристально посмотрел на меня. Но я сидела подавленная и молчала. Вся эта история мне очень-очень не нравилась.

— Но парень уже покатился по наклонной. Он стал пить, потерял работу, часто ругался с женой, в смерти отца винил себя. В итоге жена его бросила и ушла с дочкой к другому.

— Что ты хочешь сказать мне этой историей? — спросила я. Настроение у меня уже упало.

— Я хочу сказать тебе две вещи. Во-первых, мы не знаем своей судьбы. Сначала ты на коне, а потом под его копытом. И это может произойти с любым. Поэтому все надо воспринимать спокойно, без паники. И дурное, и хорошее. И быть готовым к любому повороту событий. Во-вторых, я хочу тебе сказать, что ты не должна брать пример с этого парня. Нельзя себя постоянно винить. Никто не несет ответственности за действия других людей. — Последнюю фразу Игорь произнес медленно, как бы по слогам. — Этот парень напрасно считал себя виноватым во всем, что происходило с его отцом. И ты тоже не должна чувствовать никакой вины за собой. Я смотрю, Ритуся, у тебя все время глаза на мокром месте. Но ты ни в чем не виновата. Ты не должна думать о том мужчине, который показывал тебе свои гадкие фотографии и э-э... обидел Леру. Ты не должна себя винить в том, что его посадят надолго. Но ты и не должна думать, что ты жертва. Ты должна жить так, как и раньше. Радоваться жизни, доверять людям. По крайней мере, родителям и друзьям. Ты должна перестать прятаться в скорлупу.

— Это ты о моем отце рассказал, да? И о дедушке Гоше? — В моем голосе слезы почти не слышались.

Игорь помолчал, складывая тарелки в сушилку.

— Ты умная девочка, Рита. Делай правильные выводы, не повторяй чужих ошибок. — Игорь погладил меня по голове. И я начала плакать.

— Ну что такое, Ритуся?.. — Он сел на корточки передо мной.

— У меня кигуруми испортился, на спине какая-то полоса. Я под дождь попала... — Я просто ничего не могла сказать в тот момент. Но думаю, что Игорь все понял правильно.

Три дня мы ели пельмени и яичницу. С мамой я говорила по скайпу. А потом наконец мы пришли к маме в больницу. В палате нам сидеть не разрешили, и мы вышли во дворик. На маме был какой-то необъятный спортивный костюм, и она была вообще без косметики, а волосы скототы на затылке пучком. Я ее давно такой не видела. Бледная, сонная какая-то. Я сразу ее обняла и прижалась к ней. Но от нее пахло больницей.



— Эй, малыш, все не так уж плохо, — сказала она мне. — Просто у меня кровать жесткая, я ночами уснуть не могу.

— Может, домой тогда поедем? — спросила с тайной надеждой я.

— Нет, до конца следующей недели точно пролежу тут.

Игорь начал копаться в большом пакете, показывая, каких вкусняшек мы ей привезли. Молодые персики, творожки, сок...

— Забери все, меня тошнит все время, — сказала мама. — Лучше расскажите, какие у вас дела и делици.

Игорь бодрым голосом начал рассказывать какую-то нудьгу про работу; я не стала слушать, а сидела, прижавшись к маме, и ковыряла ногтем лавочку. Я даже не догадывалась, как я соскучилась по мамке. Скайп не то, обнимашек никто не отменял.

— Ну а ты что же молчишь? — спросила мама и поцеловала меня в пробор волос.

— Ой, наша Ритуся дала всем жару! — с преувеличенным восторгом начал Игорь. — Она выступала на концерте, и все просто попадали в обморок.

— Да ты что! — Мама засмеялась, глаза у нее заблестели.

— Ну да. Мы с Колей играли ансамбль. Мы его еще на экзамене в среду играть будем. Прямо нормально так вышло.

— Не нормально, а классно, даже я прослезился.

— Заснял видео? — спросила мама.

— Да, приедешь домой — покажу.

Как всегда, взрослые все обсудили, так и не выслушав мое мнение. А что бы я им сказала? Да, я не подкачала. Партию свою не забыла, отбарабанила все аккорды в унисон с Колей. Леонид Павлович сказал бы про такую игру: «Недостаточно воспроизвести нотный текст. Надо еще и прочувствовать тему произведения и замысел автора». Да куда уж нам уж! Хотя сыграли без фальшивых нот, и на том ура. Волновалась, аж вспотела и заколка на косе набок съехала. И была я похожа на чучело, когда мельком взглянула на себя в зеркало в холле. Выше Коли на полголовы, юбка в складку дурацкая, до колен, бабушачья. Жилетка в клеточку вся от моего волнения мокрая. И Коля такой прилизанный и сосредоточенный, и оттого словно незнакомый. Игорь после концерта сразу меня поволок домой, я даже поговорить с Колей не успела. Да кому какое дело-то до наших, детских, разговоров? А звонить Коле бесполезно, он никогда трубку не берет.

Это я бы маме рассказала, но она Игоря слушала.

Мама тем временем свое заладила:

— В школе как дела?

— Нормально.

— Кушаешь хорошо, чем там тебя Игорь кормит?

— Нормально.

— Голова не болит?



— Не, нормально.

Пообщались, в общем. Мама в палату пошла, напоследок меня в пробор чмокнула.

Мы же домой поехали.

А дома нас уже ждала бабушка из Кубинки. Я в детстве называла ее Бабулинка из Кубика. Так и прижилось. Она приехала без предупреждения. На такси с автовокзала. С внушительным чемоданом, внушительным животом и внушительным выражением лица. Бабулинка из Кубика не очень любит Игоря, и потому она стояла у закрытых ворот с грозным выражением лица. Поздоровалась с нами и бегло окинула взглядом машину Игоря, взгляд ее выражал: «Опять новая, деньги девать некуда».

Бабулинка сказала:

— Заморили дитя совсем — худая, как циркуль! — и сжала меня в своих мощных объятиях. От Бабулинки всегда вкусно пахло. В этот раз ванильными булочками.

Игорь спешно впустил Бабулинку во двор, затащил ее чемодан и хотел ретироваться в гараж. Но не тут-то было. Бабулинка с порога дома спросила строго:

— А скажи, дорогой мой зятек, почему я о своей внучке истории из Интернета узнаю, а не от вас?

И моему отчиму пришлось развернуть лыжи обратно, то есть зайти в дом вместе с нами. И тут понеслось. Бабулинка начала коня на скаку останавливать, входя в горящую избу. И сдержать ее было трудно. Как-никак бывший завуч школы и ветеран педагогического труда, отдавший сорок лет своей жизни делу воспитания подрастающего поколения. Игорь спокойно слушал и смотрел, как она кричит и машет руками, при этом ловко вытолкнул меня за дверь кухни. Мне сначала было интересно слушать, но потом стало стыдно. Неужели для того, чтобы показать, как она меня сильно любит, надо так дико орать? Тем более на Игоря, который ни в чем не виноват.

Я села в своей комнате и стала мечтать, как было бы здорово, если бы мы с Колей убежали. Мы бы спали в лесу на деревьях, потому что надо опасаться волков и разных лис. Ведь они не только нападают на спящих и могут запросто загрызть, но и переносят бешенство, а это верная смерть. Мы бы пели песни у пешеходных переходов, и люди бы давали нам деньги, а мы в «Макдоналдсе» покупали бы себе еду и мыли головы в их бесплатных туалетах. Я такое видела, честно. Потом мы бы прибились к какой-нибудь коммуне художников или артистов, на худой конец — к бродячему цирку. Мы бы таскали декорации, помогали бы во всем. И никто бы нас не искал, вот это главное по большому счету. Главное...

Но мне не дали всласть помечтать. Бабулинка уже наоралась в свое удовольствие и позвала меня пить чай. И я со вздохом попелась, потому что предчувствовала неприятные расспросы. Однако Бабулинка энер-



гично намазывала тосты вареньем (и когда она успела их поджарить?), а ванильные булочки — маслом. А сверху на булочках размещала пласты прекрасного дырчатого вонючего сыра, который я так сильно люблю.

Игорь вежливо отказался с нами чаевничать, набрал бутербродов и ушел в кабинет. Бабулинка рассказывала мне свои последние новости. У нас было заведено, что Бабулинка с дедом к нам ездили, а мы сами в Кубинке почти и не бывали. Поэтому хоть Бабулинка и была многословной, да только я никого из ее знакомых и не знала. Слушала и ела. Деда Витя после перелома оклемался, сначала ходил по комнате с двумя палочками. А теперь сам даже на машине ездит. Соседский кот Барсик разъелся до семи килограммов, хотя я его помнила мелким полудохлым паразитом со слезящимися глазами. Умерла наша соседка по прозвищу Би-Би-Си, любившая подслушивать под окнами. А во дворе спилили тополь, на который мы с Викой однажды залезли, а снимал нас оттуда дворник. А в его стволе — не дворника, а тополя — оказалась такая широкая дырка, что туда запросто поместится любой человек. А еще открылся новый супермаркет, но Бабулинка все равно покупает молоко, творог и сыр у Ильиничны. Вика приедет на все лето в Кубинку, и мне будет с кем играть: она уже не такая противная, как в прошлом году, и даже стала заниматься народными танцами. А еще бабушка сказала, что если я приеду к ней на все лето, то она подарит мне щенка.

В общем, предложение о приезде на каникулы вполне приемлемое. К тому же я поняла, как сильно соскучилась по деду и как мне ужасно не хватало его колючих усов и большой родинки у левого глаза, которая делала его лицо добрым и милым. Но вся беда в том, что у меня были неоконченные дела...

Как же так? Взять и уехать? Оставить мужика с его интимными фотографиями? Оставить Колю с его «Испанским танцем» и непутевой мамашей, про которую в нашем городе все говорят грязные сплетни? Оставить отца, который пьет и печалится? Оставить недосказанной историю про деда Гошу? Оставить, в конце концов, мечту убежать из дома и стать бродягой? Передо мной — переезд в Кубинку на лето, где все благополучно и творог с сыром на завтрак. «От Ильиничны». И дедушка, которому надо ходить с опорой, не лениться и тренировать больную ногу. И там я уже не трудный подросток или жертва преступления, а просто Ритуся. Странно все это. Но я же, в конце концов, ребенок!

Короче, мы пару дней подождали маму из больницы, и решено было ехать. Поскольку с Бабулинкой спорить никто не решался, а у мамы как-то все силы сразу кончились, словно в больнице всю кровь из нее выпили, то уехать было гораздо легче, чем казалось раньше. В общем, хотя и выглядело все так, словно меня сбагрили, но в целом я была не против, так как надоело что-то решать и что-то доказывать. Это был типичный эскейп, как говорят психологи. Я стала много шариться по сайтам психологов, а что делать-то? Выживать надо среди этих взрослых.



Перед отъездом был утренник в классе. Бабулинка очень возмущалась, рассказывая о том, что раньше никаких выпускных не было, только единственный — после окончания школы. А теперь из детского сада — выпускной, из начальной школы — выпускной, из девятого класса — тоже. Каждый год — утренник с платьем и банкетом. Но мы не стали протестное поведение демонстрировать, купили мне какое-то платье в горошек и бант такой же, ничо. Читали стихи, пели песни, съели много сладкого и жирного. Порядком устали. Мы со специально приглашенным Колькой сыграли дуэтом хитовый «Испанский танец», Геля Муромцева спела песню «Из чего же, из чего же, из чего же...», а Иван Баланов сыграл что-то невыразимо печальное на блок-флейте.

Мы с Колькой держались вместе, и на нем была даже приличная рубашка. В общем, все решили, что он мой бойфренд. Мне только два момента сильно не понравились: его заживающий синяк на левой скуле и какой-то тухлый намек на интернат в разговоре. То ли его в интернат сдавать будут, то ли он туда сам собрался, я ничего толком не поняла. Музыка шумела, все скакали, нас тормозили взрослые, постоянно осведомляясь, весело ли нам. Толком не поговоришь. Но выглядел Коля бодро, сожрал три пирожных с литром сока, и я подумала, что про интернат его шутка была неудачной. Сделали общую фотографию, где я дылда каланчовая и лохмы мои рыжие под бантом в горошек сияют в центре. Как сказала Бабулинка: «Наша Ритуся самая красивая». Ну дык.

Дома я спросила у мамы, когда меня на суд вызовут, но она мне ответила, что этого не произойдет. Мол, судья решил, что допрашивать детей по такому делу — значит нанести жертвам преступления дополнительную психологическую травму, поэтому мои показания просто зачитают в суде. А когда суд будет — не сказала. Мамка сказала, что они с Игорем съезжают в дом отдыха: подлечиться надо и отвлечься от проблем. Так что у них тоже было чемоданное настроение, да и уезжали они почти сразу после нас с Бабулинкой.

На всякий случай я, уже сидя на чемоданах, позвонила папке. Просто так. Он трубку не взял, а в телефоне противным механическим голосом мне сказали: «Абонент не обслуживается».

Я пришла к выводу, что уже ничего не держит меня в этом городе, учитывая также Колькин отъезд на лето к бабушке в Борисоглебск. То есть все как-то прекрасно обошлось и без меня: и мужик, и Коля, и папка, и мамка с Игорем. Один кот, сирота, ходил кругами и заглядывал в глаза.

Кстати, я забыла сказать, что Бабулинка ничего у меня не выпытывала о той истории с мужиком, Леркой и этими фотографиями. Но, видимо, она все выспросила у мамы и Игоря.

Перед отъездом ко мне прямо домой пришла Анна Сергеевна. Это, конечно, стало для меня неожиданностью. Свой приход она объяснила



тем, что ей надо протестировать маму и меня, чтобы написать психологическое заключение для суда. Со своими обязанностями Анна Сергеевна справилась довольно быстро. Кстати, татуировки у нее на шее я не заметила. Наверное, она была не постоянная, а смываемая. После чего мне стало как-то грустновато, и я спросила:

— Что, Анна Сергеевна, куколка стала бабочкой или стегозавром? — на что Анна Сергеевна засмеялась, но не ответила. Это такая манера всех взрослых — не замечать наших вопросов или делать вид, что они не замечают их.

Напоследок она подарила мне стёрку в виде карапуза. Нажимаешь на живот, а у него из памперса коричневая кашка высовывается. Такая же резиновая, как и сам карапуз. Очень смешно, я оценила. Анна Сергеевна сказала, что моя семья снята с контроля и можно успокоиться. О как! А я и не нервничала особенно, так как не знала, что мы на контроле. Вот так живешь и не знаешь, что каждый твой шаг с дрона снимают и фиксируют. Шучу.

Итак, я с почти спокойной душой уехала в Кубинку. И прожила там ровно шестьдесят три дня. И могу я сказать, что это были не самые плохие мои дни. Я много читала, причем для деда. У него глаукома начала развиваться, а он трусит оперироваться. И в итоге я читала ему и Диккенса, и Шолохова. Мало что поняла и запомнила, но некоторые моменты меня глубоко потрясли. Например, когда я узнала, что благодетелем Пипа из «Больших надежд» был каторжник. Если провести параллель между Пипом и мной, как вообще требует наша русачка при чтении романа, то я была бы должна простить мужика с интимными фотографиями, а он бы оплатил мое обучение в МГУ, например. Жесть!

Еще я разучила «Полонез» Огинского на пианино соседки. Классная, я вам скажу, вещь. Приеду и сыграю учительнице своей, пусть облезет по швам подушечной блузки. Еще я написала письмо в редакцию сканвордов, так как мы с дедом отгадали все призовые сканворды, но нам ничего не ответили. Наверное, письмо затерялось на почте или наши призы кто-то присвоил.

Бабулинка научила меня печь оладьи, оказалось, что это совсем не сложно. Надо просто следить, чтобы масло не брызгало и не обожгло. А если оладьи не пропекутся, то не беда. Деда все равно всё слопает с вареньем!

А еще мы ездили с дедом и Бабулиной на рыбалку. Бабулинка управляла старым «рено», мы нашли какие-то далекие от цивилизации дебри, чтобы было можно наслаждаться природой в одиночестве. И ничего не поймали, потому что мы с дедом постоянно ржали как кони и пугали рыбу. А во второй раз Бабулинка даже не разрешила деду удить, так как возле воды было много коряг и дед мог снова упасть и сломать ногу. Но все равно нам было весело. Мы жарили на костре хлеб и сосиски



и смачно их поедали. В результате наших рыбалок ни одной рыбы не пострадало.

С Викой мы играли мало, она оказалась еще более придурочной, чем в прошлом году. Она постоянно делала селфи, выпячивая губы, вела «репортажи» в YouTube о том, что лежит в ее сумочке и что она ела на завтрак. При этом Вика недоумевала, отчего у ее роликов так мало просмотров, ведь другие такие же «девчули» — в топе. От одних слов «девчули» и «стримы» меня тошнило.

С мамой я каждый день говорила по скайпу. И несколько раз мне звонил папка и даже положил мне тысячу рублей на счет телефона. Атракцион «Неслыханная щедрость». Я так быстро перечисляю, потому что это все совсем незначительное. Хотя и радостное, и печальное, но... несущественное.

А существенное началось после встречи с Чумой.

С Чумой мы познакомились так. Я нашла в газете объявление о продаже щенков. Помните, мне бабушка обещала собаку купить? Так вот, Бабулинка инициативы не проявляет, я решила сама обойти всех потенциальных продавцов щенков. Мне нравятся корги и мопсы, но разве хватит на их покупку карманных денег? Ну, буду тогда выбирать симпатичную мордашу, пусть и дворняжку. В общем, я пошла по объявлениям. И первый, с кем я встретилась, он же и последний, был Чума.

По объявлению я пришла на соседнюю улицу, где уже начинался частный сектор. Среди маленьких и уютных домиков были и особняки, которые нелепо втиснулись в узкие участки. Я все шла мимо них и рассматривала, какие у них ворота и какие у них окна. Кое-где из-за заборов было слышно тявканье собак. А возле дома, покрашенного белым, я увидела торчащий из-под забора длинный нос. Бедная псина не могла вылезти наружу, чтобы облаять прохожих. В итоге она подкопала под забором ровно настолько, чтобы нос высунуть и рычать, у нее даже пасть для лая в такой ямке не открывалась. Но мимо этого дома и псины я тоже прошла и дошла до небольшой завалюшки под номером девятнадцать.

Там у калитки валялся разбитый скутер, а рядом, с рукой на перевязи, стоял пацан немного старше меня. У него были ярко-зеленые волосы, которые закрывали ему пол-лица. Вид у него был задорный и независимый. Надо ли говорить, что он мне сразу понравился? А на земле сидел второй пацан, которого я особенно не рассмотрела, и он возился со скутером.

Я подошла и спросила, тут ли отдают щенков в хорошие руки. Пацан с зелеными волосами посмотрел в мою сторону и сказал:

— А ты не местная, мы тебе щенка не отдадим.

На что я ответила, что я местная, и еще какая местная: уже живу тут целый месяц и со всеми перезнакомилась. А раз они щенков раздают, а не продают, видно, плохи их дела — никто брать щенков не хочет.

И такому облитому зеленкой челу можно было бы не кобениться. На это пацан хмыкнул и сказал:

— Меня Чума зовут, — и потопал во двор.

Второй пацан посмотрел на меня с земли и снова стал что-то откручивать и отвинчивать в сломанном скутере.

Чуму я недолго ждала. Он вернулся с какой-то тряпкой, которую неуклюже прижимал к себе, а в тряпку были укутаны два щенка. Уже не слепые. Один худой и черный с белыми ушками и лапками, а второй упитанный, светленький, с белым пятном на лбу. Я, конечно же, сказала: «Ух ты, какие красивые!» — и взяла упитанного на руки. Тот стал вертеться и кочевряжиться и даже попытался написать мне на джинсы, но я проворно вытянула руки вперед и щенок намочил скутер, а не меня.

— Спасибо, — возмущенно сказал пацан, который сидел на земле.

— Признал за свою, — удовлетворенно сказал Чума и отнес второго щенка обратно во двор.

Когда Чума вернулся, я спросила:

— А его как зовут?

— Володя, — сказал Чума, кивнув на друга.

— Не, щенка как зовут? — уточнила я.

— Гоблин, — сказал Чума, любясь произведенным эффектом.

— Да ну, фигня, — усмехнулась я. Меня, стреляного воробья, на мякине не проведешь.

— Порода — дворянин обыкновенный. Характер нордический, — продолжал объяснять Чума.

— И что, откликается он на Гоблина? — спросила я.

— Не, — Чума почесал в затылке. — Не обучен еще. Команд тоже не знает, ибо мелкий.

— Ясно, — сказала я и уже собиралась попрощаться, но Чума спросил:

— Ты Селиверстовой Галины Тимофеевны внучка?

— Ну да, а ты по чему понял?

— Да видел тебя с ней как-то в магазине.

— А я тебя не заметила, — удивилась я.

— А Чума у нас уборщиком в «Пятерочке» работал. Кто на уборщиков внимание обращает! — неожиданно язвительно сообщил Володя, а Чума попытался замахнуться на него замотанной рукой.

— О как, — я не нашлась, что ответить.

— Да, работал, — подтвердил Чума, — потому что денег хотел подзаработать, да вот — подзаработал...

— Это ты там руку сломал? — спросила я из вежливости.

— Ага, там. Только не сломал. Трещина у меня.

— А я думала, что ты на скутере разбился.

— Не, это Володькин скутер. Он мне его продать хочет, да только я не хочу покупать.



— Ну да, рухлядь, — со знанием дела сказала я.

— А чо это у тебя такое зеленое во рту? — спросил Володя.

— Брекеты, чтобы зубы выпрямлять, — нехотя сказала я.

Больше говорить вроде было не о чем, и я потопала домой.

Бабулинка, конечно, была не в большом восторге, когда я притащила Гоблина к нам во двор, а деду щенок очень понравился. Только я не говорила, что это Гоблин, просто сказала, что взяла его на соседней улице. Дед предложил назвать пса Дружок. Конечно, очень банально, но я уж всему была рада: по крайней мере, меня не отправили обратно — возвращать щенка.

После ужина я спросила у Бабулинки, знает ли она Чуму. А Бабулинка мне назидательно ответила, что никакого Чуму она не знает, а знает Костю Прудникова, который живет на соседней улице, а Бабулинка учила его отца в школе и даже была его классным руководителем. Только Костя живет теперь с бабушкой, а родители в Москве на заработках. И Костя совсем от рук отбился: волосы вон выкрасил, музыку тяжелую слушает... В общем, сообщила мне много лишней и несущественной информации.

На следующий день я пошла со щенком гулять по всем правилам. Деда с утра купил ошейник и поводок, я с трудом нарядила в собачью сбрую Дружка, и мы двинулись в парк. Но Дружок никак не хотел идти возле ноги, он то несся вперед, как ужаленный, то садился на дороге и приветливо мел хвостом. То он бежал в кусты за пчелой, то пытался съесть конфетный фантик. Пока мы дошли до парка, я устала дико, словно пробежала кросс, хотя идти от дома моей бабушки до парка всего ничего.

Парк местные жители называли Козлиным Двором, так как предприимчивые бабульки пасли в парке коз, несмотря на то что их гонял участковый и ругали мамашки с колясками. Одна такая мамашка стала кричать на меня, чтобы я забрала свою собаку, которая нагадит в песочницу и укусит кого-нибудь из детей. Я не стала с ней спорить, а просто отошла подальше и села под большим деревом у дорожки, а Дружок рядом и стал грызть мой сандалет: видимо, и он прилично устал.

И тут я увидела Чуму и Володьку. Они ехали на велосипеде, при этом Володька крутил педали, а Чума сидел сзади на алюминиевом багажнике. Лихо затормозив, Володька остановился на асфальтированной дорожке.

— Привет, — в один голос сказали пацаны.

— Приветы, — ответила я.

— Как там Гоблин поживает? — спросил Чума.

— Дружок, — подчеркнула я голосом, — в норме.

А Дружок, заслышав знакомые голоса, вскочил и принялся скакать вокруг велосипеда и радостно повизгивать.

— Ты ему простоквашу давай, там много кальция, — со знанием дела посоветовал Чума.

— Ладно, — пожала я плечами.

— Слушай, а с кем ты тут тусишь? — спросил Чума неожиданно.

— Да так, ни с кем, дома сижу с дедом и бабкой.

— Слушай, айда с нами завтра на заброшку. Тут такая классная заброшка есть на улице Челюскинцев, там много можно чего найти.

— А что это такое? — удивилась я.

— А это дом такой. В котором никто не живет. Мы туда залезем и какой-нибудь хабар найдем.

— Что за хабар? Это как в детстве секретики делали? — усмехнулась я недоверчиво.

— Нет, не секретики. Сама ты секретики, — сказал Володька. — Это старые вещи ценные. Например, шахматы, открытки советских времен, фотки генералов там...

— Да какие тут у вас в Кубинке генералы! — презрительно сказала я.

— А, ты не знаешь. Тут в одной заброшке чемодан нашли, а под его крышкой — целая пачка советских рублей. Их на барахолке толкнули — реальный хабар. Там еще два значка с космонавтами были, по триста рублей толкнули.

— Да это ж незаконно — по домам чужим лазить, — сказала я.

— Пряма там, незаконно! — возразил Чума и как-то хитро подмигнул. — Во-первых, никто не узнает, а во-вторых, там реально никто не живет уж лет десять. Окна заколочены, хозяин умер.

— Ну так и идите без меня, кто вам мешают? — спросила я, чуя подвох.

Пацаны переглянулись. У них был такой вид, будто бы они сомневаются, говорить мне всю правду или нет. Потом Чума сказал Володьке вполголоса:

— Ну, кореш, это уж совсем не честно, — и, уже обратившись ко мне, пояснил: — Понимаешь, ты же мелкая. И если что-то пойдет не так, то ты всегда можешь сказать, что заблудилась, то да се. Города не знаешь, собаку искала или вроде того. И тебе ничего не будет. Типа будешь отвлекать внимание. А мы тем временем смоемся. А иначе нам по шапке надают, у нас уже приводы у каждого есть. Так-то вообще зашибись, все законно будет. И хабар мы бы поделили по-братски.

— Шел бы ты лесом. — Я со злостью поднялась и пошла прочь от них.

— Ну и дура! — крикнул мне вслед Володька и, подумав, добавил: — Рыжая!

Ах, это так обидно, можно подумать. Фи!

Я побрела домой, на душе стало противненько. Один Дружок мне беззаветно был рад, ну и деда тоже. Потому что, когда я пришла домой, он сказал, что мы пойдем сейчас червей копать, а завтра на рыбалку



поедем. И поговаривают, сказал, что уже земляника спеет, кое-где уже много ее спелой. Ну, это ж совсем другой коленкор, как сказал бы Игорь. Что такое коленкор, я не знаю, — наверное, то же, что и дебаркадер или кульман, — но звучит отлично.

Настроение у меня улучшилось, я почти перестала дуться. Но в голове засела мысль, что там за заброшка такая и кто там жил. Можно было бы сходить, посмотреть просто. Без всяких Володек и Чумы.

Накопали мы червей, деда пошел вздремнуть, я посмотрела на часы — а там половина четвертого. Не поздно, в самый раз. И погулила, где эта улица Челюскинцев в Кубинке. Ну, не то чтобы рядом с Бабулинкиным домом, но примерно полчаса ходу. Не критично. Я и пошла, с Дружком. С ним не так страшно.

Пришла я к улице Челюскинцев. Не особенно длинная, если на карту смотреть. И дома не слишком симпатичные, типичные «шанхай», старье одно с пристройками и сарайчиками. Прошлась, вертя головой. Нашла один дом, который больше всех смахивал на заброшку. Но там из-за калитки собаченция здоровая лаять начала. Перепугала моего Дружка, он тоже затыкал. Пошли дальше. Если честно, то в любой дом заходи — они все с привидениями. Но в конце улицы мне особенно повезло: я увидела настоящую заброшку.

Вообще-то я знаю, что в чужие дома лазить нельзя, особенно если они заперты. Но в то же время распирало от любопытства, что там за дом такой.

Я вошла во двор и быстро за собой закрыла калитку. Дом был явно нежилой, хотя двор не казался запущенным. Свалка, конечно, по углам имелась. Но бурьяна в рост человека там точно не росло, и сараи были закрыты. На двери висел замок, а ставни были заколочены досками. Всё, адью. Внутрь не попадешь запросто. На взлом я не согласна была. И уже собралась уйти, как увидела на крыльце латунную табличку, покрытую паутиной. Я смахнула паутину и прочла: «Кулешова Э. П.»...

Н-да... Стало мне как-то тоскливо и неприятно. Кулешова Зинаида Петровна — так звали мою вторую бабушку, которую я совсем не помню.

Пришла я домой и легла носом к стене. Я так люблю делать, потому что на обоях есть вилюшки и разводы и если прищурить глаза или скосить их к носу, то можно увидеть разных чудищ или замок с флагом на башне. В зависимости от настроения. Или заснуть, что тоже хорошо, потому что поспишь — и настроение улучшается. Проснулась я уже после ужина, да и то потому, что Бабулинка ладонью мой лоб трогала. Бабулинке было важно, чтобы ее внученька не заболела и вовремя кушала. А что у внученьки на душе — никто сроду не спросит.

Наутро поехали мы с дедом на рыбалку. Бабулинка с собой не взяли, так как она решила сварить малиновое варенье. Перспектива свежего варенья и даже пенок меня очень обрадовала, поэтому градус моего настро-

ения повысился, но все-таки мне очень хотелось поговорить с дедой. Поэтому, как только мы приехали на речку и обустроились на месте, я стала есть бутерброды и как бы промежду прочим спросила:

— Деда, а где я с родителями жила до того, как мы переехали из Кубинки?

Деда посмотрел на меня внимательно из-под очков, помедлил немного, откусывая леску и завязывая на ней узелок, и сказал:

— Да тут и жили, в Кубинке. Недолго пожили. Тебе три года было, и вы в Каменский переехали.

— А я совсем не помню, как мы тут жили, — уныло сказала я.

— Это обычное дело, Рита, — успокоил меня деда. — Многие не помнят раннее детство.

— А мы с вами жили или в отдельном доме? — продолжала допытываться я.

— Вы с бабушкой Зиной жили, Рита, — сказал дед и вздохнул, своим видом показывая, что разговор ему неприятен.

— А расскажи мне про то время, — попросила я.

— Знаешь, Рита, ты лучше у мамы об этом спроси. Ну или у папы. — Дед стал одну из удочек вытаскивать из воды, приговаривая: — Попался дурачок на крючок!

— Вот что, дед, надоели мне эти тайны, — сказала я строго. — У мамы ни о чем не спросишь, она занята вечно. Отец, ты знаешь, не особенно с нами общается. Так что спросить мне не у кого. Да так уж вышло, что я нашла тот дом, где баба Зина жила, и хочу про этот дом знать.

Дед кинул карасика в ведро, тот звучно плюхнулся, кружась в одиночестве у поверхности воды.

— Ишь ты, сыщик какой, нашла она, — хитро улыбнулся деда. — Ну, раз нашла, то, значит, и в дом лазила?

— Не лазила. Я не грабитель, между прочим, — съязвила я, — да и замок там висит.

— Конечно, висит. Я его и повесил. От таких любопытных, как ты. То привидений ищут, то вещи воруют чужие.

«Ничего себе! — подумала я. — Дед у нас замок повесил на дом. А раз есть замок, то есть и ключ!»

— Деда, а давай сходим туда! — Я сделала самое милое выражение лица.

Но дед мне сказал, что я шляпа, что у меня пропущен клев. И верно, удочку мы вытащили с объединенным червяком. И без рыбки. Дед разозлился или сделал вид, что разозлился, и сказал:

— Надо главное от второстепенного отличать, Рита. А на рыбалке главное — смотреть в оба глаза, чтобы самый глупый карасик тебя не обманул.

Одно я точно знаю: взрослые очень любят разговоры на другие темы переводить.



На другое утро я решила: не хочет деда меня вести в дом на Челюскинцев — не беда. Я и сама ключ отыщу, не будь я Рита Кулешова. Конечно же, к обеду ключ отыскался. На запасной связке. Дед совсем не умеет ничего прятать, к тому же ужасный аккуратист в делах. На связке для ключей у него брелоки висят, а на каждом брелоке скотчем бумажка прилеплена: «Садовая» — это от его с Бабулинкой дома, «Гараж» — понятное дело, «Чердак» — тоже объяснять не нужно. А вот надпись на брелоке: «Челюскин», — несложно догадаться, от чего ключ. Ну, я тихо и отцепила ключик. А связку на место повесила, за книжным стеллажом. Взяла Дружка с собой — и напрямик на Челюскинцев. Фонарик прихватила, ясное дело. Вряд ли в заброшке электричество будет.

Замок я открыла быстро. Дружка привязала к ручке двери, он был недоволен, конечно. Внутрь вошла — темно, везде паутина. И пахнет нежилым: пылью, старой мебелью и пустотой какой-то. Хотя я и не из пугливых, а было страшно. Потом глаза привыкли, я даже заметила, что в комнатах довольно светло, потому что ставни прилегали неплотно. Но фонарик я все равно включила, стала по комнатам ходить.

Странное чувство, я этого дома вспомнить не могла, пока не вошла в боковую комнату. Там на стенах были старые обои, все в моих каляках-маляках. Я даже помнила, как вытащила у отца из стола маркеры и нарисовала стены. А еще в комнате я увидела детскую кроватку-качалку. А в ней своего старого клоуна, весь он был пылью покрытый, замызганный. Я его в руки взяла и стала плакать. Не знаю, сколько бы я плакала, но тут я услышала грубый мужской голос, который закричал: «Так, а ну стоять на месте!» — и перестала плакать, и даже сильно испугалась.

Как потом оказалось, это был участковый Васильев, которому позвонили бдительные соседи из дома напротив. Якобы соседи видели, что возле дома часто вертятся подростки, вот участковый и решил проверить, что и как. Он грубо схватил меня за плечо и тряхнул:

— Кто ты такая?

— Рита Кулешова.

— Цас со мной пойдешь, проверим, какая ты Рита Кулешова.

Держа одной рукой меня за плечо, участковый отобрал у меня фонарик и стал водить им по стенам, видимо, ища какого-то моего сообщника. Я воспользовалась этим, выкрутилась и побежала к двери. Участковый погнался за мной, но упал и заругался: «Ах ты, зараза!» Я довольно далеко умудрилась убежать, но потом вспомнила про Дружка и в конце улицы остановилась. Это было уж совсем подло, и, понимая все печальные последствия, я побрела обратно.

Участковый уже отвязал моего щенка и запихивал его в машину, стоящую возле двора. Интересно, зачем он это делал?

— Собаку верните, — сказала я.

— В машину садись, — ответил хмуро участковый.

— Не имеете права меня задерживать. Я тут живу, вернее жила. И у меня ключ от дома есть, — тут я протянула ключ участковому, — и я Кулешова, как и Кулешова Ээ Пэ.

Тут я постаралась выразительно показать на дверную табличку.

Участковый мотнул головой в сторону дома; видно, он такого «коленкора» не ожидал. Но тут же сориентировался и сказал:

— Диктуй телефон родителей.

Я продиктовала телефон деда, которому участковый быстро позвонил. Надо ли удивляться, что дед приехал на улицу Челюскинцев через десять минут, весь включенный и испуганный. Нормальная внучка — раз в два месяца в полицию попадает.

После недолгих объяснений участковый Васильев нас отпустил. Оказалось, что он тоже знал мою Бабулинку, которая его учила в школе. Вот я всегда подозревала, что блат — первейшее дело.

Я с Дружком села в дедову машину, дед запер дом, и мы поехали. Дед молчал, а на подъезде к дому сказал:

— Я думаю, что Бабулинке не стоит об этом происшествии знать, а с тобой, Рита, мы попозже поговорим.

Мой дед — очень умный человек, он не стал спрашивать, зачем я туда пошла и почему плакала. Он только спросил, очень ли я испугалась. А я сказала, что не очень, хотя это была неправда. Я боялась, что как-то узнает мама и начнется такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Дед мне сказал, что он замок повесил по просьбе моего отца и иногда навдывается в дом посмотреть, что там и как. Даже траву во дворе иногда косит, «чтобы джунгли не разрослись», как он выразился. А я даже не знала, что деда с отцом моим общается...

Я не выдержала и выпалила:

— Зря ты с моим папкой общаешься, он плохой. Он нас бросил. И вообще алкаш и бомж.

— С чего ты это взяла? — спросил дед, удивившись.

— Ну, он вечно ходит в старой одежде, и от него пивом пахнет.

— А ты, Рита, о людях только глядя на их одежду судишь? — спросил деда, слегка улыбаясь.

— Ну нет, не только. Но это же важно, как ты выглядишь. Одежда — это важная часть твоего образа, — уверенно сказала я.

— Ой ты, мама родная! — засмеялся дед. — Вот посмотри на меня. Я в трико, старой рубашке и такой же старой кепке. Что скажешь обо мне?

— Скажу, что ты — мой любимый дед, — обняла я его, мешая управлять машиной.

— Да нет, ты скажешь: бомж какой-то. И куревом от него пахнет, и штаны у него старые. И смартфона нет, вот ведь беда! Никакого стильного образа.

Я стала смеяться. Ловко дед меня поддел, ничего не скажешь.



— А можно сказать по моим трико и рубаше, что я ловко рыбу ловлю и у кого хочешь в шашки выиграю? — спросил деда.

— Нет, конечно, не скажешь, — уверенно сказала я.

— То-то же. — Дед посерьезнел. — Так что, Рита, не суди человека, тем более только глядя на его старые штаны.

Так мы приехали домой. Мне не терпелось продолжить разговор с дедом, но до вечера ничего не получилось, так как Бабулинка заставила его укупоривать банки с вареньем, а потом чинить электрическую мясорубку.

Поэтому я включила телевизор и стала смотреть программу «Вести. Дежурная часть». Через несколько минут на экране появились знакомые лица. Промелькнули психолог Анна Сергеевна, мать Лерки... Я придвинулась поближе и стала внимательнее слушать.

Худощавая корреспондентка с огромным микрофоном в руках сообщила:

— Вот и закончилось рассмотрение громкого дела в Каменском районном суде. На скамье подсудимых оказался примерный семьянин, отец двух дочерей. Ему вменялось в вину совершение преступлений против половой неприкосновенности двух девочек-подростков. В обществе сложилось неоднозначное мнение по поводу оснований для привлечения к уголовной ответственности таких преступников. Одни считают их большими, другие же требуют предать их суду Линча. Но в условиях современной демократии суд обязан разобраться в деле, наказать виновного либо оправдать невиновного. Слушание дела Безручко Геннадия Петровича продолжалось около месяца, суд удалился для вынесения приговора. Несовершеннолетние потерпевшие, которые, к слову сказать, одноклассницы, в суд не вызывались, сторона защиты настаивала на их допросе, но суд постановил не подвергать жертв преступления дополнительному стрессу. Их показания были оглашены. Но главным доказательством, на которое опиралась сторона обвинения, были интимные фотографии подсудимого, коллекция детской порнографии, найденная у него во время обыска, а также дневник, который вел подсудимый.

Далее на экране появился тучный молодой мужчина в синей форме, который невыразительным голосом забубнил:

— Во время обыска был обнаружен дневник подсудимого, в котором он описывал, так сказать, свое мировоззрение. Зачитаю несколько строк, которые удивили даже бывалых следователей и суд...

Мужчина стал зачитывать из пухлого тома выдержки:

— «Я всегда в каждой молодой женщине вижу признаки ее увядания. Она бежит навстречу своему любовнику, развеваются ее пышные черные кудри. Но я вижу седые корни и посеченные концы, спутанные сухие пряди ее волос. Да, они будут такими в сорок лет, хотя мне дано увидеть это сегодня, когда ей двадцать. Губы девушки изогнуты в капризной улыбке. А я уже вижу морщинки под носом, уродливые складки



и истонченную сухую кожу, которой в скором времени не помогут дорогие бальзамы. Тонкая талия мне уже теперь видится обвисшей складками жира. Совсем иное — девчонки. Школьницы. Они настолько юны, что напоминают хрупких птенцов, они бесполое и совершенные, как ангелы. Особенно рыжеволосые, эти девочки — как лучики солнца...»

Корреспондент поправила очки и сказала с улыбкой:

— Думаю, что не каждый писатель сможет так описать свои чувства. Владимир Набоков мог.

Прокурор кашлянул и сказал:

— Да, мы этот дневник приобщили к материалам дела. На его основе, а также и на основе других доказательств психиатры сделали вывод о наличии у подсудимого педофилии как психического расстройства. Но это не исключает его вменяемости.

Потом стали мелькать кадры школы, в которой я училась, лесопосадок возле школы и автомобиля. Но тут в комнате появился дед, выхватил у меня из рук пульт и переключил программу. На самом интересном месте.

— Прямо на пять минут тебя одну оставить нельзя! — в сердцах сказал он.

— Да, нельзя. Я же трудный ребенок, я же жертва преступления! Надо мной надо надзор установить, стражников приставить! — Я начала расплываться и повышать на деду голос.

— Э, Рита, ты давай не кипятись, — строго сказал дед.

— А ты меня хоть раз послушай! Вы, взрослые, меня достали уже. Туда не ходи, с теми не дружи, то не делай. Тайны вокруг развели всякие. На пустом месте какие-то секреты. Мне уже целых одиннадцать лет, а психолог вообще сказала, что я выгляжу старше своего возраста! — У меня даже слезы зазвенели в голосе, но я их сглотнула и продолжила еще громче: — Мамка только и думает, куда бы меня отправить подальше — то в санаторий, то к бабушке на все лето. Чтобы не мешала ей работать и жизнь семейную строить! Папка постоянно от меня отмахивается, сунет сто рублей на мороженое — и вали, Рита, с глаз долой. Один Игорь, хотя и чужой человек, пытается хоть как-то меня понять.

— Ритуся, внученька, ну разве тебе плохо у нас? — как-то жалко, извиняющимся голосом сказал дед. — Ну смотри, мы и на рыбалку ездим, и собаку тебе вон разрешили, и гуляешь ты везде...

Дед запнулся, но тут же продолжил:

— В понедельник можем в цирк сходить... Давай, что ли, в цирк сходим?

— Деда, а ты вообще ничего не понимаешь? — сказала я, уже не сдерживая слез, и заплакала.

— Ну... Понимаю... Только вот сделать ничего не могу, я ж не отец и не мать, я только дедушка, — сказал дед и стал меня гладить по голове, как маленькую.



Я вволю выплакалась, мне-то плакать — как зайцу с горы бежать. Я лежала на диване, но краем глаза все равно видела, как Бабулинка заглянула в комнату и покачала головой.

Отреветшись, я сказала:

— Вон Колька Федоров мне написал во «ВКонтакте», что его определили в музыкальный интернат. Будет там и жить, и учиться. Мол, хоть какое-то будущее у него будет. Только теперь он в другом городе. Может, и меня куда-нибудь в интернат сбегривить, чтобы милиционер рядом стоял, охранял меня? А то вдруг педофил какой объявится рядом или телевизор вдруг включу.

Деда неожиданно засмеялся и сказал мне:

— На всех рыжих дурочек милиционеров не напасешься. Пошли чай пить.

— Не пошли, а пойдем, — поправила я деда, и мы направились в кухню.

Но на этом наш разговор не кончился, это была просто передышка. Для обеих враждующих сторон, как пишут в книгах. Съев пару пирожков с яблочным повидлом, я прислушалась к своему настроению. Ей-богу, ничего не поменялось. Надо продолжать, а то потом поздно будет — всё спишут на детскую истерику.

— Бабулинка, а ты скажи вот мне, почему мы с мамкой и папкой переехали в Каменский? И откуда Игорь взялся?

— Эх, Ритуся, да не трави ты мне душу! — Бабулинка махнула рукой на меня.

— Я тебе не муха, ты на меня не маши. — Я снова суксилась.

— Ну маленькая ты еще. Подрастешь, сама узнаешь, все поймешь...

— Бабулинка, — проникновенным голосом сказала я. — Мне одиннадцать лет. Я, по-твоему, маленькая? А между прочим, я — жертва преступления. И помогла обезвредить опасного педофила, который уже не только фотографии показывал детям, но и трогал Лерку где не следует.

Бабулинка закатила глаза и с шумом поставила чашку с недопитым чаем на стол.

— Так что я много чего знаю и понимаю, со мной можно обо всем говорить, — продолжила я. — И не перебивай меня, это неуважение к ребенку. В суде, между прочим, с десяти лет уже можно допрашивать!

— Чего ты от меня хочешь? — Бабулинка уставилась на меня, даже очки напялила на нос, чтобы выглядеть вооруженной.

— Я хочу, чтобы мне рассказали, почему мы переехали, почему папка нас бросил... В общем, всё рассказывайте! — припечатала я.

— Не наше это с дедом дело, но раз уж ты такая настырная, то я тебе расскажу. Не смей только меня матери выдавать, а то ты сюда фиг еще приедешь, — неожиданно закончила бабушка.

— Ай да Галина, ай да ветеран педагогического труда! — деда покачал неодобрительно головой, однако же не стал мешать.

И вот что рассказала мне бабушка.

Оказывается, дед Гоша, которого я почти не помню, действительно, сидел в тюрьме, и когда он вернулся домой, то стал жить с нами. То есть в доме бабушки Зины, где жили мои родители и я. Конечно, жить всем вместе вскоре стало невозможно. Бабушка Зина сильно болела, она умерла спустя полгода, как дед поселился с нами. Дед Гоша дебоширил и пьянствовал, а родители из-за этого ругались. В итоге мама забрала меня и уехала в Каменский. Папа потом тоже приехал, но было поздно. Потому что Игорь из Кубинки переехал в Каменский сразу следом за нами.

— Прямо как банный лист приклеился, — вставил деда Витя в бабушкин рассказ.

Бабушка неодобрительно на него посмотрела и сказала:

— Вот вечно ты встречаешь не в свое дело! Не бросай яблоко раздора. Ну зачем ребенку знать эти дрязги!

— А затем, — вспыхнул дед, — что в ее глазах этот банный лист — просто святой какой-то, а отец родной — видишь ли, пьяница и бомж.

— А нечего водку пить, тогда и святости добавится! — вскричала в ответ Бабушка и грозно поднялась из-за стола, чтобы казаться выше и убедительнее. Такой психологический прием коты в драке демонстрируют — высоко поднимаясь на лапах и топорща шерсть. Но деду Витю таким приемом было нелегко сломить, он тоже поднялся, упершись в стол и напялив очки на нос, чтобы придать лицу строгий вид. Смотреть на них было смешно, хоть и немного грустно, я не удержалась и хихикнула.

— А нечего было хвостом вертеть Таньке! — ехидно сказал дед. — Все трудности семья вместе должна преодолевать! А она лучшей жизни захотела: дом подавай ей двухэтажный, автомобиль, работу престижную. И чтобы никаких проблем с родственниками. Вишь ли, стыдно ей, что у мужа такой отец! Знала небось, когда замуж выходила, что отец у него в тюрьме сидит.

— А Мишка должен был не водку пить, а семью обеспечивать, — парировала Бабушка. — А он что? Горе заливать начал! А Игорь переехал в Каменский, бизнес с нуля начал. Все условия для Тани создавал, между прочим, боролся за нее.

— Ах боролся? Это так теперь называется? — Дед хмыкнул и сел за стол, показывая всем видом, что он презирает и Игоря, и дочку, и Бабушку с ее жизненной философией.

Я сидела и только вертела головой туда-сюда.

Бабушка тоже села и взяла деда за руку, протянув свои старые, красные ладони к нему через весь стол.

— Вот, Витюша, ты же за меня боролся? — спросила она ласково.

— Сроду такого не было, — хмыкнул дед, но уже миролюбиво.



— Ну помнишь, как директор меня уволить хотел за ту статью в газете...

— Это, Галочка, совсем другое дело, — сказал дед.

— Нет, не другое. А помнишь, как за мной Федор Крикунов ухаживал, прямо проходу не давал, а ты ему морду набил? Э, Ригуся, не слушай нас! — Это уже бабушка мне сказала.

А я сижу и смеюсь, представляю деда, который кулаками машет. Смешной такой, в трико и кепке.

— Не было такого, — неуверенным голосом сказал дед.

— Э, не было! Было... Женщины хотят чувствовать сильное плечо. И я Танюшку совсем не осуждаю. Что случилось, то случилось. Назад уж не воротить.

— А почему папка тогда в Кубинку не возвращается? — спросила я. — Тут и дом есть, не надо по съемным квартирам ходить.

— А ты бы хотела, чтобы он вернулся сюда? Уехал из Каменского? — спросил дед.

— Не-а, — честно призналась я.

— Вот потому и не возвращается, — ответил дед.

И стало мне немного легче от этих слов. Ей-богу, легче.

— А это правда, что Игорь в одном классе с моим папкой учился? — спросила я.

— Да кто тебе такое сказал? — удивилась Бабулинка. — Он на два года старше папки твоего.

— И вроде как Игорь его лупил в школе... — продолжила я с сомнением.

— Да ты что! — возмутился дед. — Твой папка был чемпион района по греко-римской борьбе, а Игорь — дрыщ всю жизнь. Кто кого еще лупил! — Деда для выразительности даже плюнул на пол, за что получил от Бабулилки полный укора взгляд.

— У вас, у мужиков, всегда солидарность дурацкая! — сказала бабушка и стала убирать со стола после чаепития.

Я схватила еще один пирожок. Есть над чем поразмышлять, а когда жуешь — лучше думается.

Но в тот вечер мне думалось не очень, и я легла спать пораньше.

А на следующий день к нам в гости пришел Чума. Глаза бы на этого провокатора не глядели! Я ему сказала:

— Чо надо?

А Бабулинка меня поправляет:

— К нам гость пришел, Рита. Не надо грубить Косте, — и пригласила этого Костю войти.

Чума культурно одетый, патлы зеленые под кепкой спрятаны — прямо душечка. Вошел, кедами на входе пошаркал и говорит:

— Уважаемая Галина Тимофеевна, разрешите мне пригласить вашу внучку Риту поучаствовать в волонтерском движении.

Бабулинка посмотрела на него строго и говорит:

— Ну, проходи, Костя, попей с нами чайку.

Костя расселся за столом — да и давай разглагольствовать. Мол, у нас возобновляется деятельность движения «Поисковик», мы будем пропавших людей и животных искать.

Бабушка сразу запротестовала: зачем детям-то участвовать, это же заботы взрослых.

А Костя и говорит, что дети в поисках «в борозде» принимать участия не будут. Они будут объявления клеить, листовки раздавать, диспетчерам помогать. Но сначала пройдут обучение.

А я ему:

— Да я же тут не на все лето, может, скоро и уеду. — А самой интересно, страсть как хочется поучаствовать. И даже уже простила Чуму за то, что он хотел подставить меня с заброшкой.

— Нам даже небольшая помощь — и то лишней не будет, — важно сказал Костя. — Тем более что она дочь Михаила Кулешова, это дополнительная реклама.

О как! Я просто онемела от удивления. При чем тут мой папка?

— Что удивляешься? — Бабулинка говорит. — Не знала, что отец твой главным поисковиком был?

— Не знала, — говорю, а самой стыдно так стало...

— Ну, она мелкая была, когда Михаил Григорьевич из Кубинки переехал, — сказал Чума. — Может и не знать. Я и сам тогда был от горшка два вершка.

Вот тебе и дела, светлая королева Марго! Ничего-то ты о папке своем не знаешь.

В общем, я долго торговаться не стала, согласилась. Чума, оказывается, даже не слышал, что меня с Дружком участковый сцапал. Я и не стала распространяться, сказала без подробностей, что заброшка, куда он меня звал, вообще-то проблемная. Чума только плечами пожал. Ну, что было — то было.

В тот же день мы пошли в «Поисковик».

В первый день ничего интересного не было. Чума познакомил меня там со всеми, но я с первого раза мало кого запомнила. Вопросов мне особенно никто не задавал. Подростков там разных много было. Но рыжая и зеленый — только мы.

А потом всю неделю шли тренировки. Мы учились вязать на веревках узлы и делать петли, пользоваться стремянкой и раздвижной лестницей. Нам дали компасы, и мы даже сдавали зачет по ориентировке на местности. Толстый дядька с бородой, весь в татуировках, которого все звали Медведыч, рассказал нам об устройстве рации и о том, что в радиоэфире нельзя хулиганить. Мне, конечно, очень там интересно было. И когда я с мамой по скайпу разговаривала, она только грустно головой



качала и приговаривала: «Вся в отца», да переводила разговор на другую тему. Что кушала да гуляю ли допоздна...

Убегала я утром, возвращалась вечером. Деда даже меня ревновал к «Поисковику». А я говорю:

— Давай к нам — знаешь, как здорово!

Я думаю, он бы пошел со мной, но у него нога еще не совсем зажила.

Со сверстниками мне было не особенно интересно, больше всего я с Чумой общалась. Несмотря на то что Костя парень мутноватый, крученый какой-то, я все-таки думала, что не совсем он потерянный человек. Опять же, собаку мне отдал, а это показатель порядочности.

Больше других я подружилась с безногой Лизой. Лиза была картографом, то есть отвечала за обеспечение картами поисковиков, а также обучала нас ориентировке на местности и по картам. Она была еще не старая и очень веселая. Несмотря на то что одной ноги у нее не было по бедро, а вторую отрезали выше колена. Оказывается, у нее был диабет и все это произошло из-за болезни. А я думала, что акула откусила или какой-нибудь крокодил. Когда Лиза об этом узнала, то долго хохотала, а потом у нее слезы выступили. В общем, неудобно было только вначале, потом мы подружились. Эта Лиза очень хорошо знала моего отца. Но я у нее стеснялась о нем спрашивать, и она у меня ничего не спрашивала. Только разок спросила, играет ли он до сих пор на гитаре. А мне нечего было ответить, так как я не знаю, играет или нет.

Вообще, в штабе было мало народу, так как «Поисковик» не работал несколько лет и только сейчас возобновил свою деятельность. В Доме культуры выделили три комнаты и холл. Медведыч был главным. Потом мне сказали, что у него фамилия Медведев, но могла и сама догадаться. Медведыч пришел на место моего отца.

Больше всего меня удивило то, что никто «Поисковику» денег не платил. Все держалось, как говорила Лиза, на голом энтузиазме. Медведыч работал в Доме культуры кузнецом. Лиза нигде не работала. Остальные взрослые прибегали вечером или в выходной. Пацаны и девчонки постоянно крутились в штабе.

В коридоре был вывешен список вещей, которые можно пожертвовать и, наоборот, купить для благотворительности, и даже я купила несколько пачек каминных спичек. Знаете, длинные такие. Удобные. Иногда посторонние люди приносили свертки с одеялами и куртками, крупу, макароны и тушенку. Взрослые собирались обычно вечером и тренировали нас, подростков. От Семы Ушанева я узнала, как нужно одеваться для походов в лес, а как — в горы, как быстро и легко уложить рюкзак. И вообще у нас было много теоретических занятий по выживанию в одиночку, и еще мы запланировали поход «потеряшек», чтобы искать друг друга. Я даже стала жалеть, что летние каникулы такие короткие.

У Медведыча были три обученные овчарки — для поиска пропавших людей по следам. Как говорил Медведыч, они искали «по занюшке», то есть были специально натренированы на поиск по конкретному запаху. Одна, Лайма, уже старая, приходила с Медведычем в клуб и лежала всегда под столом, периодически зевая. Других Медведыч не приводил, говорил, что дома их тренирует. Медведыч мечтал, что в их отделении создадут целую кинологическую службу, но до этого было далеко.

Я думала, что мой Дружок тоже мог бы пригодиться, но бородач сказал, что толку от него не будет — только под ногами станет путаться. Но дал мне файл с книжкой о дрессировке собак. И я с утра занималась с Дружком. Мой пес выучил одну команду — «лежать». Деда надо мной смеялся, говорил, что эту команду Дружок и без меня знал.

Каждый день я отправлялась в «Поисковик» и возвращалась домой ближе к ночи. Мои каникулы подходили к концу. Подростков в «Поисковике» было много, а вот взрослых — наоборот, мало. Я иногда думала: как можно справиться с бедой, если в штабе всего-то десяток взрослых? Лиза звонила везде и пыталась дать рекламу, но газеты и телевидение требовали за нее деньги. Медведыч говорил, что когда мой отец был в «Поисковике», то было легче как-то. Но чем легче и почему, я так и не поняла.

Нам с Чумой хотелось поучаствовать в какой-нибудь спасательной операции, но никто не терялся, даже коты и собаки. Когда мы спрашивали Медведыча, будем ли мы в ближайшее время кого-нибудь спасать, то он всегда серьезно говорил: «Не дай бог!» — и крестил свою бороду. И я понимала, почему он так говорил. «Поисковик» был маленьким и мало оснащенный. Он мог только взаимодействовать с другими поисковиками области. А самостоятельные спасательные работы вести было очень трудно.

И вот однажды случился этот самый «не дай бог». Я этот день никогда не забуду, потому что я сильно опозорилась. Другие тоже будут помнить — что ж, поделом мне. Дело было так. В одиннадцать часов двенадцатого августа я была в штабе, когда позвонили из полиции. От Лизы мы узнали, что в Кубинке пропал четырехлетний мальчик — Матвей Шацкий. Он вышел поиграть во двор, а потом куда-то бесследно исчез. Лиза тут же обзвонила всех и объявила команду «старт». Мне удалось увидеть сборы: как Медведыч разметил карту поиска на квадраты, как он расставил людей, как выдал всем воду и снаряжение.

— Бакланова идет вместе с участковым на опрос соседей и ближайшего круга знакомых. — Медведыч был сух и деловит. — Лиза — на телефоне и рации, Чума и Рита копируют и клеят объявления. Кстати, объявление по первому образцу, понятно, Лиза? Усольцева, Брагин и я — с собаками. Остальные берут карты и прочесывают местность по квадратам. Младший отряд дома, на телефонах, ждет указаний. Все, кто остался возле штаба, помните: Лизе не мешать! Режим тишины.



Я очень взволновалась, Чума, прибежавший по моему звонку, тоже ерзал на стуле. Нам дали конкретное задание!

Взрослые покинули штаб. Подростки в унынии разбрелись по домам.

Лиза сидела на телефоне: она, сосредоточенная и серьезная, принимала сообщения и отвечала на звонки, а также говорила по радиии. Володя и Чума сначала вышли для приличия на улицу, но потоптались-потоптались и вернулись в штаб. Сели тихонько за свободный ноутбук и сделали вид, что их тут нет. Я тихо ждала указаний на раздолбанном диванчике. Лиза должна была сделать объявление и передать текст нам. К тому же, подумала я, вдруг Лизе надо будет отъехать от компа на своем кресле, например в туалет? Вдруг она кушать захочет? Я точно могу понадобиться! Поскольку я нетерпеливо ерзала, Лиза сверкнула в мою сторону глазами и продолжила свои дела.

От нечего делать я читала инструкции на сайте «Поисковика». Там довольно толково описывалось, как разбиваться на группы, как прочесывать местность, что нужно с собой брать. Володя вдруг не вытерпел и спросил Лизу, что бы такое полезное ему сделать. Но она довольно резко ответила:

— Самое полезное — не путаться под ногами и помалкивать.

Володя надулся, а я в душе радовалась, что у меня хватило ума помолчать. К тому же мне поручили дело, пусть даже небольшое. Значит, мне доверяют. Но, если говорить честно, на подвиг было не похоже, это не то, о чем мне мечталось.

Чума выразительно посмотрел в сторону Володи и выпучил глаза, покрутив у виска. Я замолчала и снова стала читать инструкции. Однако Лиза вскорости вручила мне текст объявления, на котором была не очень четкая фотография мальчика. Она поручила мне сделать триста копий с объявления о пропаже Матвея Шацкого. Ну, хотя бы что-то. Мы с Чумой на двух ксероксах справились с этим довольно быстро. Потом Лиза дала нам карту Кубинки, на которой были отметки, где расклеивать объявления, и мы на Володькином скутере помчались по делам. На все про все у нас ушло два часа. Между прочим, это быстро. Мы вернулись в штаб. Новостей не было. Володя куда-то ушел. Лиза сухо спросила, все ли объявления мы расклеили, и снова продолжила принимать звонки и распоряжения.

На нас навалилась скука и даже некоторая печаль. Хотелось действия, подвига, что ли... В общем, я не так все представляла. Пока мы клеили объявления, это было дело. Но потом стало скучно, время текло медленно. Чуме поручили слушать переговоры по радиии и сообщать координаты квадратов поиска Лизе, а Лиза отмечала на картах прочесанные территории одинарной, двойной или сплошной штриховкой. Я же просто сидела и смотрела на них. Почему-то мое внутреннее напряжение нарастало.

Вдруг позвонил Медведыч и сказал, что собаки потеряли след. При чем потеряли его недалеко от дома Матвея. Мы стали волноваться и обсуждать это между собой. Никто не мог найти объяснения, гадали да рядили. Чума сказал, что читал где-то, как преступники присыпают следы перцем, чтобы собаки потеряли нюх. Мы ломали голову: а вдруг Матвея похитил какой-нибудь маньяк? Я разволновалась, потому что о маньяках знаю не понаслышке.

Неожиданно в штаб прибежала Люда Бакланова. Я о ней не рассказывала раньше, но она тоже классная, как и Лиза. Люда — журналистка в местной газете. И это именно она ходила с участковым по соседям пропавшего мальчика с целью их опроса.

— Лизон, слушай! Я нашла очевидца, — Люда включила видеозапись разговора на смартфоне.

Я не видела с диванчика, но мне было все прекрасно слышно. Мужской голос, запинаясь, говорил: «Да я с рынка шел, в руках у меня это... сумки были. Гляжу, Матвей гуляет. Я-то его знаю... и Маринку, мать его, шалаву. Соседка моя. Я говорю: что ж ты, Матвей, не в садике? А он мне: мол, болею я. А что, думаю себе, ты гуляешь, коли болеешь? Такие дела. Потом я это... пошел себе к подъезду, обернулся и вижу: мужик какой-то возле пацана трется. Сутулый, в серой ветровке. Лысый. Вижу со спины его. Ну, думаю, Маринкин хахаль очередной. Взял потом мужик Матвея за руку и повел куда-то. Такие дела... Что еще сказать? Да не знаю больше ничего...»

— Да, это неприятно, — сказала Лиза. — Надо Медведычу сообщить, это же другая стратегия поиска.

— Я с матерью Матвея говорила. Она такого мужчину не знает.

Люда покивала головой и позвонила Медведычу.

Все мне стало ясно. Вот почему собаки след не берут — потому что мальчика увезли, он уже далеко где-то. Его след оборвался.

Тут-то я и выдала... Сама от себя не ожидала. У меня случилась истерика:

— Это тот самый маньяк, который на Лерку напал! Та же куртка, та же лысина... Наверное, ему удалось как-то из тюрьмы сбежать! Он приехал в Кубинку за мной! Ведь я свидетельница. А пока занялся мальчиком. А на самом деле он меня ищет, потому что маньяки не оставляют никаких свидетелей!

Как потом мне сказал Чума, я рыдала и «билась головой об стену». Может, это он фигурально выразился? Я на это очень надеюсь, по крайней мере, синяка у меня на лбу не появилось. А что было — помню плохо. В общем, я расплакалась и никак не могла успокоиться и объяснить что к чему. Лиза расстроилась, накричала на меня, но это не помогло. Чума меня трусил за плечи. Я все твердила:

— Он убьет его, он же маньяк, он его убьет! А потом и меня убьет...

Люда не растерялась и вызвала по телефону моего дедушку. Деда примчался быстро и увез меня, всхлипывавшую и воющую уже на уль-



тразвуке, домой. Медведычу было решено не говорить о моей истерике. Чума мне потом сказал, что если бы об этом узнал Медведыч, то меня бы сразу отстранили от участия в деятельности штаба. Чтобы я бы не мешала всем в экстренной ситуации.

Не знаю, что лучше: пусть окружающие считают тебя истеричкой или пусть они знают о тебе что-то личное... Что-то, что объясняет твой страх. Но выбирать мне тут не пришлось. Когда приехал деда, то он рассказал Лизе вкратце мою историю. Пока он рассказывал, я его обняла и прижалась к его животу, продолжая икать и всхлипывать. С этого момента я уже что-то помню. Лиза покивала головой, сухо так покивала. Ей было в тот момент не до меня.

Дома деда меня не ругал, ни одного слова грубого не сказал. Я очень боялась, что он прямо сейчас запретит мне ходить в штаб «Поисковика». Но деда напоил меня чаем с лимоном и отправил спать. Бабулинка не было дома, и это к лучшему. Лишние вопросы были мне ни к чему.

Я легла носом к стенке и стала думать. На самом деле я оказалась не готова быть кому-то полезной, и это меня очень угнетало. И еще я поняла, что никакой маньяк за мной не охотился, ведь по телевизору сказали, что ему вынесли приговор. Вот я дура! От мысли, что я ошиблась и опозорилась перед Лизой, Людой и Чумой, я еще сильнее заплакала. Теперь меня никогда не позовут в штаб!..

Я редела, редела — и уснула. Проспала до вечера. Когда я проснулась, то Бабулинка была дома, но никаких новостей из штаба не было. Бабулинка начала, как всегда, не к месту меня утешать. В итоге у меня разболелась голова. Когда я звонила Чуме, он не брал трубку. С горя я снова легла спать, и всю ночь мне снились кошмары.

На следующее утро к нам пришел Костя и принес плохую весть. Андрей Ремизов по прозвищу Барабанщик нашел тело пропавшего мальчика. Матвей упал в коллектор, так как люк не был закрыт. Чума сказал, что всех наших поисковиков, даже меня, сегодня в десять часов собирают на краткий разбор полетов. Мне было стыдно, но я все же решилась пойти. Бабулинка вяло сопротивлялась, а дед неожиданно пошел со мной. Видно, боялся, что я что-нибудь снова отчебучу.

По дороге мы услышали от Чумы, что Барабанщик нашел мальчика уже мертвым. Дед предположил, что собаки не взяли след из-за того, что все происходило днем, когда больше посторонних запахов, а вокруг заборы, гаражи, дворовые туалеты... А Чума сказал, что по Медведычу видно, что тот очень расстроился. Мало того что на собак своих понадеялся зря, так еще и ребенок погиб.

Все это было для меня таким грузом, что я аж дышать не могла. Я просто шла и молчала. Но потом мне пришла глупая мысль в голову. Вечно так: в рыжую голову — глупые мысли. Я подумала: хорошо, что это был не маньяк. По крайней мере, я спокойна, что мне ничто не угрожает

и что новых жертв не будет. Но ни деду, ни Чуме я ничего не сказала. Я не хотела, чтобы они подумали, что я эгоистка.

Когда мы пришли в штаб, то в актовом зале уже было полно народу. Мы еле-еле нашли места, и места эти были в первом ряду. Никто не хотел сидеть напротив Медведыча с его усталыми глазами. Да и вообще, я заметила, что впереди никто сидеть не любит. Хотя это несущественно, опять я отвлекаюсь на постороннее.

В зале были и школьники, и взрослые, много незнакомых мне людей, а также все наши поисковики. Выставили стол на сцену, за столом сидели какие-то мужчины — по виду чиновники, полицейские — и Медведыч. Когда в зале поутих шум, на сцене все по очереди стали говорить.

Я не особенно слушала. Я смотрела на Медведыча. Я знала, что он очень не любит выступать на публике. И у него проблемы с русским языком, как говорила Лиза. Медведыч был не слишком грамотным и часто употреблял слова невпопад, а если не знал подходящего слова, то его выдумывал. Это я заметила еще на занятиях «Поисковика». Иногда нам было смешно, но мы старались делать вид, что все в порядке. Например, Медведыч никогда не говорил: «Группа, на старт!» Он мог сказать: «Стартанули!» или «Айда, чавэлы!». Вместо фразы: «Помолчи, когда говорят старшие», он мог буркнуть: «Залепись». Похвалить мог так: «Круть крутецкая» или «А повторить сможешь?»... В общем, Медведычу было сегодня непросто вдвойне, я никогда не видела его таким печальным. От его вида мне хотелось снова расплакаться.

Когда очередь говорить дошла до нашего бородача, то вокруг воцарилась невыносимая пустота. Медведыч необычно тихим голосом сказал:

— Я хочу сказать, что в большей степени вина лежит на обманувшем нас очевидце. Часть группы была отвлечена на розыск лысого мужчины в серой ветровке, который якобы увел ребенка. С этим безответственным свидетелем будут заниматься вон, полицейские... — Медведыч кивнул в сторону мужчин в форменной одежде, помолчал и продолжил: — А я хочу обратиться к жителям города. Мы не в первый раз столкнулись с тем, что ребенок погибает из-за халатности взрослых. Если ребенок падает в отверстие септика, то шансов выжить у него — никаких. Никаких! — повторил он по слогам. — В этом случае ребенок тонет, докричаться до взрослых не может и, как правило, задыхается...

В зале послышался гул и сдерживаемые рыдания.

— Я вас очень прошу, помните, что незакрытые люки, отхожие места, колодцы убивают чаще и больше детей, чем маньяки-педофилы.

Медведыч сел на место, а гул в зале продолжался.

Я видела, что эта речь далась ему трудно. Как жить с мыслью о том, что ты мог что-то сделать, но не сделал? Как можно жить с тем, что уже необратимо?

Я думала об этом весь остаток дня и стала понимать, почему отец ушел из «Поисковика». Но Медведыч-то не уходит, вот в чем дело.



На другой день я пришла в штаб. Я боялась показаться на глаза Лизе, но она встретила меня с улыбкой. Мы сели пить чай. Я с грустью наблюдала, как Лиза ловко катается по комнате, то наливая кипяток, то доставая с полки сушки и галеты. Мне предстояло сказать, что скоро я уеду домой, в Каменский, так как уже звонила мама.

В штабе никого не было, что меня удивило. Обычно там полно народу.

— Все зализывают раны, — грустно усмехнувшись, сказала Лиза в ответ на мой незадаанный вопрос.

— А такое часто бывает, ну... Что поиск неудачно заканчивается? — спросила я робко.

— Бывает, — вздохнула Лиза. — Примерно треть случаев. Чаще всего именно с детьми.

Мы сидели и уютно молчали, прихлебывая чай. Лиза никогда не ела сладкого и мучного, и я не могла привыкнуть и понять, как это ей удается. Ведь хочется.

— Чему улыбаешься? — спросила Лиза, убрав со лба прядку сидящих волос.

— Мне скоро уезжать надо, — сказала я вдруг, решив не отвечать на ее вопрос.

— Мы скучать будем, Рыжик, — сказала Лиза и прикоснулась пальцем к кончику моего носа.

— Я тоже буду скучать... — Я начала всхлипывать.

Лиза меня не утешала, а только качала головой.

— Ну, Рыжик, ты могла бы нам помогать, — сказала вдруг она.

— Как это? За триста километров от Кубинки? — недоверчиво спросила я.

— Ты многое можешь. Можешь администрировать в соцсетях, делать рассылки информашек о нас. Можешь связаться с «Поисковиком» в Каменском.

— Могу привести папу в «Поисковик»...

Лиза вздохнула и отставила чашку:

— К сожалению, Рыжик, насильно никого привести нельзя. Нам нужны люди, которые искренне хотят помочь, которые всё для этого делают. Но у нас нет возможности заниматься психотерапией, уговорами...

Мне стало очень обидно:

— Лиза, значит, ты считаешь моего папу неудачником?

Лиза улыбнулась и ответила:

— Конечно, нет. Я с ним пуд соли съела. Но похоже на то, что он сам себя считает неудачником. И это страшнее.

Я подняла глаза на Лизу. Мне она казалась красивой и милой. Но очень прямолинейной. И теперь, когда она сказала мне правду, я все еще считала ее красивой и милой. И у меня не было на нее злости. Мне кажется, что если тебе говорят правду, то и злиться на это нельзя. Но мне очень хотелось ее разубедить.

— Я не жертва. И папа мой не жертва. Сами вы такие! — сказала я и заплакала.

— Ну вот, попили чайку, называется, — усмехнулась Лиза и стала гладить меня по голове.

Так мы и сидели. Всклипывали обе. Пока не пришел Медведыч и не спросил сурово:

— Что за мокредь? Что за сопли на борту?

— Рыжик уезжает, — пояснила Лиза, шмыгнув носом.

— Во беда! — Медведыч присел на корточки и заглянул мне в лицо. — Ну не навсегда же, не на Колыму?

— Нет, — засмеялась я, хотя не знала, что такое Колыма и где она.

— У меня к тебе дело, Рыжик, — сказал Медведыч и, не дав мне особенно возразить, продолжил: — Мне не нравится, что глаза у тебя постоянно на мокром месте. Ты солдат?

— Солдат, — кивнула я и снова засмеялась.

— Ну, значит, ты должна себя контролировать. Читала сказку Андерсена? Там у солдатика вообще одна нога была, и то он не плакал.

— Ну, я круче солдатика тогда, — сказала Лиза, хитро улыбнувшись.

— Я буду стараться, — пообещала я и шмыгнула носом.

— Запомни, Рыжик, ты не жертва, а солдат отряда «Поисковик». Так что тебе задание — тренировать волю. Приедешь летом — проверю.

Через несколько дней Бабулинка отвезла меня домой. За лето маленький старый дом Бабулинки и деда стал моим, и мне было странно думать, что мое настоящее место жительства — это двухэтажный домик в Каменском. И хотя я соскучилась по маме, папе, Игорю и Коле, мне было жалко оставлять Чуму, Лизу и Медведыча. Но мы клятвенно обещали друг другу звонить и писать в соцсетях. Друзжка я взяла с собой. В автобусе с ним проблем не было, мы купили ему отдельный билет и посадили в специальную сумку, которую мне одолжил Медведыч. Когда я приехала домой, то первое, что обнаружила — большой мамин живот, который при наших разговорах по скайпу виден не был... Ничего себе! Все мои догадки подтвердились!

Мама очень обрадовалась, долго гладила меня по голове и целовала. И хотя мы общались в скайпе каждый день, обнимашки никто не отменял! Мама сказала по секрету, что у нее с Игорем будет не один ребенок, а сразу два. То есть я буду дважды сестрой. Вот новость так новость! Честно говоря, никак я такого не ожидала. Конечно, повышенная ответственность теперь у меня и все такое...

Мама, само собой, поругалась с Бабулинкой, что я не плету косы, что у меня шорты ненормально короткие, да еще и Друзжка привезла. Но Бабулинку так просто не сломить. Педагог с многолетним стажем — это вам не хухры-мухры. Бабулинка сразу ей сказала:

— Пост сдала — пост приняла. Воспитывайте теперь на свой манер.

Как только появилась свободная минутка, я побежала к папке. Вернее, села на свой велосипед и рванула на улицу Суворова. Я очень волновалась, мне надо было столько ему рассказать!

Мой деда очень любит повторять поговорку: «Баба с печи летит — семь думок передумает». Это точно про меня. Пока я ехала, я о многом успела поволноваться: папы не будет дома, папа переехал на другую квартиру, от папы будет пахнуть пивом, папа будет в компании чужих людей и разговор не склеится, папа будет чем-то занят и прогонит меня...

Но когда я приехала, то увидела, что мой папка в старом трико и грязной футболке чинит какую-то подержанную иномарку. Он вылез из-под капота машины и заулыбался мне:

— Привет, Рыжик, солдат боевого отряда «Поисковик»!



Александр РАДАШКЕВИЧ

«Я ВЫУЧИЛ УРОКИ БЫТИЯ...»

Нескладное

Не будет ни писем, ни песен, и смоют полнеба дожди,
какой-нибудь сломанный лучик помянет родное окно.
Смотри, осыпается время с гравюрно чернеющих крон.
Врастая в зеркальные латы собезначальных одиночеств,
мы смотрим, уже не мигая, друг другу в пустые глаза...
Мне так любо тебя не любить, держать у замшевого сердца
и верить в утренние ласки и блики на птичьих устах,
скупать обратные билеты в краеугольные края, умножая
аркады столетий на краю отрешенных небес, и знать,
что все, кто сплыл блаженно до тебя, ни добра и ни зла
нам уже не желают совсем. Хорошо мне в нечаянном мире
выучить душу сладимой тоской, просыпаться в седые
морозы и листать перечеркнутый день. Шарманочка
раскрутится и вылетит в окно. Не будет ни вех,
ни забвений, и канут за небо дожди. Смотри,
поднимается ветер, который
занес нас сюда.

Португальская пауза

А в закатном окне голубое перо можжевельника
помавает величаво на голом океанском ветерке,
олеандры в пунцовом цвету и фиалковые жакаранды
вдоль непрожитых млечных путей. Тоска, треска,
зеркальные сардинки, что тают, как любовь, на языке.
Я вызнал, где зимуют наши аисты, примостившись
на башнях соборов, под крестами, на скатах крыш,
и откуда приносят розоватых сестриц и насупленных
братиков в долгих клювах, как манну с небес, я глядил



взором золотые алтари с майоликой лазурной, где
 Пречистая Дева с покрывалом крылатым прижимает
 покрепче Младенца на крутой и бурливой волне.
 Тоска, весна и пена мирозданья, в перламутровых
 гротах Алгарви, где зависшая в просини чайка,
 приютилась в ракушке навеки
 отболевшая былью душа.

* * *

Я выучил уроки бытия корпением, безделием
 и палкой, на парте сгрудились истерзанные перья,
 и вырывать твою страницу больнее, чем
 я помышлял. Как рвались
 в розовые клетки, пока не пропадали в них.
 Редееет небо на востоке, сложились в струнку паруса,
 на непрописанном ландшафте все наши смертные
 ошибки срываются с рассветных крыш,
 нас забывают разом вещи и вспоминают зеркала, и
 черный иней на окне алеет на глазах.
 Я одолел уроки бытия отчаяньем, забвением, напастью,
 и в недоснившееся слепо макою синее перо,
 как три любви назад.

Магомаев

«Поет народный...», как во сне, моргала Моргунова,
 и — шквал, и шторм, уже никто не слышал «Магома...»
 И вот уж Гендель на ура и Бах с Бабаджаняном,
 и обрывается душа на небывалой ноте. И, отложив
 «Советский спорт», «да, сила», папа повторял, хотя
 по жизни ни за что ни Вагнера, ни Верди. И, синей
 вечности дивясь, бабуся: «больно шибко», а мама
 бережно вздыхала о тихом, о своем. Казалось,
 в звездный океан мы все впритирку отплывем
 на стареньком диване, да вот уж маюсь я один
 на островке порожнем. Сорвался в прорву хоровод
 любвей, скорбей и судеб, и вам за небом уж поет
 в своем жабо из облаков и снов залетно-юных,
 зажмурив нежные глаза и в память пылко протянув
 распяленные пальцы, непререкаемый Орфей,
 последний полубог Советского Союза, где тает
 точка наших солнц на выцветшем экране.

Пламя Нотр-Дама

*Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...*

Тютчев

Собор Парижской Богоматери, тебя сожгли,
как Жанну д'Арк, но Приснодева не дала
тебе погибнуть в пламени безбожном. И словно
кто-то усадил меня напротив — следить за первым
жиденьким дымком, потом за желтыми клубами
и первым языком алеющего ада. С тобой сгорала
и душа, и память сопричастно вековая, но шесть
ты отзвонил в последний раз, еще живой, еще
дрожа у края, и солнце невозможного заката
зависло над тобой, не смея откатить за грань
без дна и без возврата. «Заткнись!» — сказала мать
по-русски безмозгой девочке, увязшей в жиже
интертрёпа. И кто-то щелкал из машин,
и кто-то плакал не стыдясь, целуя взглядом
разлученья и хрупкий шпиль, и петушка,
упавшего с поруганных высот и вешней сини
в бурлящую багровую геенну. Прощай, мой
Нотр-Дам, до вечного возвратного свиданья.
Теперь молитва лишь одна: чтоб не отдали тебя
безбожникам глумливым на осквернение их
мертвым циркулем и смрадом пирамид. Однажды ты
была, обитель душ, среди парижской маеты и
духа сирого томленья, и я к тебе без мысли
забрел, и отходил, и возлетал в твое ручное
поднебесье, где нас Она, как пасынков, хранит.
Собор Парижской Богоматери, ощерившись
беспомощно химерами у края, как куст терновый
над обрывом, пылает над землей, неопалим.

15.IV.2019, набережная Сены



Геннадий БАШКУЕВ

УБИТЬ ВРЕМЯ

Р а с с к а з

Я поругался из-за чепухи — бормотнул во сне чужое имя.

Под боком не спали всю ночь. Я не помнил ничего. Хоть убей. Никаких имен.

Больше всего любимую женщину возмутила уменьшительно-ласкательная форма.

— Алё-о-онка!.. Это что-то новенькое. Нет, блин, не Алёна, а Алёнка!

Лицо гражданской жены с набрякшими веками исказила жуткая гримаса. А ведь красивая баба. Была.

«Вернуться к законной жене!» — мелькнуло. Ну, это вряд ли. Простой раз сумку выбросили на лестничную клетку. И вызвали полицию. Я был в подпитии.

Подруга почмокала губами:

— Сладкая, да? Не-е, брат, ты не шути, это большое чувство!.. Ха!

Бред, одним словом.

— Не надо ля-ля. Я слышала это имя дважды!

Спутница жизни закурила, хотя полгода назад, когда мы сошлись после затяжной детской игры — она убегала, а я догонял, — торжественно выбросила нераспечатанную пачку сигарет в мусорное ведро. Нечесаная, она сидела на кухне в моем драном махровом халате и стряхивала пепел в мою чашку с остывшим кофе, покачивая идеально вылепленной, с алым педикюром ногой бывшей танцовщицы ансамбля «Байкальские волны». И была неотразима в праведном гневе. Клятвенные заверения, что знать не знаю никаких Алёнок, рассыпались пеплом. Почему тогда я чмокал губами до и после? Женская логика!

Я демонстративно извлек из ванной зубную щетку, бритвенный станок и хлопнул дверью. Самое обидное: я в самом деле не знал никаких Алён-Алёнок, кроме одноименной певицы и Алена Делона. Но певицу знала вся страна, а Делона — весь мир. Железное алиби. Хотя смешного мало.

Я добрел до пивнушки, взял кружку пива и задумался. Мадам врать не будет: лишняя головная боль ей ни к чему. Пиво было кислым. За барной стойкой девушка красила губы; парень с колечком в ухе, позевывая, снимал со столов стулья и переворачивал их. Заведение должно было открыться еще полчаса назад, но было воскресенье и потенциальный клиент отсыпался. Значит, я действительно произнес во сне это имя. Да еще бессознательно почмокал губами. Фрейд, однако!

Я отхлебнул пива — оно по-прежнему было кислым. Стоп. Иногда Алёнами называют Елен. Но соседка Елена Сергеевна была отмечена: на днях ей стукнуло семьдесят лет — родственники брали у нас для гостей стулья на вечер. Оставалась Леночка, секретарша шефа. Впрочем, она находилась в декретном отпуске и вообще не та женщина, которая могла вторгнуться в мои сны. Чересчур много косметики и фальшивых улыбок.

Алёнка... Ерундовина на колесиках. Театр абсурда. Или театр юного зрителя. В конце концов, есть другие имена, куда более... мм... осязательные во всех смыслах, которые я мог бы озвучить в ночи. Вот так, по-мужски, надо встать и честно заявить боевой подруге. Не маленькая — поймет.

Не пиво — кислятина. Я отодвинул кружку, встал, уронил стул.

Лишь в трамвае, сунув руку в карман за мелочью, нащупал зубную щетку и одноразовую бритву. Сам ты одноразовый! Конечно, можно вернуться домой, и, знаю, подруга, виновато пряча глаза, стала бы накрывать на стол. Тогда зачем с дешевым пафосом брал бритву и щетку? Клоун без манежа. Не мальчик уже.

Не взяв билета, я под удивленным взглядом кондуктора сошел с трамвая. Надо убить время. Хотя бы до вечера. А лучше до утра. Употребить зубную щетку и бритву по прямому назначению. Дело принципа. Должен же быть во всем этом абсурде хоть какой-то смысл! Будет вам, мадам, Алёнка на ночь глядя!..

Ноги принесли меня на вокзал. Переступая через баулы, чемоданы, продираясь сквозь певуче-визгливую завесу китайской речи, огрызаясь на сермяжном трехэтажном, я протолкался к окошку и спросил, когда отходит поезд до Челябинска. Зачем спросил — неизвестно. Надо же как-то убить время.

Вышел на крыльцо. Вместе со свистком локомотива до меня долетел запах креозота. По небу в сторону реки тащились пепельные тучи, солнце лупилось из-за них объединенной яичницей. Я вспомнил, что не завтракал. На привокзальной площади таксисты сбились в кучку и сообща решали сканворд. Дачники и прочий люд спешили на электричку, у каждого второго — сумка на колесиках. Где-то беспрерывно плакал ребенок. Громыкнул всеми сцепками состав на дальнем пути. На углу заговорщицки шептались о чем-то своем, сокровенном пьяницы. Выпить, что ли? Я шагнул в сторону закуской.

И тут из-под земли возникла девушка и попросила закурить. Стал накрапывать дождик. Спичек не было. Девушка, на вид лет двадцать, не больше, сказала, что спички имеются у нее дома. Тут недалеко, метров двести. Но спички будут стоить тридцать баксов. Можно в рублях.

Мне было все равно. Главное — убить время. По крайней мере, это честно. Ты платишь за то, чтобы не говорить о любви.

Я ожидал увидеть вертеп, этакое гнездо разврата, а в небольшой квартирке было чисто, на низенькой тахте, заправленной пледом, лежали бархатные подушечки. На широком подоконнике цветы в разнокалиберных горшках. Пахло убежавшим молоком.

Я закурил и спросил хозяйку, можно ли мне называть ее Алёнкой. Девушка усмехнулась и сказала, что хоть матерью Терезой. К ней часто обращаются с подобными просьбами клиенты. И попросила не курить в доме. Челка, миловидное личико, маленькие сережки в остреньких, будто фарфоровых, ушках. Невысокая, но плотная, ладная. Ее можно было назвать симпатяшкой, если бы не эта усмешка и тонкие губы.

Алёлка деловито разделась. Незагорелые полные груди выделялись ослепительным пятном. И вдруг у меня пропало всякое желание. Увидев, что медлю, девушка легла навзничь, отвернула голову к стене, согнула в коленях ноги. Я загасил сигарету в горшке...

Когда проснулся, обнаружил, что в комнате имеется еще кто-то. Мужского рода.

В кресле сидел парень в бейсболке и смотрел по телевизору футбол. Я спросил, какой счет.

— Не в твою пользу, дядя, — хмыкнул парень.

— А где эта... Алёлка?

— Я за нее. Братец Иванушка. — Он встал с кресла.

Братец Иванушка приглушил звук в телевизоре, хотя намечалась подача углового, и объяснил, что я проспал час сверх положенного и потому задолжал сумму в двойном размере. Но так как мы живем в цивилизованном обществе, то он оставил мне немного денег на проезд в общественном транспорте. И на спички. Не вставая, я схватил висевшие на спинке стула брюки. Карманы были вывернуты. На полу валялась пачка сигарет, зубная щетка, бритва и мятая пятидесятирублевка.

Я выругался и начал приподниматься. Парень сделал телевизор погромче, хотя команды ушли на перерыв, развернул бейсболку козырьком назад и, пока я путался в брюках, нанес сокрушающий, слепящий удар в лицо. Через секунду братец Иванушка сидел на мне верхом, размахивая кулаками. По телевизору началась реклама пива. Сутенер ударил меня еще раз и принялся душить. И тут я вспомнил детский прием — плюнул в лицо. От неожиданности противник ослабил хватку, я ткнул его пальцем в глаз. Тот взвыл и повалился на пол. Я вскочил, натянул брюки, а когда застегнул ремень и поднял голову, на меня в упор смотрел зрачок пистолета. Недосуг было разобраться, настоящий пистолет или зажигалка.

— Ладно, забыли! — прохрипел я, отплеываясь кровью. —
Одеться-то хоть можно?

— Одеться нужно, — сказал парень, дружелюбно моргая слезящимся глазом. — Проваливай к своей старухе. Но в наказание за плохое поведение, дядя, ты пойдешь пешком.

Он забрал у меня последние деньги, а сигареты и гигиенические принадлежности выбросил на лестничную площадку.

Дождь прошел, асфальт потемнел. Было свежо. Я попросил огоньку у проходящей парочки. Девушка шарахнулась в сторону, однако ее кавалер прикурить дал. Сигарета враз стала красной и мокрой. Вся грудь рубашки была залита кровью. Я отшвырнул сигарету, сел на скамейку и запрокинул голову. В небе плыли клочковатые белесые облака. Дождь был бы кстати.

Умывшись у водоразборной колонки, я доплелся до вокзальной площади и попросил таксиста отвезти домой, сказав, что расплачусь по прибытии. Водитель с кустистыми бровями а-ля Брежнев удивленно выпучился.

— Ты-ы? — тонко пропел он. — Ты расплатишься?! У тебя есть дом? А ну, вали отсюда, отброс, пока я полицию не вызвал!

— Козел!

Я хлопнул дверцей. И тотчас почувствовал, как опухает лицо.

На другой конец города я, прячась от патрульных машин и делая короткие привалы на задворках, добрал в сумерках.

Через неделю, когда синяки на лице обрели нежный золотисто-фиолетовый колер, в дверь позвонили. На работу я не ходил: знакомый врач выправил бюллетень. С гражданской женой мы помирились, и она уехала в пригородный профилакторий.

Я посмотрелся в зеркало, надел черные очки, в одних трусах на цыпочках подкрался к двери и спросил:

— Кто?

— Откройте, это я, Алёна! — пропищали в ответ.

Я взял в руку молоток и рванул дверь.

На пороге стояла незнакомая девушка. Ничего особенного. Очки в роговой оправе съезжали с коротковатого носа. Правда, очень красивые губы, будто взятые напрокат из гламурного журнала. Мальчишья стрижка. Худенькое тельце утонуло в огромной футболке. Дранные джинсы, по-видимому, призваны скрыть ноги-спички. Братец Иванушка не проглядывался. Разве что пацан. За край футболки, как за подол платья, уцепился дошколенок и, хныкая, просил пить. Кажется, на улице в самом деле жарко: передавали, что градусов тридцать, не меньше. Переспросив фамилию ответственного квартиросъемщика, незнакомка решительно прошла на кухню и напоила сынишку водой из-под крана. Я опомнился, натянул штаны и предложил чаю. С сахаром.

Может, с лимоном? И вообще засуетился в каком-то тревожном предчувствии.

— А вы правда Алёна... Алёнка? — Мой голос дрогнул.

Девушка поправила очки, кивнула и расплакалась. Мальчик захныкал с новой силой. Глотая слезы, гостья сообщила, что ее уволили с работы и им с сыном не на что жить. Фамилию и адрес вычитала в книге жалоб. Алёнка пропищала, что вовсе не хотела обвешивать покупательницу, но та словно с цепи сорвалась. Жалобу настрочила. Еще при этом передразнивала ее имя. («Сколько раз просила напарницу не звать меня Алёнкой при покупателях!») А магазин-то частный, шаговой доступности. Хозяин и слушать ее не стал, уволил сразу же, потому что дорожит мнением окрестных жителей.

— Ну хотите, Алёна, пойду к вашему директору и скажу, что вы не виноваты? — досадуя на подругу, опустившуюся до мелкой подляны, спросил я.

И ведь, действительно, не виновата!

— Не-а, — высморкалась в мой платок. — Там уже другую взяли.

В таком случае чего девушка хочет? Алёна пожалала плечами. Ребенок сказал, что он хочет кушать.

— А хотите, Алёна, выпить? Хотите? — Мне захотелось хоть как-то утешить мать-одиночку, пострадавшую по моей, выходит, вине.

— Хочу, — тряхнула головкой гостья, поправила очки и улыбнулась. Все-таки губы у нее были красивые.

Она сходила в ванную, умылась и успокоилась. Я разогрел плов, приготовленный накануне, извлек из холодильника початую бутылку водки. Ребенок стал уплетать плов, как полагается, руками. После третьей рюмки, когда мальчик уснул перед телевизором, я поцеловал девушку в губы: они меня притягивали. Слезы смыли с ее невзрачного личика остатки косметики, и она казалась девочкой-отличницей с первой парты. Алёнка... Мистика какая-то! Я мог поклясться, что поцелуй был вполне невинный, отеческий. Алёна сказала, что ей тоже меня жаль, и поцеловала мои синяки.

Сожительница, забывшая дома справку о прохождении флюорографии, застала Алёнку сидящей на моих коленях.

Пару недель мы прожили на даче товарища, который обрадовался, что теперь есть кому поливать огурцы. Сославшись на здоровье, я взял внеочередной отпуск (мне его не давали, но я настоял) и по утрам, пока Алёнка спала, успевал сбежать к реке, искупаться, сделать зарядку, носить воды в громадный ржавый бак и приготовить завтрак из яичницы и свежих огурцов.

Что-то случилось со мной в то короткое лето. Синяки окончательно сошли. Ночи были теплыми и звездными. Просыпаясь на рваных простынях, то и дело сползавших с продавленного дивана, я долго вглядывался



вался в колеблющееся в лунном свете лицо этого загадочного существа, пришедшего ко мне из моих снов. Я внимательно вслушивался в ровное дыхание — Алёнка спала, сложив очки у подушки, — может, в полусне она наконец-то произнесет заветное слово, пароль, шифр, который мгновенно, вспышкой сверхновой объяснит необъявленный визит посланца далеких миров?

Но наступал день, Алёнка превращалась в обычную девушку, озабоченно морщившую облупившийся на солнце носик. Пропалывая грядки, она слегка потела, как все земные женщины. Алёна быстро загорела, даже под тонкими бретельками лифчика, и, снимая очки, перед тем как лечь в постель, обнаруживала забавные белесые круги под глазами. Утром, глядя на играющего с соседской собакой Коленьку, она печально сутулилась, зажав полными губками сигарету.

«Да и зачем тебе красавица?» — спрашивал меня хозяин дачи, бывший однокурсник, изредка приезжавший распить бутылочку под малосольный огурчик. — В нашем случае, старичок, красота — это молодость». Приятель был прав. Меня раздражало, например, что Алёна (сколько я ее ни отчитывал, как маленькую), забывшись, даже ночью обращалась на «вы».

Жизнь прокрутили, как рекламный ролик. По утрам, одевая Коленьку, я думал о том, что, кажется, еще вчера моя мама собирала капризничавшего мальчика в детский сад, потом в начальный класс, давала пятнадцать копеек одной монеткой на завтрак. Особенно не давались чулочные застежки — чулки вечно сползали во время игры. Я ненавидел эти бумазейные, серовато-поносного цвета чулки.

Другая, поздняя проблема — чернильница-непроливашка. Не такая уж она была непроливаемая! И потому, наверное, ее носили поверх ранца, я — в специально сшитом мамой чехольчике на шелковой веревочке. А еще жизнь отравляли остренькие, с фиолетовыми переливами перышки, которые насаживались на деревянные ручки. С ними надо быть настороже: они могли подцепить любую бяку и посадить кляксу на уже благополучно списанную задачку. О кляксы, проклятье советской школы, за которые в классе безжалостно ставили двойки, а дома — в угол! Но перья были незаменимы на уроках правописания, потому что позволяли выводить буквы кириллицы с правильными нажимами. Где теперь эти перышки? За что учительница ударила меня линейкой по руке, когда мир давным-давно стучит клавишами компьютера или, на худой конец, прекрасно пишет шариковыми ручками без всяких дурацких нажимов? Зачем поколение мальчиков и девочек пролило мегалитры слез, осваивая никому не нужную в этом жестоком мире каллиграфию и прочие телячьи премудрости? Зачем умерли постаревшие мальчики и девочки, так ни разу и не применив на практике полученные на уроках правописания знания, а? Зачем существовало, трепетало все то, что накрыла огромная клякса жизни, поглотив, сожрав время?..

Однажды Алёнка сильно обгорела на солнце. Вечером я уложил ее на веранде и стал обмазывать пылающую плоть скисшим молоком, недопитым Коленькой (за молоком я ходил в соседний поселок). Каждое прикосновение доставляло Алёне боль, спина была багровой, по-моему, поднялась температура. Она лежала смиренно и тихо стонала. И тогда я стал работать кончиками пальцев, почти не касаясь кожи. Алёна затихла и уснула, а ночью пришла ко мне в баньку.

Любовь пахла кислым молоком. И было в прикосновениях ее губ нечто новое, волнующее — дочерняя, что ли, благодарность. Ей было больно, но она лишь задавленно, в подушку, пицала мышкой. И хотя ночь была безлунной, я видел происходящее в цвете: алые губы; коралловые соски маленьких, как у девочки, грудей; матовость кожи; загадочное мерцание голубых глаз; темный, чернее ночи, шелковистый треугольник...

Утром я обнаружил на простыне странные белесые завитушки. Потом сообразил, что это омертвевшая кожа с Алёнушкиной спинки. Очкастая змейка линяла, устремляясь к новой жизни и оставляя в скошенной траве узорчатую шкурку воспоминаний.

Душным августовским днем я провожал Алёну и Коленьку. Руку оттягивала авоська со свежими огурцами: друг всучил на прощание, дескать, витамины на Севере ребенку необходимы. Ребенок норовил убежать — то потрогать стоящий на втором пути маневровый, будто игрушечный, тепловоз, то к киоску, где продавали мороженое, — мать кричала на сына и била свернутой газеткой по макушке. Коленька ревел, заглушая свистки тепловоза.

Асфальт на перроне размяк. Обещали дождь, а дождь плевать хотел на людские обещания. Струйка пота неспешно потекла за ухо. Я забрал у Алёны газету и стал обмахиваться. Газета была с кроссвордом: ехать предстояло до утра, с перекладными, чуть ли не до самого БАМа, и надо, бормотала она, как-то убить время.

Оттуда, с Севера, пришло письмо от ее школьного товарища. Она собралась за день. Что за школьный товарищ, я не хотел знать (половина моих одноклассников вымерли, точнее вымерзли, как мамонты, в годы реформ). Просто девушка из моих снов уезжала.

Когда Коленька, облизывая мороженое, отвлекся, я потянул Алёнку к себе. Она нехотя подалась и едва ответила на поцелуй — смотрела поверх голов и как-то блаженно, расслабленно улыбалась. Ее волосы пахли солнцем.

Грудь кольнул торчащий из кармашка уголок конверта, который передал мне друг. Жена поражалась моему коварству: столько лет храпел бок о бок, прикидывался отцом семейства, а тем временем держал на стороне любовницу, как не стыдно. Жил на две семьи, и она не удивится, если ребенок этой развратницы от меня. От жары голова шла кругом. Такое же

послание могла состряпать бывшая танцовщица. Пнуть тренированной ногой ниже пояса. Я даже посмотрел обратный адрес на конверте. Его не было. Но в конце письма сообщалось, что я могу забыть дорогу домой: она подает на развод. Ага, привет от законной половины (гражданская жена не могла совершить сие по определению).

Коленька с головы до рук вымазался мороженым, раздался шлепок, и ребенок громко заревел. В тот же миг все вокруг пришло в движение, перрон почернел, меня пару раз толкнули.

— Ну, пишите, — выдохнула она, поправила очки и вцепилась в сумку.

«Куда?» — хотел спросить и передумал. Глупо писать в прошлое. Еще глупее получать письмом оплеуху. Второй нокдаун в любительском боксе засчитывается как поражение. Да и в тайском тоже: уже не встать. Я успел подать огурцы, затем Коленьку, тут меня сильно двинули в спину, я оглянулся, чтобы заставить наглеца попросить прощения, а тем временем Алёнка с Коленькой сгнули в чреве вагона и до отхода поезда выгоревших на солнце головок своих так и не показали.

Когда хвост поезда медленно растворился в мареве, я обнаружил в кармане пиджака газету. Рельсы, будто облитые сливочным пломбиром, жирно блестели и пускали зайчики. Носовой платок остался у Коленьки. Я снял пиджак, утер пот со лба о подкладку и вдруг понял, что мне, собственно, некуда идти. Дача однокурсника и та была летнего типа — любовь, выходит, тоже.

Площадь, залитая потоками света, была пустынна. Асфальт пружинил под ногами. У киоска, высунув языки, валялись собаки. Лишь таксисты сгрудились у транзисторного телевизора, вынесенного на бампер, — невзирая на жару, смотрели футбол. Вокзальные проститутки и те прятались в тени здания пригородных касс. В перерывах между лязгом буферов, свистками локомотива и протяжным скрипом тормозных колодок стрекотал отбойный молоток. Муравьями, сгибаясь под тяжестью добычи и белозубо улыбаясь, протащили пучки арматуры китайские работяги. Эхо разносило над путями ленивые голоса диспетчеров грузоперевозок, разморенных духотой кабинетов: «На пятый путь прибывает нечетный... четный... четный...» Единственное клочковатое облачко таяло на глазах. Я зажмурился. Над городом шел солнечный дождь.

— Газету, мля, купить, че ль? — услышал за спиной, когда, обмахиваясь газеткой, подошел к навесу автобусной остановки.

Донесся дружный хохот. Особенно старался невысокий крепыш с золотой цепью на короткой шее. Точнее, шеи вообще не было. Смеясь, он успевал деловито жевать. Ему бы кольцо в ноздрю, мелькнуло безобидно, и вовсе сошел бы за бычка. Рядом хихикала девица с огромными, как у цыганки, круглыми серьгами. Она поперхнулась глотком пепси и отбросила банку. Банка со звоном закатилась под лавку.

— Уй, не могу!.. Газету! Ты когда последний раз читал, Грыжа? — вытер голубенькие глазки бычок.

— Иди ты на! Сам-то читал чего, кроме Уголовного кодекса, на? — нахмурился, шевельнув черными очками, двухметровый Грыжа в пестром, как у пирата, платке-бандане.

Под тесной футболкой перекачивались мышцы, под квадратным подбородком — кадык. Чем-то — ростом, привычкой облизывать губы? — он напомнил дядю Володю, дворового кочегара моего детства. Я уставился на дорогие белые туфли сорок последнего размера: если одна из них кирзовым сапогом угодит промеж ног, подумалось, прощайся с женщинами. А то и с жизнью.

— Прекратите лаяться, идиоты! Борька, прекрати, слышишь? — капризно надула губку девица. — Долго еще эта бодяга? Ну и дыра!

— А я говорил, берем тачку, говорил, на? — торжествующе пробасили сверху. — Еще обзывается! Я грю, в газете чисто кроссворды бывают! Я ж как лучше, Нинок. Чисто время убить. Париться теперь на жаре, на!

И все трое заспорили. Выяснилось, их поезд прибывает только через два часа — очень неудобно: ни напиться, ни в кино сходить.

— Может, опять по пиву вдарим, а? Еще пожрать можно, шашлыков, а? — утер лысину бычок с золотой цепью и зажевал с прежней скоростью.

— Идите вы! Вам бы жрать да пить! — Девица закурила. — Пойду в зал ожидания, там хоть телевизор есть.

— А может, в сауну? Там чисто пиво! — оживился Грыжа и облизнул губы. — Вон вывеска торчит.

— Может, тебе еще и бабу в парилку?! — заржал крепыш. — Чур, я первый! Тогда точно на поезд опоздаем!

— Фу, скоты вы, однако, мальчики! — отвернулась девушка и обратилась ко мне: — Мужчина, не продадите газетку?

Я отдал газету и шагнул куда глаза глядят.

И тут появилась эта дурочка. Она была одета в рваный болоньевый плащ, подпоясанный лакированным ремешком с облезлой позолотой, на голове цветастый платочек, на впалой груди болтались красные пластмассовые бусы. Туфли без каблуков, облупившиеся острые носы потешно, по-клоунски нацелились в безоблачное небо. Дурочка достала из холщового мешка грязную косметичку, затем осколок зеркала, тюбик помады и огрызок черного карандаша и принялась наводить марафет. Спичкой она извлекла из тюбика крошки помады, кое-как нарисовала ротик, карандашом подвела брови, отчего печеное ее личико приняло уморительное выражение типа «Что вы говорите!» Она кидала кокетливые взоры то в зеркальце, то на игрушечные часики на тонком запястье, куриной лапкой поправляла волосы.

— Гли-ка! — захохотал Грыжа. — Во вырядилась, на! Чисто филармония!

— Вау! Дурочка... Живая! — захолопала в ладошки девица.

— Девушка, а дэ-эвушка, не скажете, который час? — зажав нос, прогнусавил бычок, подмигивая остальным.

Полоумная бросила озабоченный взгляд на часики и сказала, что скоро поезд, а на поезде приедет ее жених, он красивый и богатый. Раздался гогот. Больше всех смеялась девица. Бычок, мыча от сдерживаемого смеха, спросил сумасшедшую, не сойдет ли в женихи, он тоже красивый и богатый. Заподозрив неладное, дурочка сложила в мешок предметы дамского туалета и посеменила в сторону перрона.

— Боря, не пускай ее, не пускай! Бесплатно же! — опять захолопала в ладоши девица.

Двухметровый ухватил за мешок:

— Стоять, на!

Задержанная громко заплакала.

Верзила легонько ударил ее по спине:

— Тихо, дура.

Сумасшедшая притихла, но вдруг рванулась — мешок треснул, на асфальт полетела косметичка, помада, карандаш, разбилось зеркальце. Дурочка завывала и стала собирать свои сокровища. Я подал ей карандаш и попросил человека в черных очках отдать мешок.

— Тебе чего, мужик, больше всех надо? — подошел приятель с цепью на шее. — Она же дура! Дура, ясно! Вот и пусть дурит, а мы посмотрим! — И наконец выплюнул жвачку.

Я попытался увести сумасшедшую на перрон — встречать поезд.

— Тебя че, тоже чисто идиотом сделать?! А ну, вали отсюда, старый козел, не мешай людям, на! — преградил путь верзила в черных очках, дергая кадыком.

В этот кадык я и ударил. Грыжа согнулся, закашлял. Платок-бандана размотался и болтался на шее. Очки скособочились. Жемчужной ниткой повисла слюна. Девица, ухватив себя за огромные серьги, завизжала.

...Огнем из кочегарки опалило спину. Я повернулся. Бычок набылся, он что-то кричал, держа ребристую железную палку обеими руками, как совковую лопату. Сверкающие снопы дробились о пластиковый навес остановки, о лысину крепыша. Золотая цепь на волосатой груди качнулась, луч резанул глаз. Я чувствовал, как капли пота копятся на бровях, однако смахнуть их было некогда. Второй удар пришелся в плечо: метили в ухо, но я инстинктивно отпрянул и побежал по площади. Сзади раздался топот, будто бухал кирзовыми сапожищами дядя Володя: меня настигал двухметровый.

«Главное, не упасть — запинаят! Не упасть — запинаят!» — крутилась в голове заповедь дворовых драк. И в тот же миг страшный удар свалил меня с ног. Было так больно, что я даже не закричал.

— Бей его, Грыжа, убей! — визжали рядом.

Я скорее понял, чем ощутил, что меня пинают. Страх разъяел пелену в глазах — я увидел на асфальте железную палку: обронили впопыхах в азарте добивания. Кубарем перекатившись, схватил арматуру, ткнул не глядя вверх, чувствуя, что попал во что-то мягкое, — тень с воем отвалилась. По инерции, а вовсе не по злобе я ударил стоявшего на коленях человека. Отбросил железку — она почему-то беззвучно упала на асфальт.

Меня окружили люди, много людей; их лица были искажены ненавистью. Странное дело, ненависть эта была приятна.

В детстве в нашем дворе имела хождение твердая валюта. Твердая, пока не растаяла. Особенно ценился шоколад «Алёнка». За две плитки «Алёнки» на моих глазах ушел кляссер для марок, за три — старый ниппельный мяч, за четыре плитки Толик по кличке Ссальник разделся до гола и средь бела дня вышел на улицу Ленина. И всего за одну «Алёнку» девочка из соседнего дома обещала нечто большее, чем поцелуй.

Сначала Олечка соглашалась на обычный поцелуй за три шоколадные конфеты, да «Алёнка» ее сломила. Шоколад я получил от продавщицы Инги, первой красавицы двора, за то что прогнал прочь с ее прекрасных очей местную сумасшедшую. Чем ей досадила несчастная дурочка — непонятно, только «Алёнка» в условленный день перекочевала из-за прилавка в мой карман. Беда, однако, крылась в том, что шоколад выдали утром, а свидание на чердаке нашего двухэтажного барака было назначено вечером. Стыдно говорить, но «Алёнка» не дождалась часа свидания: с нее с шуршанием содрали девственные блестящие одежды, затем молочно-коричневое, как у мулатки, прекрасное тело «Алёнки» было искусано страстным молодым любовником, но не сразу — в течение долгого дня (шла мучительная борьба с искушением и стыдом!) съедено ломтик за ломтиком.

Обо всем этом я вспомнил, когда сосед по нарам поделился своей печалью. Запретили передавать в тюрьму шоколад: у кого-то нашли впамятную в плитку наркоту. А он-то тут при чем? Жена приготовила его любимый — «Алёнку». Он причмокнул губами. Любимый еще с малолетки. Сосед возмущенно фыркнул: до чего дошли, волки позорные, — детское баловство приравнять к уголовке? Ссученное время!



Иван ВАСИЛЬЦОВ

О ЛИШНИХ ПТИЦАХ

* * *

Давно смотрю на мир обочинный,
Сам черного частица люда.
Домишко, жизнью скособоченный,
Еще надеется на чудо.

Здесь тесно было б и Хаврошечке,
Здесь ясельки — и те б мешали.
Но бережный прозор в окошечке
Не ангелы же надышали.

А говорить ли о несбыточной
Надёже сыновей и дочек,
О том, что где-нибудь за Вычегдой
Такой же точно есть конечек?

Всех если вспоминать по отчествам,
Запнешься ли на миллионном?
Живот иль смерть найдешь по оттискам
На дне бутылочки бездонном?

И вдруг почувешь, как юродивый,
Увидишь вдруг, слепой как будто:
Другую землю звал ты родиной,
Другую ночь, другое утро.

Не убывай, полоска узкая,
Не покидай края и крыши.
Ты за холмом, земля о русская!
Да только холмик-то все выше...



Давно смотрю...
И нет прозрения.
Но верую, что время придет.
Периферическое зрение
Звезду Рождественскую свидит.

Зияют вопрошанья главные —
О жизни адской, смерти райской.
Сияют лавки православные
Иллюминацией китайской.

Маленький триптих о зимних птицах

1.

Изба ухожами ухожена,
Дымком льняным покрылена.
Скрипит калитка перехожая,
Ведет в иные времена.

Прядет зарю неряха, пряха ли
На небе склонном, нитяном.
Глаза отокали, отплакали,
Вернулись — за веретеном.

Тепла холстина, дома тканная,
А все ж по сердцу — холодок.
Пичуга, из-за моря званная,
Нахохла свой хохолок.

2.

Знаешь, крапива бывает двудомной —
Жгучка, стрекава, огонь-голова...
Всякий домашний, он чем-то бездомный,
Сам домовый — без кола, без двора.
Дом-то — и тот, хоть живой, хоть бетонный,
Легким открылком, бревенчатой тонной,
Весь для потомков-бездомков — дрова.

Не просмотри через черные смолы
Серую смолку подснежного дня.



Не упусти даже лучик соломы.
 Видишь, снегирь? И жена снегиря.
 Может, и правда они нам знакомы?
 Может, недетная эта семья
 Тем — подкрапивенским — птицам родня?

3.

Сквозь форточку зимние разговоры
 Ведет с нашей памятью Брехт-воробей.
 Мы слушаем море, мы слушаем горы,
 А слышим одно: «Не убий, не убей!..»

В лотке, что напротив откроется вскоре,
 Мамаша Кураж будет хлеб продавать.
 Мы слышим одно, а видим другое.
 «Горе мне, горе...
 Мать моя, мать...»

Шуточное

Странно общаться с веком,
 В котором навеки останешься.
 Как будто бы с человеком,
 С которым уже не расстанешься.

Он может быть очень милым,
 До чертиков обходительным.
 А может быть конвоиром
 С выстрелом предупредительным.

Он будет риелтером, менеджером,
 Мурлом, победившим апатию.
 Он сможет прикинуться Сэлинджером,
 Молчащим за всю нашу братию.

Однажды он вроде сиделки
 В больничку тихонько устроится,
 Чтоб наши закрыть гляделки,
 Коль сами они не закроются.

... Ты, главное, помни, родная,
 С тобою мы вместе покуда,

Не тронет нас этот паскуда —
Рука ли его воровская,
Зима ли его вороная,
Польнь ли его городская,
Его польнья ледяная...

Но есть обстоятельство, кроме
Иных. И оно повесомей.

Весело встретиться с веком,
С которым уже не расстанешься.
Ведь станет он человеком,
Коль ты человеком останешься.
И ты человеком останешься.
И ты человеком останешься...

* * *

Декабрь. По-иному — родина.
Пора отпусков печальных,
Гудков, стекленеющих в небе,
Серебряных поясов.
И воробьев бездомных
С вечной заботой о хлебе,
И женщины, пожалевшей
Упущенных в снег часов.

Никто не изменит вокзалов
И странников не остановит.
Ничто не заменит котомок,
Таящих о поле рассказ.
Пора выходить наружу,
Желанный близится поезд,
Который — движение, поиск
Родных на мгновенье глаз.

Когда-нибудь древнее слово
Сумеет представиться светом,
Махнет из-за тучи крылами,
Растает, как сокол Финист.
Состав остановлен на время,
На вымышленное лето,
Где мята, рожденная вьюгой,
Метелями слепленный лист.



Звучат, звучат объявления
 Путей, дорог, расстояний.
 Для многих — как приговоры,
 Для избранных — как мечты.
 Люди встают, уходят,
 Их темные ждут платформы,
 А на скамьях остаются
 Невидимые цветы.

Почерк мороза на стеклах
 Сухой, угловатый, горький.
 Замерзшее сердце птицы
 Молчит не только во мне.
 По лестнице — в сказку сугроба,
 По шпалам — в страну сенокоса,
 По трепетной тропке — к озеру,
 По лунной дорожке — к луне.

* * *

О лишних людях школяры твердят
 С ухмылкой понимания на лицах:
 Эпоха, время, прогрессивный взгляд...
 А я хочу сказать о лишних птицах.
 Пора пришла задуматься о тех,
 Кто не знал иных, чем эти, сводов.
 О жителях ржавеющих застрех,
 Наследниках заброшенных заводов.
 Какой там взлет, какой там горизонт?!
 Да если б из холстинки — покрывало!..
 Рождение, школа, ФЗУ и фронт.
 Хоть очередность и другой бывала.
 Послушны зову низкого гудка,
 Они ведь тоже высоты хотели.
 Парили — не стояли у станка,
 Работали — как будто бы летели.
 И жизнь брала свой вывод под крыло,
 И, посулив небесные дорожки,
 Швыряла им свинцовое пшено,
 И приучала их к железной крошке.
 До сей поры испарину теплиц
 Нет-нет да и смахнет со лба «Копейка».
 Неужто пламя адовых жар-птиц



Однажды снова выдохнет литейка?[?]
 ...Ну что же, соплеменничек, бывай.
 Декабрьский день и краток, и неярок.
 Про память, про золу не забывай,
 Про крестики следов у кочегарок.
 В отливе голубинога пера
 Спецовочку узнай родного деда,
 Что все земные позабыл дела,
 Но не забыл токарного лишь дела.
 Нет, в голубятнях жить им не пришлось
 И между строк хозяйственных приказов.
 Им и под крышей места не нашлось,
 Когда-то бывшей небушкой в алмазах.
 Но знаю, что, цепляясь за карниз —
 Земличка-то под коготком родная, —
 Чернорабочий ангел смотрит вниз,
 Мозолистые крылья поднимая.

* * *

В мире надлунном, в мире ночном,
 В мире несолнечном
 Из-под развалин, сутулясь, бочком
 Вышел подсолнечник.

Вышел он — видом своим волновать
 Сумеречь здешнюю.
 Вышел, салага он, солоновать
 В темень кромешную.

Видно, в не наших родился краях,
 Серых и буденных.
 В марсовых, видно, оставил полях
 Братьев полуденных.

Иначе зачем он стоит на посту
 Вместо солдатика?[?]
 Иначе зачем он крадется к мосту —
 Вроде лунатика?[?]

Так ли уж плохо, как все, было жить —
 Просто растением?[?]
 Нет, ему светочем надобно быть,
 Лунным сплетением!



Что ты, одумайся, ночь впереди
 Грозная, главная.
 Выжмет она из тебя, погоди,
 Масло фонарное.

Вытащит, вытянет мозг лучевой,
 Вылузит темечко.
 Вычернит черноточащей чумой
 Дерзкое семечко.

... Ты продержишься дольше века, сынок,
 Светом таинственным.
 Ты одиночка, но не одинок
 В мире единственном.

* * *

И мертвые спят, и живые
 В пределах великой страны.
 И пьют тополя молодые
 Полынную горечь луны.

Иголочка громоотвода,
 Скамья в ожиданье, крыльцо
 И старенького огорода
 Почти оспяное лицо.

Живем, как на вечном перроне:
 Прощанья, отчаянье, злость...
 Но вот в полусломанном доме
 Как будто окошко зажглось.

И стало понятно, что лето,
 Что ноги боятся росы,
 Что в небе, дрожа от рассвета,
 Хранят равновесье весы.

Без страха и без укора
 Комар свою песню поет.
 Живым просыпаться уж скоро,
 А мертвым — еще не черед.

* * *

Стала чужее родная сторонущка
Не для меня, погляжу, одного.
Что ты, не бойся, ворона-воронушка,
Я не обижу крыла твоего!

Разве с тобой мы не жили под горкою,
Ближе соседов, роднее родни?
Горькую разве мы пили не горькую?
Были с тобой не одни мы — одни?

Я уже слышал твой голос непрошенный,
Не пожелаешь который врагу.
Я уже видел платочек неношенный —
Если не вспомню, забыть не смогу.

Помню, белье на веревке как хлопало,
Как собиралось исподнее в путь.
Помню, как небо ты осенью штопала,
Чтобы теплей оно стало на чуть.

В птичьих глазах поволока хрустальная.
А в человеческих — стекло да стекло.
Я не заметил, как время астральное
Через меня на восток потекло.

Мы короля не заметили голого,
Тлен золотой в наши души проник.
Мы позабыли, что есть еще олово —
Наш полуангел, полупроводник.

Ты проводи меня, птица мятежная,
В самые дальние наши края.
Серость твоя в мире самая нежная,
В небе — предснежная — серость твоя.



Денис ГЕРБЕР

ПРОБУЖДЕНИЕ

Р а с с к а з ы

Лезвие

Проснулся — точно воскрес.

Деревенский дурачок Мишка лежал на куче тряпья в сарае рядом со сгоревшим домом. Лежал и трясся. Утренняя прохлада проникала меж досок вместе с полосками света. Доносящееся снаружи карканье было исполнено злорадства. «Зря порвал! Зря порвал! Зря украл! Зря украл!» — голосила ворона и хохотала.

Не только от холода трясло Мишку. Вчера Витька Крутиков пообещал его пришибить. Да он и не обещал, вообще ничего не сказал. Однако по взгляду из-под насупленных бровей и жарко раздувающимся ноздрям все догадались: пришибет непременно. Витька сначала делал дурь, затем трезвел, а после думал. А подумав, ни о чем не сожалел, даже в часы самого лютого похмелья. Он бил морды каждому третьему собутыльнику, раз в неделю окончательно ссорился с закадычными друзьями, ломал стулья, дверцы на шкафах и собственные костяшки. Мог пнуть одноухого и наполовину ослепшего пса Тайсона, в котором на первой стадии опьянения души не чаял и которого носил на руках. Часто Витька хватался за нож, и не просто хватался — старался измараться в красном. Однажды его даже посадили, но спустя два с половиной года он уже праздновал свое возвращение погромом у двоюродного брата, которого издевательски называл «кузеном».

Мишка подтянул колени к подбородку, схватился окоченевшими пальцами за подошвы кроссовок. Поерзал немного, зарываясь в тряпье. Жаль, что проспал до утра. Нужно было красться к дому по темноте. Теперь Крутиков обязательно сцапает.

Еще минуту назад снился Мишке очень важный сон, да тревога спугнула его. Как ни напрягай память, появляется только озлобленный Витька. И даже у этого воображаемого Витьки глаза ледяные, а руки ищут нож.



В деревне, за несколько домов от обгоревших развалин, зарокотал двигатель и тут же замолк, не набрав нужных оборотов. Снова попытался завестись, раскашлялся. Эмчээсник Костя Бачманов терзал свою колымагу. Едва ли не каждое утро он пытался оживить «ниву», но автомобиль редко выныривал из комы. Мишка подумал, что, если у Бачманова получится, нужно бежать к нему и просить, чтобы довез до дому. Еще несколько попыток — и терпение Бачманова иссякло. Сейчас он, наверное, плюнул, выругался на татарском и вернулся в избу.

Мишка повернул голову и уткнулся носом в тряпье. Напахнуло гнилью, ацетоном и... Он никак не мог определить запах. Что-то морское, рыбное... Так пах подводный человек, которого показывали по телевизору. Наверное, здесь, под тряпичной кучей, запрятана его нора, ведущая прямоком к Байкалу. Мишка дышать под водой не умел, поэтому в нору не полез. Нужно пробираться домой окольными путями. Или просить кого-нибудь о помощи. Но Витька — он может быть где угодно, в любом доме. Он может встретиться на улице. Он может караулить за воротами.

Все еще трясясь, Мишка сполз с кучи и встал на дощатый пол. Полез во внутренний карман куртки, проверил, на месте ли фотография. Фотография, точнее несколько обрывков, была на месте. Нужно отнести ее матери.

Настоящей матери у Мишки не осталось: она пропала очень давно, когда он жил в детском доме. Хотя и до того, как исчезнуть, мать приходила очень редко — всего несколько раз. На ней всегда было одно и то же коричневое пальто с овальными пуговицами. Кроме этого пальто, Мишка ничего не помнил о матери, даже голос забыл. Впрочем, она и не говорила с ним, только кивала при встрече, обсуждала с работниками детдома какие-то документы и кивала при расставании.

Зато Матёра, с которой Мишка жил после исчезновения матери, поболтать любила. Она разговаривала сама с собой, ругалась с посудой, что-то сообщала овощам и зелени в огороде, кляла на чем свет стоит сорняки и лезущую от соседей малину. Голос ее не смолкал ни на минуту, в доме он был так же постоянен, как пыль, запах сушеного укропа, трещины на штукатурке. Свою тетку Матёру Мишка и называл матерью.

Выйдя из сарая, он огляделся. Сгоревший дом торчал обугленным остовом. Рядом на столбе висел баннер с красной броской надписью: «Продается участок 7 сот.», а чуть в сторонке маячил уличный туалет с болтающейся на одной петле дверцей. Участок пытались продать уже четыре года, но тщетно. Со стороны могло показаться, что дело в крапиве, которая совершила рейдерский захват территории и теперь стояла насмерть.

Дальше, за остатками забора и ржавым прицепом, перевернутым колесами кверху, начиналось поле с коровьими лепехами и шампиньонами, а за полем серебрился Байкал. До озера не больше километра, и это



расстояние испещрено тропками и дорогами, по которым не каждый автотранспорт проедет.

Мишка задрал голову. Голубое небо прочертил след от самолета. Мишка не знал, что такое самолет, хотя слово это слышал. Он считал, что белый след оставляет птица: она никогда не приземляется, а отдыхает на облаке. Остатки этих облаков сдувает с перьев при полете, и на небе получается полоса.

Очень захотелось очутиться дома. Забраться под колючее одеяло, одно на все времена года, лежать и мечтать. В мечтах обычно идешь по берегу Байкала, встречаешь зверей и хороших людей, так непохожих на жителей деревни. Устаешь, но все-таки продолжаешь путь, открывая для себя новые удивительные миры. А если попадается кто-то ужасный — человек с желтыми руками, например, или прозрачное дерево — тут же вспоминаешь про колючесть одеяла, кутаешься в него с головой, и уже не так страшно.

Часто в мечтах появлялась Нютко — женщина с длинными темными волосами. Она всегда возникала сама по себе — красивая, улыбчивая, в голубом платье и башмачках с заостренными носками — и не подчинялась силе Мишкиного воображения. Нютко усаживала его на колени (в эти минуты он делался маленьким, как в детском доме), гладила по голове и спине, трогала за руки. Бывало, ее длинные пальчики становились холодными и твердыми, она могла причинить боль и тут же нежно засмеяться. Она умела быть строгой и доброй. Иногда Нютко рассказывала грустные истории о своем потерянном королевстве, иногда просила о чем-то или предупреждала...

Снова заревел двигатель «нивы». На этот раз у Бачманова получилось. Мишка выбрался на улицу и помчался к дому эмчезника. Кроссовки на ногах хлопали, будто ступни за ночь укоротились. А может, шнурки неправильно завязал (Матёра вечно ругала за это). Мишка почти добежал, когда автомобиль проехал мимо. Бачманов за рулем сидел хмурый, грыз спичку, зато его жена на пассажирском сиденье улыбалась и даже помахала рукой.

Глядя вслед удаляющейся «ниве», Мишка вдруг ощутил себя жалким и незащищенным, будто стоит он голым посреди площади, а вокруг полно народу. Сейчас будут смеяться, плевать, потом бить. Как в детском доме.

Внизу живота у него мгновенно образовалась дыра, а через эту дыру вверх по позвоночнику потянуло холодом. Это было предвестием ужаса, который накатывал время от времени. Вот затылок всосет в себя этот пришедший извне холодок, голова закружится, мысли выстудятся, а далее может случиться все что угодно. Во время таких приступов Мишка несся не разбирая дороги, перепрыгивал через канавы и овраги, взбирался на крыши и деревья. Однажды преодолел впадающую в Байкал речку, а на другом берегу, придя в себя, обнаружил, что брюки и кроссовки сухие. По воздуху, что ли, перелетел?



Он оглядел улочку, пытаясь заранее предугадать, куда на этот раз может сигануть. Людей не видно. Машины не едут, лишь пыль опускается от промчавшейся «нивы». Две собаки разгуливают от дома к дому, метая друг за другом скамейки и столбики у калиток.

В животе гудело, словно в печной трубе, позвоночник дребезжал. «Если такая дребедень наступать будет, ты обязательно ко мне беги или к людям другим, — советовала Матёра. — Пушай говорят что-нибудь, неважно что, ты просто слушай. Слушай и успокаивайся. Эта холодрыга отступит, если отвлечешься хорошенько. У твоей мамки-потаскуньи такое же было. Только она не убегала, а ножки раздвигала».

В одном из домов Мишка увидел приоткрытую дверь. Через калитку зашел, протопал по составленной из каменных сот дорожке. Со скрипом продавилось крыльцо, проскулили дверные петли. Он застыл на веранде и прислушался к доносящимся из глубины дома голосам.

— ...Если полезные деревья сразу сажать, то коровы ростки молодые пожирают, — говорил один голос, басовитый, вроде бы Олега Тихонова по кличке Адмирал.

— Ну и что они делают? Коров истребляют? — с издевкой спросил другой, старческий, принадлежащий хозяину дома Павлу Алексеевичу Вишнякову, попросту — Вишне.

— Коров они истреблять не могут. Корова — священное животное. А поступают так: сначала поле кактусами засаживают, а потом уже полезными деревьями. Растет все попеременно, только колючие кактусы сажены от коров защищают. А после, когда деревья разрастутся и окрепнут, кактусы сами зачахнут в тени. Но тогда уже и коровы ничего сделать не могут: стволы и ветки крепкие, не сожрешь.

Мишке нравился голос Адмирала, от размеренных звуков дыра в животе затягивалась и страх прекращал холодить позвоночник. А вот от крикани Вишнякова нет-нет да и тянуло по хребту.

— Что же это за деревья полезные? — поинтересовался дед Вишня.

— Черт его знает. Эвкалипт, может, какой. Неважно!

— Выходит, и сам не до конца понимаешь, что мелешь. Ну-ну.

— Да не в деревьях же суть! Это мудрость индийская, говорящая, что не надо собственные недостатки корчевать, они все одно переть будут. Самому с собой бороться — лишь энергию тратить. Надо больше добрые качества возвращать — они окрепнут, как те деревья, а кактусы сами повымирают.

— Ага, зять мой тугоплавкий тоже чего-то там возвращает. Учится, понимаешь, на курсах на своих. Только кактусы не убавляются, полная башка этих кактусов. Как подкинет горячительного в топку — девку бьет. Деньги в трубу спускает.

— Отдельными поступками делу не поможешь, — согласился Адмирал. — Тут постоянство требуется. Поэтому и слово такое — «практика». У тебя же на огороде не само все прет. Уход нужен систематический. Практика!



— Вот я и практикую — и ему по башке, и ей... У меня, Адмирал, проще теория: сорняки нужно люто выдергивать, чтоб и мизера не оставалось. Может, твои индусы и мудрые, да здесь эта мудрость не работает. И коров у нас священных нет — обычные телки.

Скрипнула доска на крыльце. Вздрогнув, Мишка обернулся и увидел Марину, дочку Вишнякова. Женщина упирала в бок таз с бельем.

— Ты чего здесь? Белый, как простыня! Давай проходи.

Она протолкала Мишку внутрь. Тихонов с Вишняковым сидели за столом и пили чай. На столе кроме стаканов стоял полный засохших пряников дуршлаг и банка с белыми кольцами сливок на стенках. Там, где сидел дед Вишня, валялись скомканные обертки конфет, похожие на заправленных тараканов. Возле Адмирала фантики не лежали, зато под рукой были какие-то вырезки из газет и толстая книга.

— Чего он у вас на веранде стоит? — спросила Марина и подтолкнула Мишку к столу. — Садись, сейчас тебе горячего налью.

— И нам налей, — быстренько вставил Вишняков и залпом испил остатки.

Мишка опустился на табурет, ладони сунул под зад.

Адмирал Тихонов осмотрел гостя, хохотнул о чем-то своем и вновь обратился к Вишнякову:

— Да все работает. Мы с индусами родственники, по арийской линии.

— Как же! С Гитлером в пятом колене.

— Папа! — возмутилась Марина.

Она подошла к столу и наполнила стаканы из чайника. Мишке подсунула кружку, больше походящую на небольшую вазу. Чай пах ромашкой. И на вкус был ромашковый.

— И предки, и обычаи, и слова — все похожее, — продолжал Адмирал, шевеля пухлыми губами над стаканом. — Про Веды слышал? Веды — это знания. Например, мед-ведь — знающий, где мед, ведающий, где мед. Или, скажем, Тримурти — на что похоже?

— На три мурла! — выпалил Вишняков и прыснул чаем.

— Папа! — опять возмутилась Марина, может, глупой шутке, а может, тому, что скатерть забрызгана.

— Ты правильно говоришь! — восторжествовал Адмирал. — Тримурти — это и есть три мурла. Бог о трех головах, символ Троицы.

Дед Вишня грозно посмотрел на Адмирала и с трудом проглотил чай.

— Ты нашу Троицу с индусскими харями не равняй! — предупредил он, утирая подбородок. — Я из тебя самого три половинки сделаю!

— Тоже мне, блюстителю христианской морали! — отмахнулся Адмирал, не испугавшись угроз, и хлебнул из стакана. — А половин, между прочим, может быть только две. На то они и половинки.

— И откуда ты, Олег Ефремович, все это берешь? — спросила Марина. — В школе, кроме рубанка, ничем не интересовался.



— Так вон откуда! — ткнул Вишняков пальцем в газетные вырезки. — Одни идиоты пишут, а другие читают!

Адмирал укоризненно покачал головой:

— Хотел бы я добавить: «А третьи слушают», но не так все просто. Да и газеты — глупости. А знаю оттого, что дар у меня.

— Уши заговаривать дар? Или пряники жрать?

— Твои пряники — дробилка для зубов. Сам их жри!

Марина подошла к столу, протерла тряпкой клеенку, затем опустила ладошку на плечо Адмирала:

— Да ты не слушай его, вечно он гостям хамит. Расскажи лучше, что за дар.

— Дар многосоставной, — как бы нехотя ответил Тихонов. — Так сразу и не объяснишь. Бывает, чувствую что-то, иногда слышу. Ну а часто — просто знаю.

— Увидел бы Сережка, как его жена руки на других кладет, точно бы дар отшиб! — сказал Вишня.

— Ну вас обоих! — Марина убрала руку и отошла к окну.

— Нашел кем пугать! — хмыкнул Адмирал. — Я этому Сережке еще в пятом классе хвост накручивал. И сейчас все чакры поотшибаю.

— Олег! — Возмущение Марины переключилось на Тихонова. — Молчи лучше, даровитый!

Адмирал ничего не сказал, вынул торчащую из кармана рубахи ручку и написал что-то на краешке газетной вырезки. Даже как будто нарисовал что-то. Исписанный кусок он оторвал и демонстративно убрал в карман. Возникла пауза, и все перевели взгляд на Мишку.

— Ты чего с самого утра шастаешь? — спросил Адмирал. — Мать твоя знает, где ты?

Мишка неопределенно помычал и потянулся за пряником.

— Чего ты его мамкой пугаешь? — спросил дед Вишня. — Ему лет больше, чем тебе, борову!

— Папа, перестань уже! — Марина рассердилась всерьез. — Мишка маленький, просто растет особенно. И не вздумай гадостью какой-нибудь продолжить! Я к тебе вообще приходить перестану, сам будешь стирать и готовить!

— Да ладно, ладно... Сам понимаю: нельзя обижать дурака.

Вновь повисла пауза. Мишка пытался разгрызть окаменевший пряник, размачивал его, наполовину запихав в рот, весь облился чаем.

— Чего бы ты хотела сейчас, Маринка? — ни с того ни с сего спросил Тихонов.

— В каком смысле? — Марина вышла на середину комнаты и замерла, как на выданье. — В каком это смысле, а?

— Ну, может, из еды что-то... — смутно намекнул Адмирал.

— Угостить меня хочешь, что ли?

— Просто подумай и ответь! Чего хочешь?



Марина посмотрела как-то вбок, пожала плечами:

— Ну, если из еды... Может быть, дыню. Давно не ела.

Адмирал резко поднялся, достал из кармана давешний газетный обрывок и с размаху шлепнул ладонью об стол, точно совершая победный ход в домино. Вишня с Мариной вздрогнули. Мишка едва не сломал зубы о пряник, который с поверхности обманчиво размяк, а в сердцевине еще был деревянным.

— Вот, пожалуйста! — Ухмыляясь, Адмирал выдвинул обрывок на середину стола и убрал руку. — Полюбуйтесь!

На бумажке было нарисовано два концентрических овала, а рядом, чтобы не оставалось сомнений, корявыми детскими буквами начертано: «Дыня». Ниже — дата и время.

— Видали?! Дара нет? Видали?

Адмирал ко всем поочередно поворачивал большое раскрасневшееся лицо. Даже Мишке крикнул «видали».

— Это что, ты мысли ее прочитал? — тихо спросил Вишняков.

Марина схватилась за щеки и отступила на пару шагов, словно выходя из круга, на который распространялась тихоновская телепатия.

— Да не прочитал! Я же сначала написал и только потом спросил Маринку... Я внушил ей ответ! Внушил!

Адмирал стоял и улыбался. Волосы взъерошены, клетчатая рубашка расстегнута на три пуговицы, живот выпирает.

— Как это мерзко, Олег! — проговорила Марина и скривилась, будто выпила что-то тошнотворное.

— Почему мерзко? Это удачный эксперимент. Я же не внушил тебе... Ну, например...

— Все, папа, я ухожу! Белье сам погладишь.

Марина выскользнула на веранду. Слышно было, как она переобувается.

— Дыню себе купи! — крикнул Адмирал.

Дверь приоткрылась, появилась голова:

— Сам себе купи, дыру просверли и на хрен надень — по-холостяцки! Все, папа, пока!

Адмирал почесал брюхо и сел обратно на табурет.

— Ты, Кашпировский, не обольщайся, — злорадно сказал ему Вишня. — Совпадение это. Маринка все детство за дынями пробегала. Мания у нее такая: чуть что — сразу дыня.

Тихонов отмахнулся.

— Не имеющих уши убеждать — все равно что дохлого воробья дрессировать, — пробурчал он. — У тебя, Вишня, даже если свинья с выменем уродится, ты скажешь: порода такая. Потемки!

Он повернулся к Мишке и осмотрел его с ног до головы.

— А ты, придурок, что вчера учинил? Тебя Крутиков заколет и не вспомнит.

Мишка не отвечал. Он думал только о том, что дыра в животе закрылась. Без нее спокойно и тепло, как дома у матери. Потом попытался вспомнить растаявший сон. Очень важный был сон. Будто предупреждал о чем-то.

— Что он учинил? — спросил дед.

— Вчера у Васильева все собирались. И этот был, — ткнул Адмирал Мишку. — Разговор про баб зашел, все хвастались, как паскуды последние. Плейбои, блин, палковводцы... Витька молчал, молчал, улыбался и вдруг заговорил. Ему в тюрьму баба одна писала, влюбленная. Он ей что-то строчил со скуки, а там и сам проникся. Она даже на зону приезжала, встречались. Оказалось, что у нее муж где-то есть, но скоро не станет — разведутся.

— И что?

— Что-что? Баба разведется и к Витьке приедет. Ну, или он к ней, не знаю.

— А Мишка при чем?

— Витька фотографию зазнобы всем показывал. А этот, — Адмирал снова толкнул Мишку, — этот карточку порвал сначала, а потом убежал.

Вишня ойкнул и не то с уважением, не то с испугом скосился на дурака.

— И что теперь?

— Теперь он его прибьет, — сказал Адмирал спокойно, как о давно решенном деле. — В землю сам закапывайся, Мишка.

— Крутиков больного не тронет. Не должен, собака.

— Как же, не тронет... Крутиков и сам не шибко-то здоров.

— Зачем порвал? — спросил дед у Мишки.

Тот пожал плечами.

— Дурак — он и есть дурак. — Вишня сложил ладони рупором и крикнул в сторону выхода: — Маринка! Ушла уже? — После четырех секунд тишины ответил сам себе: — Конечно, ушла... Ты, это, Олежка, возьми придурка и к участковому отведи. До греха недалеко.

— Почему я? — Адмирал стал собирать вырезки и складывать в книгу. — Чтоб Витька на меня переключился? Все, Вишня, пора мне!

— Ну конечно! — крикнул Вишняков. — У нас же дар! В штаны наделал, а так — дар! Вали, Конфуций хренов! Философ дынный!

— Пускай он сам идет. Участковый у Мотиных сидит.

Адмирал прижал книгу к животу и, не прощаясь, вышел. Вишня достал из ящика стола конфету и, освободив от фантика, сунул в рот. Запил чаем.

— Знаешь, где Мотины живут? — спросил он, чавкая. — Дом с полосатой трубой. Пес у них лысый какой-то, вихлястый.

Мишка кивнул.



— Дуй туда, к участковому. Только не через улицу, там видно тебя будет. Рощей иди по окраине. Понял? Расскажи все и попроси, чтоб до- мой отвели.

Роща начиналась шагах в тридцати от участка со сгоревшим домом. Она отделяла деревню от шумной речушки, впадающей в Байкал.

В основном здесь произрастали сосны и ели, кое-где — березки. На некоторых участках берега охапками торчал кустарник, будто кто-то насовал меж камней огромные веники. Из травы выскакивали грибы, по большей части сыроежки. Тут и там попадалась одичалая клубника, но ее никто не трогал — кому она нужна, когда каждый второй огород в деревне краснеет сортовой ягодой? Забрели сюда только влюбленные парочки и тайком курящие на берегу мальчишки. Ну и приезжие околачивались.

А Мишка посещал рощу едва ли не ежедневно. Здесь у него находилось много дел. Нужно потрогать каждое большое дерево, ощутить его настроение. Коснешься одного ствола — чувствуешь радостную дрожь, которая передается через ладони, заставляет и тебя радоваться. Дотронешься до гладкой полопавшейся бересты — и внутрь вползает странная, беспричинная тоска. Нужно подойти к Говорящему Оврагу и посмотреть, что лежит на дне. Мишка порой мучился каким-нибудь вопросом, а если ответ не находился, шел к оврагу — и тот всегда давал подсказку, показывая некий предмет. Например, думал Мишка: отчего Матёра третий день грустная и мало говорит? Приходил к оврагу, замечал пустую коньячную бутылку и понимал: Матёра переживает за ушедшего в запой брата. Или спрашивал Мишка: когда в гости приедет веселый дядя Шура? В овраге появлялись дведохлые рыбины — это означало, что дядя Шура приедет через две недели и будет рыбачить. И вправду, приезжал и рыбачил. Овраг всегда говорил правду.

То, что на этот раз лежало в овраге, Мишке не понравилось. Кто-то бросил вниз мешок с мусором. Черный полиэтилен лопнул, и наружу вывалилось содержимое: картофельные очистки, вскрытая консервная банка, упаковки из-под молока, скорлупа, чайные пакетики с коричневыми разводами. Поверх мусора лежало лезвие ножа: видимо, оно выскочило из рукоятки и хозяин решил нож не чинить. Тупая железка, что должна была быть запрятана в рукоятку, хранила на себе черные смолистые следы.

Увидев лезвие, Мишка помертвел. Он смотрел с края оврага вниз и чувствовал, как в животе дергается, точно кто-то изнутри ковыряет дыру. Неужели это ответ Говорящего Оврага? Неужели ответ? Но ведь он ничего не спрашивал.

Лезвие ножа было очень старым. От многолетней заточки оно превратилось в узкую пику. Владелец ножа правильно сделал, что выбросил его. Зачем чинить то, что скоро подломится при резке зачерствевшей буханки? А вот проткнуть человека таким лезвием — самое то.



С берега раздалась голоса. «Иди ко мне, Бармалей! — кричала женщина. — Тропа-то слева!» Обиженный детский голос отвечал: «Я не Бармалей! Ты сама Бармалеиха!»

Мишка обогнул овраг и двинулся по зарослям вдоль деревни. Дома проплывали мимо, как корабли, словно там, за деревьями и кустами, текла еще одна река — большая и тихая. Когда появился дом с полосатой трубой, Мишка остановился. Или это дом причалил, заметив его?

И неожиданно вспомнился утренний сон. Во сне приходила Нютко. Она опять усаживала на колени, брала твердыми пальцами за локоть и говорила: «Плохой человек хочет разлучить нас, Миша. Не попадайся ему, иначе мы больше не встретимся. Никогда! Ты один остался, не хочу расстаться с тобой, как с королевством».

Дверца в ограде со стороны леса оказалась закрыта. Пришлось обойти дом, опасливо оглядеть улицу и только потом добежать до калитки. Собачка, будто бы сшитая из протертого половичка, встретила рычанием. Сообщала: знаю тебя, Мишка, но сторожу полагается быть строгим, уж извини — служба. Она даже пару раз тявкнула, однако на большее ее не хватило — завилыла хвостом, взвизгнула, ткнулась носом в протянутую ладонь.

— Мишка? — высунулась из-за угла дома голова Валентины Мотиной. — Чего тебе? С Айриком поиграть хочешь?

Дурачок, скрестив руки, похлопал себя по плечам — изобразил погоны.

— Похоже, тебя ищет, — сказала Валентина в пространство. — Иди сюда, Мишка.

С задней стороны дома была открытая веранда. На скамейках друг напротив друга сидели Валентина и Буйда. Участковый уполномоченный майор полиции Андрей Сергеевич Буйда. Мишка помнил каждое слово из однажды увиденного удостоверения. На участке вместо формы была спортивная куртка с капюшоном, на голове — бейсболка с изображением прыгающего барса.

Буйда указал Мишке на скамью, а сам продолжал:

— Когда вы в институте учились, она уже с ним таскалась. На четвертом курсе, по-моему, он появился.

— Не было такого, Андрей. Ну не было! Он за ней таскался, а она морду воротила.

— А сейчас не воротит... Ты, это, полегче давай. Морду... Жена моя, не сучка какая.

— Да я так, образно... Ну, ты узнал, где он сейчас?

— Стоматолог в Слюдянке, — брезгливо выдавил Буйда и ладошкой проверил качество бритвы на подбородке. — Я его подлечу! Вместо башки коронку поставлю!

С полминуты они сидели не глядя друг на друга.

— Ну а я? — тихо спросила Валентина. — Тоже, выходит, сучка, раз не жена?

— Перестань. Ты — это ты. У тебя Борька есть.

— Борька!.. Борька, как телеканал, то ловится, то нет. Он на стройке помешался. Каждый год по этажу пристраивает, как будто у нас детей вагон. Ага, пихать детей некуда... К Ирке, по ходу, бегают.

— К Ирке? Не, вряд ли. У Ирки с Серегой шуры-муры.

— С каким Серегой?

— Маринки Вишняковой муж.

— А-а... Так Ирку на многих хватит. Вот кто «не жена»!

Участковый хлопнул себя по бедрам, словно подводя итог разговору, и повернулся к Мишке:

— Ты чего хотел?

Тот мотнул головой в сторону своего дома.

— Он Витьку Крутикова боится, — пояснила Валя. — Вся деревня знает, кроме полиции.

— Да знаю я, — сквозь зубы сказал участковый. — Не до этого пока. Завтра с Крутиковым побеседую.

— Сегодня он Мишку прирежет, а завтра об этом побеседуете.

— Не прирежет. С похмелья отходить будет.

— Когда ему похмелье мешало?

— Чего ты хочешь от меня? — обозлился Буйда. — Мне заявление у Киржакова переписать надо, свидетелей опросить. Маньяк еще какой-то сбежал. Всех на уши подняли. Задержают сейчас... Надо портрет у магазина повесить. И на вокзале. Можно подумать, у нас своих отмороzków нет. Витька тот же...

Участковый с неприязнью скосился на Мишку, затем посмотрел вдаль — туда, где за туманом вздымалась мохнатая гора. За этой горой была и другая, повыше, и третья, сейчас совсем невидная. «Три медведя» — так местные жители называли горы, и медведи там, действительно, водились.

— Однажды Витька в отделение забежал, — хмыкнув, продолжил Буйда. — Я с летехой Синецыным и еще с кем-то сидел. Врывается Витька и кладет на стол гранату. Прикинь — гранату! Орет: «Ложись!» — и сам на пол падает. Мы с испугу — лицом вниз. Потом слышим, хохочет. Граната учебная оказалась. Он ее на огороде откопал, когда яму для туалета рыл. Вот, говорит, пришел сдавать.

— Ну а вы?

— Отмудохать, конечно, хотели, но почему-то... А, вспомнил! Третьим с нами инспектор из Иркутска был. Поэтому бить не стали. Сказали: «Спасибо вам, гражданин Крутиков, за сознательность».

— Вы б ему еще премию выписали.

— Смешно тебе... А у меня то дебилы, то маньяки беглые. Остальные спиваются с геометрической прогрессией.



— Чего тогда со мной лясы точишь? Любовники Машкины поважнее маньяков?

— Все, перестань! Знаю, почему злишься. Знаю, Валька! Ну а что я сделаю?

Он встал, поправил направление козырька у бейсболки, глянул на Мишку.

— Пойдем, юродивый. Провожу.

Мишка уже и вправду хотел поиграть с Айриком, но Буйда не позволил, велел идти за ним. Они миновали заваленный шпалами переулочек (железнодорожник Сухонос воровал списанные шпалы и чуть ли не второй дом уже из них сколачивал), вышли на главную улицу. Из окон, дверей и калиток выглядывали жители (в основном женщины), приветствовали участкового, о чем-то напоминали. Он кивал головой направо-налево: «Здравствуйте... Помню... Разберусь... Да помню, помню...»

Главная улица начиналась как ответвление федеральной трассы «Байкал», пересекала железную дорогу, тянулась через всю деревню. Заканчивалась она тоже Байкалом, у берега озера распадаясь на множество проселочных дорожек. В центре деревни жались друг к другу несколько магазинов, почтовое отделение и здание, что здесь называли клубом. Стоял курортный сезон, и каждый второй дом украшали вывески: «Сдается жилье», «Уютные комнаты», а то и что-нибудь оригинальное: «Вид на море», «Отдых по-деревенски» или даже «Счастье на десяти квадратных метрах».

— Андрюша, подожди! — Бабушка Ойлёна не удовлетворилась кивком участкового и схватила его за рукав. — Да подожди ты, инфекция! Куды разогнался?

— Ну что у вас? — Буйда остановился и постучал пальцем по часам, которых, кстати, не было. — Цигель, цигель!

Ойлёна подозрительно зыркнула на Мишку, подвинулась ближе к участковому и что-то нашептала в ухо.

— С ума сошли? — Буйда отстранился от старухи. — Как я его посажу?

— Да я же говорю... — Ойлёна снова потянула губы к уху полицейского, но тот остановил ее рукой.

— Да понял я, понял! Никто его за такое не посадит, разве что внук твой — на кол. Приходи в участок, Ойлёна, в понедельник утром. Напишешь жалобу, я помогу.

Завидев, что страж порядка беседует с населением, отовсюду потянулись люди. Не успел Буйда отделаться от Ойлёны, как его уже донимал подъехавший на кресле-каталке Ватрушев:

— Андрюха, я тебя предупреждал, что сам в таком случае разберусь? Предупреждал! Не доводи до линчевания, я тебя умоляю! Я закон уважаю.



— Что ты там предупреждал? О чем?

— Не помнишь? Этот староввер поганый корову постоянно по главной улице водит. Везде коровьи фекашки накинаны. А здесь туристы, отдыхающие. Что, у нас коровьи лепешки как символ деревни? На герб тогда, может, их налепить?

Буйда оглядел асфальт:

— Не вижу я что-то навоза твоего.

— Я его предупреждал раза четыре, по-хорошему. Теперь он окраиной ведет, а перед моим домом специально по улице дефилирует. Фекалирует.

— Может, отстанешь — так он и перестанет водить?

— Ага, он назло! Нарочно медленно ведет, чтоб насрала побольше!

Пойдем, покажу!

— погоди, Ватрушев. Не до тебя сейчас.

— Суд Линча... — обреченно сказал инвалид и отъехал в сторону.

На его месте тут же оказалась разгоряченная баба с квитанциями в руке.

— Так, погоди! — Буйда попытался утихомирить бабу, но его окружили кричащие люди.

Из окна магазина высунулась продавщица в сиреновом фартуке, которая делала малопонятные, но настойчивые жесты. В лицо участковому тыкали документами, показывали фотографии на телефонах, записки.

— Молчать! — рявкнул Буйда. — Осатанели совсем? Три шага назад всем!

Народ отступил шага на полтора.

— Чего с ума посходили? Видите: я в штатском. Витьку Крутикова кто видел? — Он осмотрел лица и повторил, прибавив голосу официальности: — Кто видел Виктора Алексеевича Крутикова? Все сразу дар речи потеряли?

Из-за голов несмело поднялась рука.

— Кто там? — спросил Буйда. — Иван... Ну, и где Крутиков?

— У меня дома сидит, — пробасил Иван.

— Ага, а ты уже за пивом намылился!

— А че?.. Мне уже двадцать один есть.

— При чем тут двадцать один? — Участковый махнул рукой. — Насмотрелись фильмов американских... Виктору передай, чтоб на месте хоть полчаса посидел. Я зайду на разговор. — Он подтянул к себе Мишку, которого совсем оттеснили: — Иди домой. Витька далеко, в другой стороне. Не бойся, беги!

Мишка получил напутственный тычок в плечо и помчался вдоль увешанных привлекающими вывесками домов. Отбежав шагов на пятьдесят, остановился и глянул назад. Участковый показывал жителям деревни лист с черно-белой фотографией, а народ вздыхал и покачивал головами.

До дому было недалеко — пять минут ходу. Три минуты, если бегом. Сейчас будет сворот с асфальтовой дороги, восемь дворов по переулку, еще один поворот — и хлипкая избушка Матёры, похожая на сторожевую будку, что стоит у железнодорожного моста, только побольше.

Разгневанная пчела увязалась за Мишкой, и ему снова пришлось бежать. Вдруг запнулся обо что-то и упал, едва не угодив лицом в доски с торчащими гвоздями. Правая кроссовка соскочила с ноги. Мишка сел на землю. Все ясно: на шнурок распутавшийся наступил. Нужно завязать. И не так, как обычно делал, а как Матёра учила. Ушко так, второе вот так... Он поднял взгляд, отыскивая слетевшую кроссовку, и увидел... Крутикова.

Витька шел по переулку, одетый в нелепую красную куртку, чуть покачивался, в руке держал открытую пивную бутылку. Запасная бутылка торчала из кармана брюк.

В этот раз кишки, спина и затылок Мишки похолодели в один миг. Он вскочил на ноги, и тут же его окутал ледяной смерч, закрутил, потащил. Перед глазами мелькнули доски, земля, кучи опилок — все вперемешку со сверкающими ледяными кристаллами. Пропало лето, клубника, Байкал, голубое небо...

«Что будет со мной, что будет со мной, что со мною будет?» — пронеслась в голове какая-то чужая фраза. Придет он завтра к Говорящему Оврагу и увидит самого себя, брошенного в мусорную кучу. Выкинут его тело, как опустошенную консервную банку. Оно и есть банка.

Пришел в себя и ощутил спиной холод. Босая пятка проткнута гвоздем и жутко болит. Глаза и щеки заплаканы. Шнурок опять развязался.

Мишка смутно понял, что сидит в бетонной трубе, проходящей под насыпью железной дороги. И тотчас подтверждение — приближающийся шум состава. Загрохотало так, что глаза ушли внутрь головы. В нос ударило угольной пылью. Обхвативши голову, уткнув лицо в колени, Мишка сидел и ждал, когда промчится поезд. Казалось, теперь так будет всегда — грохот и тряска, грохот и тряска длиною в жизнь. Нет ничего, кроме бетонной трубы и адского состава на путях. Грохот... грохот... грохот... грохот... грохот...

И вдруг все прекратилось. Тишина. Только залетевшие в трубу ошметки сажки кружатся в холодном воздухе. И какой-то человек сидит рядом. Как и Мишка, прижал спину к бетонному изгибу. Человек покрывал длинный синий дождевик, хотя на улице уже три дня было сухо. Рядом стояло пластмассовое ведро. Из ведра пахло маслятами. Там и были маслята.

— Привет! — сказал человек и потрогал свое лицо, словно проверяя — на месте ли.

Лицо было на месте — смуглое, морщинистое, заросшее металлическими опилками.

— Ты здешний?

Мишка кивнул.

— А чего бегаешь?

— Вихрь, — пояснил Мишка. — Дыра внизу, через нее забирается, холодит, портит... Витька проходил... Лезвие в овраге... Страшно.

— Поезда испугался, что ли? — удивился человек. — Так не маленький вроде, а? На железке работаешь — и поездов боишься?

— Я не работаю.

— А кокарда на куртке зачем? А-а, чужая...

Кокарду Мишке подарил веселый дядя Шура.

— Нравится притворяться? — спросил человек и сам же ответил: — Конечно, нравится. — Он кивнул на ведро с маслятами: — Я вон тоже притворяюсь. А как же? Все притворяются. Один только был, который не притворялся.

Человек задрал дождевик, а вместе с ним и рубашку. Показал длинный шрам на животе:

— Вот, это он меня просветил. Было дело, да.

Он пригляделся к Мишке и сделал какие-то свои выводы. Недалеко в деревне залаял пес. Сквозняк занес в трубу запах полыни.

— Хочешь мне что-то показать? — спросил незнакомец.

— Да, как вы догадались?

Мишка вытащил из кармана разорванную на четыре части фотографию и протянул человеку в дождевике. Тот принял обрывки, составил в нужном положении на ладони.

— На мамку твою похожа, говоришь?

— Пальто такое же, только красное.

— Ну да. Такое же. — Незнакомец вернул четвертинки. — Ты порвал, потому что злой на мать?

— Да.

— Правильно, что порвал. Так лучше, спокойнее, правильней. Я тоже все, что сломаю, или порву, или еще что, — только лучше делаю. Иногда разрушить — это хорошо. Ты вот понимаешь, а они — нет. — Человек зачем-то схватил себя пальцами за горло, слегка прижал, смешно вытаращив глаза, потом улыбнулся Мишке: — Хочешь, и тебе помогу? Я могу!

Дурак пожал плечами.

— От тебя ничего не требуется, кроме согласия. Сам все сделаю. Хочешь?

Мишка вновь пожал плечами — совсем неуверенно.

— Соглашайся! Вижу, в голове у тебя беспорядок. Я сделаю кое-что — и все на место встанет. Только по доброй воле надо, иначе не выйдет.

Он запустил руку в ведро и вынул ножик, наполовину замотанный синей изолентой.

— Ну что? Согласен?

Мишка улыбнулся и кивнул.

Человек в дождевике привстал на одно колено, вытянул руку и без замаха ткнул лезвием в живот. В паху у Мишки потеплело, голову окутал душистый пар — как во время ингаляций, что заставляла делать Матёра. И страшно не было, наоборот, спокойнее стало.

Незнакомец ткнул снова, чуть повыше.

— Понимаешь, иногда в человеке слишком много жизни, — пояснил он. — Ну как двое или трое лежат под одним одеялом и не могут его поделить. Перетягивают, и все мерзнут. Понимаешь? А отнимешь эту лишнюю жизнь — и видишь, как человеку сразу хорошо делается, тепло. Я много раз видел... Давай, еще раз. Все на место встанет.

От третьего проникновения лезвия Мишку качнуло, и он повалился набок. Он лежал и улыбался, глядя, как по бетону растекается красная лужа. Красная лужа. Красная...

В дверь колотили настойчиво. Даже по звуку стало ясно: какая-то пьянь желает ввалиться в дом.

— Чего долбишься? — крикнула Матёра и открыла.

За порогом стоял Витька Крутиков, сипел, как носорог, раскачивался. В руке у него была кроссовка — белая кроссовка с Мишкиной ноги.

— Ты че наделал, кровопийца? — прошептала Матёра.

— Че наделал? — зло повторил Витька. — Это твой полудурок что творит? Он мне память порвал!

— Иди проспись сначала! Может, память и вернется, вместе с совестью.

— Где он? Куда бегаёт?

— Нет его дома. Ночью не было.

Витька с размаху запустил обувкой, сам чуть не упал. Кроссовка пролетела над плечом Матёры, сбила стоящие на полу банки.

— Знаю, что нет! Где он прячется? Бегаёт куда? Убежал с одной ногой.

— Чтоб ты его зашиб? Знаю я тебя!

— Память заберу и не трону, клянусь!

— Какую еще память? Что несешь-то?

— А может, и любовь, посмотрим... Ну! Где он?

— Да не знаю я! — крикнула Матёра и захлопнула дверь.

Витька качнулся, едва не повалился с крыльца. Вернулся в переулочек и стал отыскивать оброненную бутылку пива. Нет нигде, только пустая. Вдруг возле досок с гвоздями увидел кровавый след. Мишка... Мишка бежал. След тянулся по переулку и исчезал в полынных зарослях у железной дороги.

А вот и пиво! Витька подобрал бутылку, скрутил двумя пальцами крышечку, с удовольствием приложился к горлышку, выпил почти половину, рыгнул.



— Ну, полудурок, держись!

Сжимая бутылку в руке, он пошел по следу. По шею забрел в полынь, тропу потерял. Да и была ли здесь тропа? Самому бы ноги не переломать в этих зарослях. А этот, с босой ногой... Дураков Бог бережет. Блаженные они, особенные.

Витька остановился, увидев бетонную трубу под насыпью. Подошел, пригнулся. И обомлел.

В трубе, скрючившись, лежал Мишка. В кровавой луже плавали грибы, валялось пластмассовое ведро, а дальше, по ту сторону трубы, в лес убегало что-то странное — какой-то синий призрак. Витька забрался внутрь и склонился над Мишкой. Дурачок еще улыбался.

— Фотография у тебя? — сипло спросил Витька. — У тебя? Хорошо. Потерпи чуток, сейчас помогу. Скоро.

Он разбил бутылку о бетон и, сжимая «розочку» в кулаке, бросился за синим призраком.

...«Нива» остановилась, не проехав и полсотни метров. Бачманов вгляделся в окно со стороны пассажирского сиденья, заглушил двигатель и вышел из автомобиля.

Мишка стоял около обгоревшего дома, сам напоминая обугленный столб, — высокий, одетый в черную куртку. Бачманов подошел.

— Привет!

— Привет, Костя.

— Что делаешь?

— А ты не видишь?

Мишка записывал в блокнот телефонный номер с баннера: «Продается участок».

— Купить хочешь?

— Хочу.

— Дом будешь строить?

— Буду.

— Из чего строить?

— Не знаю пока. Может, шпалы у Сухоноса куплю. Сначала с землей решить надо.

— Шпалы — это хорошо. Шпалы — это на века. А на что покупать?

Мишка убрал блокнот и хмуро посмотрел на эмчезника:

— Тебе какая разница? Деньги чужие любишь считать?

— Люблю, — признался Бачманов и расплылся в улыбке. — Интересно просто. Ты, говорят, в наследство вступил. Так?

— Ну так.

— А это... Дееспособным тебя признали?

— Признали.

— И психиатр тоже?



— Слушай, Бачманов, что ты хочешь?

— Да интересно. Это у тебя после... после ранения того? Умным стал после этого?

— Получается, что так.

— А почему? Как это вышло? Не понимаю. В больнице что сказали?

Мишка повел плечами:

— Никто не понимает. Этот один только знал... маньяк.

— У него не спросишь теперь. Крутиков его того...

Бачманов перемялся с ноги на ногу.

— Подвезти тебя? Садись, подвезу.

— Да не нужно, Костя. Спасибо.

Когда «нива» скрылась, Мишка еще раз осмотрел участок. Удивительно, почему за все эти годы его никто не купил? Отличное место. Если дом двухэтажный построить, так сверху будет видно и Байкал, и речку за рощей. Отдыхающие с руками оторвут... Подвох, может, какой юридический? Ладно, разберемся.

Он пошел домой по окраине, через рощу. Теперь все деревья молчали, просто росли. Все потеряло разум, сделалось бессмысленным. И овраг перестал быть Говорящим Оврагом — обычная яма с кучей мусора. Надо будет закопать его. А лучше мусор сначала выгрести. Много чего сделать надо. Много чего.

Пока шел, пытался вспомнить сегодняшний сон. Так и не вспомнил... А важный был сон. Важный.

Будителянин

Если судить по фотографиям в семейном альбоме, предки К. все как один были интеллигентами. С пожелтевших карточек смотрели: родители — оба сельские учителя, одетые строго и опрятно; дед с бабушкой, сфотографированные в своей библиотеке (неизменный задник из пухлых томов); дяди и тети — кто за письменным столом, кто за кафедрой, кто в лаборатории. Был даже снимок младшего брата дедушки (мать говорила, таких принято называть «старый мальчик»), где родственник стоял едва ли не в обнимку с Курчатовым. Еще один неизвестный предок был облачен в рясу и скуфью — не интеллигент, конечно, но и обычным человеком не назовешь.

Разглядывая альбом, К. всегда испытывал легкое уныние. Иногда — тревогу. Ему чудилось, будто у него внутри шевелятся «интеллигентские гены» — пробуждаются, намереваясь и его посадить за письменный стол или превратить в ученого. Частички голубой крови содержались в организме, как бактерии туберкулеза. Полностью их не искоренишь, но можно сдерживать, контролировать, чтобы зараза не множилась. Собственно, для этого К. и пересматривал старые фотографии — чтобы не забывать,

в кого со временем может превратиться. Курильщикам и алкоголикам ведь показывают снимки запущенных больных.

Становиться интеллигентом К. не планировал; ему претила даже мысль, что он станет носить очки и шляпу, разговаривать чеховским языком и рыться в книгах. Все это казалось разновидностью деградации. Чтоб обезопасить себя от интеллигентской угрозы, К. поступил в колледж и выучился на автомеханика. Окончил кое-как, на тройки. Любые проявления творчества и тягу к знаниям глушил пивом, марихуаной и голливудским кино. Не читал ничего, кроме надписей на стенах подъезда и газеты «Советский спорт», где его интересовали статьи о футболе.

В девятнадцать лет в его жизни появилась постоянная подруга Варя, которая через полтора года сделалась женой. Родилась дочка с непролетарским именем Сюзанна. Жизнь потекла размеренно и просто. Все как он хотел.

И вот однажды, когда К. подзабыл и про семейный фотоальбом, и про «интеллигентский туберкулез», вирус прорвался наружи, причем из самого, казалось бы, безопасного источника — от Ромки Козакова, напарника по автомастерской.

Ромка носил спортивный костюм, в котором меньше всего походил на спортсмена, всегда коротко стригся, не стеснялся бугров и шрамов на голове, и сплевывал после каждого произнесенного предложения — будто точку или восклицательный знак ставил.

— Вчера с Бурым абсент пили, — доложил Ромка, вытирая ладони тряпкой. — Чувствую себя, точно подвергся Загадочному Ожесточенному Воздействию — ну, как в том фильме у Гринуэя. Хочется летать, а приходится под машинами ползать.

Он только что вылез из-под автомобиля, и на страдальческом похмельном лице блестело машинное масло.

— В каком фильме? — не понял К.

Он даже фамилии такой не слышал — Гринуэй.

— Ну, «Падения». Это псевдодокументалистика, про людей, якобы подвергшихся Загадочному Ожесточенному Воздействию. Они мутантами стали, заговорили на инопланетных языках и прочее... — Ромка сплюнул на бетонный пол. — Не смотрел, что ли?

К. немного удивился, но особого значения словам напарника не придал. В конце концов, абсент и правда действует странно. Особенно если с папиросами, которые Ромка вечно курит.

Однако разговоры становились необычнее день ото дня. Ромка упоминал Верди и Кандинского, повествовал про малоизвестного кубинского поэта Гастона Бакеро и художника Чюрлениса — автора картины «Соната моря». Ромка умудрялся сплетать истории о пьянках со стихами испанских мистиков, а байки о своих любовных похождениях украшал посылками бусидо.

Встревоженный поведением товарища, К. обратился к мойщику Геннадьичу — суровому мужику пятидесяти лет с медным от никотина лицом и словно из того же набора ладонями.

— Не кажется тебе, Геннадьич, что Ромка странным стал? Книжки всякие читает, журналы толстые. Он будто не в сервисе работает, а в университете преподает.

Геннадьич впал в недолгое раздумье — рот серпом, чугунный подбородок, усы как два ятагана.

— Человек всегда на своем месте, — ответил он наконец. — Просто иногда ему кажется, что он хочет другого. Вот Салман Рушди сказал однажды Кроненбергу: «Я, Дэвид, всегда хотел фильмы, как и ты, снимать». А Кроненберг, сучар канадский, удивляется: «Надо же, а я мечтал писателем сделаться!»

— Какой шалман?

От неожиданности К. совсем растерялся.

— Салман Рушди. Букер Букеров. «Шайтанские аяты»... — пояснил Геннадьич, пронзая К. недоуменным взглядом. — Не читал? Может, и Кроненберга не смотрел?

Несколько дней К. ходил на работу как с полиэтиленовым пакетом на голове. Общался мало, все больше по делу. Ему казалось, что наваждение пройдет, если не обращать внимания на странности.

Однако странности не прекращались. Ситуация обострилась однажды вечером, когда в дверь квартиры постучали. Варя и Сюзанна находились на кухне — что-то там жарили и смеялись. К. поднялся с дивана и отпер дверь. На пороге стоял вдрызг пьяный Ромка. Карман на его куртке был оторван, материя свисала изнанкой наружу.

— Ты чего? — удивился К. — Где так налился?

Он отступил на шаг, но Ромка заходить отказался, поманил в темный подъезд. Они присели в закутке у мусоропровода и закурили.

— Станным ты стал, Ромка, — сказал К. — Прямо не узнаю тебя. Случилось что-то?

Напарник повернул к нему хмельное лицо.

— Я ведь раньше ничем таким не интересовался, — покаялся он. — Пока тебя не встретил.

— При чем тут я?

— Сам не знаю. Какие-то флюиды от тебя исходят — эманации, как сказали бы теософы. Поработаю с тобой в смену — и внутри что-то шкварчит, пробивается. Вот и сейчас...

Он затынулся так сильно, что красный огонек на сигарете сделался продолговатым.

— Что сейчас?

— Чувствую, душу во мне будто вскапывают.

— Кто вскапывает?

— Да ты, ты! — Ромка бросил окурок в мусоропровод, с лязгом закрыл люк и вдруг заговорил высоким штилем: — Иногда испытываешь

неприязнь к слишком правильному и честному персонажу кинофильма. Так и меня начинает воротить от собственной жизни — спокойной и бессмысленной. Моя жизнь — постное блюдо! Ой как хочется каждую секундочку солью заправить! И даже не солью — перцем пополам с порошком! Горлодером на крови!

Это прозвучало как цитата — эдакая смесь Шекспира и Шукшина, но К. понял: Ромка говорит сам и от души. Что-то клоочет у него внутри, будоражит, мешает спокойно жить. И винит в этом напарник его, К.

На следующий день Ромка на работе не появился — отзвонился в обед, сказал, что заболел. А вечером загромыхал телефон. К. снял трубку и услышал бодрый голос.

— Я понял все! — кричал Ромка воодушевленно. — Ты будитлянин!
— Кто?

— Русские футуристы Хлебников и Маяковский так называли себе подобных. Только они говорили: будетляне. Через «е», от слова «будет». А я этот термин видоизменил, втокнул в него новый смысл. Я произношу: будитляне, через «и». От глагола «будить». Вот ты, К., и есть будитлянин: ты пробуждаешь людей духовно и нравственно, выводилшь из спячки.

К. опустил трубку на рычаг. Что за бред? При чем тут он? Как может ничем не интересующийся человек у других пробуждать тягу к знаниям? Не говоря уже о духовности.

Утром К. сам позвонил в автомастерскую и сообщил, что заболел. Он решил провести хоть один день вдали от безумных коллег. Побывать с женой и дочкой — что может быть полезней для разгоряченного ума?

День прошел прекрасно. Варя начала делать заготовки на зиму. Закатывали овощи в банки, шутили, смеялись. Жена напевала: «Я режу, режу морскую капусту», хотя капусту резала обыкновенную. Сюзанну это жутко веселило, она покатывалась со смеху. Девочка пока ничего не говорила, хотя педиатр еще год назад уверял, что это вот-вот произойдет. Впервые за несколько лет они наделали пельменей. А за ужином, когда дочка уже спала, распили с женой бутылочку перцовки — «малютку», как они ласково называли емкости в двести пятьдесят грамм.

В постели перед сном Варя сказала:

— Какое счастье, что ты у меня есть! Ты — моя приснившаяся змея!
— Что это значит? — насторожился К.

— По-моему, это из веданты, — объяснила Варя. — Парадокс заключается в том, что змея, укусившая во сне, может пробудить человека, хотя сама, по сути, нереальна. Так же и в мае может найтись что-то иллюзорное, что разбудит человека, приведет его к просветлению.

И это говорила жена — ничем, кроме кулинарии и вязания, не увлекающаяся! Варя, у которой чередовалась подписка журналов: год — «Работница», год — «Крестьянка». К. ощутил, как земля (а точнее, кровать)



уходит из-под него, а вокруг закручивается невидимая спираль — удавы кольца или что похуже.

«Приснившаяся змея... — повторил он про себя. — Хм. А образ-то красивый!»

Следующий день он решил побыть в одиночестве, занимаясь накопившимися делами. Однако везде, куда бы он ни сунулся, его подстерегали сюрпризы.

Женщина в киоске «Союзпечати» посоветовала взять «Литературную газету» вместо «Советского спорта».

— Там интервью с Кшиштофом Занусси, — обосновала она. — Недурно, можете мне поверить! Сама трижды читала.

Озарение накатило и на ремонтника в обувной мастерской.

— Вы думаете, молодой человек, будто я от скудоумия ваши кроссовки чиню? — спросил он. — Увы, мало кто понимает, что профессия обувщика более всего располагает к размышлению. Недаром Яков Бёме — тот, кого Гегель назвал первым немецким философом, — постукивал молоточком, когда сочинял эзотерические трактаты. Да, он был сапожником, молодой человек! И Сократ чинил сандалии или что там они носили у себя в Элладе.

Старичок кондуктор в трамвае заговорщицки подмигнул, точно их с К. объединяла некая тайна. Выходя из вагона, К. даже осмотрел билет — нет ли на нем масонской символики или секретного шифра? Два ноля на номере слились в горизонтальную восьмерку — символ бесконечности. Может, это и есть знак? Свидетельство того, что мир вокруг преисполнился высшим смыслом.

Дома за ужином К. с опаской поглядывал на Сюзанну. Не подверглась ли пробуждению собственная дочь? Но нет, двухлетний ребенок неумело орудовал ложкой, как веслом, и шипел что-то свое.

«Слава богу, — подумал К., — есть хоть какая-то опора в мире, и эта опора — дети, которые пока не разговаривают».

А на завтра К. ушел в ретрит*. Он заперся в комнате, объявив жене через дверь, что отныне будет выходить только за едой и в туалет. И в такие моменты ему нельзя докучать вопросами. Он сказал, что в дом запрещено приводить посторонних людей. И вообще нужно оставить его в покое на неопределенное время.

К. уединился не с целью просветления. Он решил избавить человечество от своего влияния. Иначе гибель. Что станет с миром, где каждый читает Кафку и смотрит Гринуэя? Некому будет работать в автомастерской. Не о ком будет писать в «Советском спорте» и в «Крестьянке». Толпы интеллигенции — это не только излишне, но и губительно. Интеллигенты и интеллектуалы вымрут без подавляющего большинства рядовых граждан. Недаром же Платон изгонял из своего идеального государства поэтов и...

* Ретрит — удаление от общества, уединение.



К. схватился за голову: откуда он это знает? Какой Платон? Что еще за Кафка? Он прошелся от окна к дверям и обратно. Теперь, в одиночестве, он ясно ощутил, что заряжен некоей силой, действующей помимо его желания. Это и есть подарок предков. Столетиями сила копилась и множилась, пока на нем не достигла критической массы. Вот что произошло! Крупицы активных изотопов уже сложились, и ядерную реакцию не остановить.

В дверь постучали.

— К., открой! — попросила Варя. — Моя мама приехала, Кристина Анатольевна. Хочет с тобой поговорить.

— Ни в коем случае! — взмолился К. — Не приводи ко мне новых людей!

— Что значит «новых»? — обиделась Варя.

— Никого не приводи!

— Тебе придется с ней поговорить! Она сюда сорок минут на трамвае ехала, с пересадкой.

— На трамвае? — переспросил К. и вспомнил вчерашнего кондуктора.

Что-то знал этот старик, но ничего не говорил, лишь загадочно улыбался. К. выскочил из комнаты, пронесся мимо жены и изумленной тещи. Он прибежал к трамвайной остановке, уселся на скамью и стал вглядываться в подъезжающие и отходящие вагоны.

«Удивительно, все кондукторы такие разные, — думал он. — Грузные женщины, девчонки — едва ли не школьницы, мужики с военной выправкой, суетливые старушки. Ни один не похож на другого».

Только после часа наблюдений К. увидел знакомую фигуру и прыгнул в вагон. Для начала он, как положено, сел и взглянул в окно. Трамвай двигался по четвертому маршруту. К. часто добирался на нем до работы, однако сейчас ехал в противоположном направлении, куда-то в промзону. Падал первый снег, укрывая белым осеннюю грязь, опускаясь на желтые листья.

— Снова вы! — заметил подошедший кондуктор. — Обычно в другую сторону ездите. А тут уже дважды... Работу поменяли?

— Я вас искал, — признался К. и почувствовал себя неловко.

— Чем могу?

Старичок принял плату, протянул сдачу и билет.

— Даже не знаю, с чего начать... Ничего необычного не ощущали рядом со мной? Знаков не замечали?.. Извините, я не сумасшедший. Просто вы так подмигнули в прошлый раз. Я подумал...

— Да вы не тушуйтесь, — успокоил старичок и присел рядом.

Его седые усы очень гармонировали с серебристой бляхой «Гортрамвай» на жилете.

— Знаки — они же везде, а в трамвае особенно. По трамваям можно будущее предсказывать, получше, знаете ли, чем астрологические прогнозы будет. А вы просто не на то смотрели.

— Я на восьмерку из двух нолей смотрел, — сказал К. — А на что надо было?

— Ноли ничего не значат, это обычный дефект. Последние две цифры — вот настоящий знак, послание Вселенной.

К. вынул из кармана билет.

— Двенадцать? — удивился он.

Именно единицей и двойкой заканчивался номер на билете.

— Что же это за послание?

— Ну как, двенадцать — сакральное число. Это количество людей, которых может пробудить один человек. Самое, так сказать, оптимальное число, заложенное природой, гармоничная система. Не зря же платоновская модель Вселенной была додекаэдром.

К. с интересом заглянул в стариковские глаза. Голубые зрачки словно плавали в мелких лужицах, раскачивались.

— То есть я пробужу двенадцать — и все закончится?

— Конечно. Всегда так было. Двенадцать олимпийских богов, двенадцать месяцев, двенадцать присяжных, двенадцать нидан, образующих круговорот сансары... Все видят эту закономерность, да никто не обращает внимания. У преподобного Сергия Радонежского было двенадцать общинников, а если кто-то уходил, ему тут же находилась замена. Историки пишут, что Сергей набирал учеников по количеству апостолов, но ведь такое утверждение — кощунство! Преподобный Сергий был очень скромн и смирен, разве мог он таким образом подражать Иисусу? Даже думать об этом нелепо! Как вы себе это представляете? «Товарищи монахи, сегодня из общины в мир удался Иосиф. Нужна замена, какие будут предложения?» Или: «Ты, Никифор, конечно, праведный человек, почти святой, но у меня все укомплектовано — двенадцать, как у Христа».

Старичок сам же и посмеялся над этой фантазией, а потом вздохнул, будто мир его смертельно утомил.

Трамвай остановился, и в салон зашли четверо работяг.

— Ну все, мне пора, — сказал кондуктор и поспешил обилечивать пассажиров.

«Двенадцать», — проговорил про себя К. и начал подсчитывать: Варя, Геннадьич, Ромка Козаков, сапожник-философ, Варина подружка Настя, на детской площадке составляющая мандалу из песка и стеклышек... Он насчитал одиннадцать человек, и больше никто в голову не приходил. Разве что соседка с первого этажа, неожиданно принявшая обет молчания. Хотя она, скорее всего, просто сумасшедшая. У нее и раньше закидоны случались.

К. сошел на незнакомой остановке возле пожарной части. Он пересек рельсы и сел на трамвай в обратную сторону. В вагоне было полно замученных людей. К., как и все, угрюмо уставился в окно, но мысли его одолевали особенные, не как у всех.

«Слава богу, скоро все прекратится, — думал он. — С двенадцатью пробудившимися уж как-нибудь справлюсь. Дюжина гармонична — это гораздо лучше, чем просветленный мир с обычным автослесарем в центре Вселенной... Но кто станет этим двенадцатым? С кем я еще не общался?.. Да какая, собственно, разница? Пускай это будет теща. Приду домой — осчастливлю Кристину Анатольевну, и делу конец!»

Дверь квартиры отворила Варя. Вид у жены был радостный, ей явно не терпелось поделиться новостью.

— А где твоя мама? — спросил К., оглядывая из прихожей комнаты.

— Мама уехала. Сказала, что ты странный. Обиделась, кажется...

Представляешь, Сюзанна наконец заговорила!

— Ого! И что сказала? Мама?

— Нет! Сидела на полу и вдруг сказала: «Папа».

— Папа?

— Я ей показывала старые фотографии из твоего альбома, а она говорит: «Папа». А потом еще: «Папа выскочил. А то сидел как Пифагор».

— А потом?

— Какое «потом»? Больше ничего. Что ты хочешь от ребенка? Это же ее первые слова! Раздевайся уже, ужинать будем. Я и «малюточку» взяла — отпраздновать.



Наталья АХПАШЕВА

ЗАСТИРАНЫЙ НЕБА ДЕНИМ

* * *

Багульник, солодка, ромашки цветки...
Горек целебный отвар.
Промокли насквозь носовые платки.
В горле першит. И жар.
Гудящую голову не подниму.
Кто-то знакомый такой,
не узнан, по влажному лбу моему
мягкой провел рукой.
В оконце застиранный неба деним
гаснет. Блаженство — опять
свернуться калачиком под шерстяным
пледом и засыпать.

* * *

Безбрежен синевы разлив.
Оранжева рассвета цедра.
Крыл парусину накренив,
он соскользнул по гребню ветра,
влекомый тяжестью своей,
и над волнами распластался.
Но никого в Гондване всей
нет, чтоб утрами восторгался
огромным диском золотым,
неумолимо восходящим
над океаном молодым,
и птицеящером парящим.

* * *

Содрогнулась-покачнулась твердь небес.
Будто громом пораженная стою.
Сны сбывись, и ты вернулса, как воскрес,
на бедовую головушку мою.

«Ждешь, скучаешь ли, хорошая?» — спросил.
«Не серчай, встречай, пригожая!» — сказал.
Обернулась, и в ответ достало сил
снова глянуть в эти синие глаза.
Прежде думалось, что без тебя — умру.
В небе звезды, в огороде лебеда.
Май звенел, когда однажды поутру
ты ушел. С тех пор все наши навсегда
ночи порознь, а пути-дороги врозь.
Долго застило слезами день и даль.
Как мне после выживалось и жилось,
не твоя уже забота и печаль!
Полно жаловаться, яхонтовый мой,
мол, судьба нас разлучила-развела.
Улыбаюсь, всей безоблачной душой
не желая ни добра тебе, ни зла.

* * *

Наказанной скучно стоять в углу,
носом курносим шмыгать.
Сейчас возьму насовсем умру!
Не буду ни бегать, ни прыгать.
В новеньком гробике буду лежать —
нарядная, неживая.
Будут вокруг все горько рыдать,
жестокость свою проклиная!
Миленький боженька, почему
люди злые такие?
Когда умру, навсегда улечу
на небеса голубые.
Буду сверху на всех глядеть —
как без меня им плохо,
и немножко, наверно, жалеть,
украдкой вздыхать и охать.
Кто-то со дна далекого дня
в небо глянет с тоской...
Миленький боженька, может, меня
ты снова отпустишь домой?

* * *

Что-то белое и пушистое —
так и хочется приласкать —
появилось и скрылось, быстрое.
Скрылось и появилось опять.
И с настойчивым удивлением,

беспокоящим, как нарыв,
по касательной, прикосновением,
осязанием — вдруг обрыв
навсегда в никуда опасное,
поджидающее в ночи,
где пощады просить напрасно и
не спасешься, хоть закричишь?!
Отстраняясь и снова искоса,
распахнув любопытство глаз, —
что там ложно и что там истинно,
не в насмешку и не напоказ?
Не обидят ли? Не посмеют ли?
За вопросом спешит вопрос.
Не прогонят ли? Пожалуют ли?
Поцелуют в курносый нос?
А навстречу, как отражение,
соблазнившись на запах и звук,
перебежками, приближение
недоверчивое — а вдруг?..

* * *

Будто незримая дверь отворилась,
раскрылась небесная твердь.
Мама приснилась, как отпросилась
из рая — на нас посмотреть.
Сильно соскучилась и захотела
обнять и укрыть от невзгод.
Будто на лодочке — облачке белом,
меж звездочек ясных плывет.
Здравствуй, родная! Такая живая...
Смотри — я не плачу, нет.
На подоконник, окно проникая,
стекает серебряный свет.
Мягким повеяло вдруг ароматом,
прохладой нездешних полей.
Вспомнилось, как склонялась когда-то
над детской кроваткой моей.
Звездочки следом за лодочкой дивной
вспорхнули, смеясь на лету.
Чувствую, что улыбаюсь счастливо,
глаза распахнув в темноту.
Мимо, поскрипывая, осторожный,
крадется предутренний час.
С белого облачка видно, должно быть,
что все хорошо у нас.

Янис ГРАНТС

В ОЖИДАНИИ ЛУЧШИХ ДНЕЙ

Р а с с к а з ы

Моль

Сорок. Неделю назад ему исполнилось сорок.

На Славика из зеркала смотрела какая-то набальзамированная мумия с жирным отблеском кожи, хотя «мумия» и «жирный», казалось бы, несовместимые характеристики для одного и того же лица. Ему исполнилось сорок, но так выглядят в пятьдесят: красные молнии на мутных белках, лишайники, наросты и пятна по щекам и скулам, три рытвины, переехавшие лоб параллельно небу и земле. Впрочем, так выглядят и в тридцать: никаких стрел, окруживших углы глаз, никаких подбородков, нависающих грозowymi тучами над ключицами, белокаменные зубы за сомкнутыми губами. Славик стоял перед зеркалом со спутанными, как волосы утопленника, мыслями. Что же до волос самого Славика, то их не было. Конечно, кое-какие волосы на нем росли, но он несколько лет назад купил машинку и сбрасывал их каждый третий день.

У Славика ничего не болело, он обладал отменным аппетитом, мог пробежать полумарафон и не стеснялся своего тела, когда случался пляжный сезон. С другой стороны, какая-то безоглядная сила и в руках, и в голове к сорока годам покинула его, будто кто-то невидимый прибил его крылья прямо к вате облаков и он летел с ними заодно, а не сам по себе.

Да, Славик был деятелен, но неподвижен, изрядно работал извилинами, но все его откровения оказывались давно заасфальтированными дорогами, он мечтал о себе и других, но мечты в сорок лет не имеют смысла, если ты не собираешься взяться за их воплощение. А Славик — не собирался. Зато уже месяц (или более того) он собирался бороться с молью.

Времени у него был целый вагон, ведь он не маялся в офисе с девяти до шести, а состоял на бирже труда. Дни биржи таяли, скоро Славик перестанут оплачивать его безделье и отправят на переподготовку. Он зачем-то придумал, что ему предложат выучиться на охотника в ближайшем лесничестве, однако представлял не осинник, перемешанный с

елью и березой, а неизмеримое плоскогорье Латинской Америки. Непременными атрибутами этой иллюзии были: шкура пумы, распяленная меж четырьмя сторонами света, чужестранный олень, сотканный из легкого тумана, и так, по мелочам — ружье, костер, ковбойские штаны с кожаными вставками понятно где.

Славик не хотел работать. Не только в охотхозяйстве (откуда он это взял?), но и вообще. А что предпринять, не знал. Иногда ему казалось, что он пахнет зверем, иногда — что невообразимыми кактусами плоскогорья, а иногда... Впрочем, самое время переходить к моли.

На безжизненной, как Луна, поверхности квартиры матери (разве что сама мать была исключением из этой безжизненности) завелась крылатая тварь. Мать заметила ее, когда завтракала, и сразу сфокусировала все свои линзы на не очень-то изящном и мелодичном полете маленькой бабочки. Матери было семьдесят. Она носила две седые косы, напоминавшие змей, завернутых в клубок на затылке. А в профиль выглядела как индеец-старейшина из племени навахо, потому что в центре картины помещался нос с завидным горбом посередине, окруженный пепельными бороздами морщин, словно по овалу ее лица прошли землешагцы.

Она любила Славика прежде всего за то, что он не реализовал ни одной из материнских надежд. (Да, да, пусть говорят, что мать любит сына по крови своей, но ведь им на двоих исполнилось уже больше ста лет, и можно раскрасить бесцветное чувство всеохватной любви несколькими незатейливыми штрихами.) Он не стал тем, кем был рожден — человеком с высшими возможностями, выразителем чаяний и мыслей страны окаменелого плача. Словом, Славик получился заурядным. Нет, он не нес в жизнь матери ненастья и горести, но и не опалял ее дни жарким ветром сражений со вселенской несправедливостью. Мать любила сына за упущенные возможности. (Он, конечно, не нуждался в этой жалости.) Она, на самом деле, радовалась, что все так и случилось. (Он, конечно, думал, что главное в его жизни еще впереди; впрочем, он не думал об этом вообще.)

Мать заметила моль, когда завтракала. Она пришла в движение (мать, а не моль — эта и так порхала), однако за время отодвигания кружки с чаем, подъема со стула и прибытия к месту, где только что засветилась цель, бабочка успела испариться. Мать передвигалась легко, но это была легкость семидесятилетнего человека, несравнимая с крыльями мотылька.

Славик ежедневно приходил к ней и всегда подтверждал желание вступить в бой с врагом на равных, тем не менее дело откладывалось. Мать самостоятельно перебрала содержимое шкафов и кладовки и не нашла гнездо насекомого. Славик знал, что зрение матери приблизительное, что в поисках и ловле надо участвовать самому, но тянул. Это выходило совсем не специально, а по обстоятельствам. Один раз он так объелся материнского борща, что мог лишь лежать на диване и зычно рыгать.



Другой раз он ненароком включил телевизор да так и остался перед экраном до конца волейбольного матча. На третий раз у матери сидела соседка — не станешь же выворачивать наизнанку свою жизнь перед чужим человеком? В четвертый раз выяснилось, что надо купить таблетки от моли (или это порошок — Славик не знал). Был и пятый раз, и шестой, и последующие.

Когда он пришел к матери с пластинами в кармане (товар нашелся в первом же хозяйственном магазине), полный решимости покончить с проблемой раз и навсегда, то в квартире погас свет. Славик выглянул на улицу и обнаружил, что света нет и в окрестных домах, будто кто-то спугнул его, как стаю птиц. Зато без электрического брюзжания вечернее небо казалось прочным, словно бутылочное стекло, и синим, как лоб парализованного в реанимации.

Вчера Славик, едва раздевшись, приступил к работе. Он распахнул дверь кладовки да так и замер: навстречу ему ринулась целая эскадрилья мотыльков — рыжая, точно почва аргентинского плоскогорья, слепящая, будто приливающая к зрачкам кровь, несметная и беспощадная. Славик зажмурил глаза и захлопнул дверь кладовки. Его охватила ненависть к обособленности собственной жизни, к матери, моли, Аргентине, к синему парализованному небу, ко всему живому, органическому и вечному.

Он сказал, что придет завтра, поскольку возникли обстоятельства. Мать, привыкшая к переменам настроения у сына, ничего лишнего не спрашивала. Они сели пить чай, молча выпили его, и Славик ушел.

Сегодня он стоял перед зеркалом и рассматривал свое сорокалетнее лицо. Он собирался идти к матери, чтобы покончить с расплывшейся молью, и одновременно знал, что никуда ни за что не пойдет.

Сын

У Славика был маленький сын. Жаль, что только в единственном числе. Эх, верни сейчас молодость, Славик бы плодился и плодился на славу. Но ведь ничто не мешает заняться этим и сейчас или, скажем, завтра. Однако сорокалетний Славик считал, что думать о детях в его возрасте преступно. Почему — он не знал. Вообще-то знал, да его объяснения были бы путанными, туманными и заняли бы много места. Если уж начистоту, то ему и одного сына хватало с лихвой. Он был даже не воскресным папой, а случайным. Несмотря на море разлитое свободного времени, Славик редко вспоминал о своем отцовском предназначении. Он кружил около телефона, то порываясь набрать жену, то откладывая звонок, но после долгих нерешительных часов все же связывался с ней и назначал встречу с сыном.

Артему было пять лет. Он ходил в садик, учил стишки, хотел быть уборщиком в зоопарке и выбирал (пока еще не мог остановиться на чем-то одном) между вариантами, предложенными мамой. Эти варианты

были: карате, футбол, народные танцы. С вариантов и начался сегодняшний разговор отца и Тёмы, когда за ними только-только захлопнулась дверь квартиры и они оказались на свободе.

Снег почти совсем сошел, лишь в каких-то тенистых местах лежали грязно-белые панцири льда. Птицы пили небо из бензиновых луж. Улыбалось солнце. На душе у Славика было необычайно свежо и рассветно, а у Артема... У детей такого возраста, кажется, и вовсе не бывает гнетущего состояния, если, конечно, их жизнь не омрачают взрослые.

Волосы Тёмы пружинили, и отцу нравилось держать ладонь на его голове. Славик не помнил, были его собственные волосы жесткими или нет, даже сам цвет их представлялся ему расплывчато — каким-то бурым, что ли. А вот у сына волосы росли медные с черно-бордовым отливом. Этот цвет — разновидность рыжего. И такая особенность сына очень нравилась отцу.

Он выяснил, что Тёма не собирается ни в одну из предложенных секций, у него свой реестр. Слово «реестр» сын не говорил, оно пришло в голову Славику. Итак, Тёма намеревался податься в шахматисты, хотел сесть за руль карта или поехать на роликовых коньках. Слово «карт» сын произнес с западающим звуком «р» и даже изобразил как умел рев этой смешной машины.

Отец и сын ходили в челябинский зоопарк. К разочарованию Тёмы, слонов и жирафов туда так и не подвезли, и он сказал что-то типа «я готов расплакаться» (с западающим «р»), хоть и пребывал в прекрасном расположении духа. Фразу про готовность к плачу он, вероятно, услышал в какой-то из материнских проповедей. Славик предложил в другой раз изменить маршрут. Есть же аквапарк, кино на большом экране, цирк, есть батут и всякие разные канаты и джунгли на специальных площадках. Но Тёма был настроен исключительно на зоопарк, поскольку поджидал прибытия слонов и жирафов как раз к следующей встрече с папой.

Они сели в маршрутку и поехали обратно, предвкушая кекс, который к их возвращению обещала испечь мама (одному) и бывшая жена (другому). Город растягивался без конца, как родословная на пергаменте. А еще Славику придумалось, что дороги — это татуировки Челябинска, набитые на его пересохшей коже, хотя стоял второй месяц весны и земля захлебывалась водой.

Славик заметил, что плечо Тёмы замазано побелкой или мелом — прислонился где-то. Отец стал отчищать пятно, выговаривая негромко, незло и, конечно, без воспитательной интонации. Выходило что-то вроде: надо быть аккуратней, мама устает, она работает, готовит, стирает, моет, что ж ты так, надо быть аккуратней, мама устает... Получалась почти песня на неизведанный мотивчик. Побелка исчезла с плеча, но за секунду до последнего движения отцовской руки Тёма четко и в полный голос произнес: «А ты ее бьешь!»

Еще улыбаясь, Славик спросил: «Кого?» — «Маму!» — ответил сын. «Какую маму?» — догадавшись, все же спросил Славик. Маршрутка онемела. Тишина повисла, как грозное облако, и ее можно было черпать ложками. Водитель прекратил свою иностранную речь по телефону, бросил дорогу и уставился в зеркало заднего вида. Женщина, сидящая напротив, прожгла Славика то ли взглядом, то ли напалмом. А потом все пришло в суетливое движение: люди вокруг куда-то засобирались, напяливая на лица шаманские маски и спецназовские прорези для глаз. Маршрутка вскарабкалась на острый хребет и, набирая первую космическую скорость, рванула в низовья города, где отца и сына ждал свежий кекс.

«Зачем он так?» — пожаловался Славик. «От полноты жизни», — ответила бывшая жена. «Не верю», — сказал Славик. «Все дети врут. Всегда и без какой бы то ни было надобности», — бесцветно ответила бывшая жена, будто на кону не стояла ничем не запятнанная совесть Славика. Он ждал сочувствия, опровержения, сопереживания, чего угодно, только не рассудочности. Жена же говорила о том, что вранье — это особый период в жизни ребенка. Есть еще несуществующие друзья. Тёма, например, общается с обгоревшим оловянным солдатиком, которого просто нет среди его игрушек. И эта фаза, уж несомненно, будет посложнее вранья. Ах да, еще же воровство! До этого пока не дошло, но дети могут утащить что-то за пределами ценное просто так. Ага, еще симуляция. Тёма вполне может произносить «р», однако ждет более выгодного случая.

Она говорила и говорила, но Славик больше не слушал ее. Он поднялся, зашел в комнату к сыну. Глядя на спящего малыша, он вдруг пожалел, что когда-то вообще стал отцом. Потом прогнал эту мысль, и ее место тут же заняла другая: будь у Тёмы брат или сестра, он бы ни за что не стал так подло лгать. Но и эта мысль испарилась, вытесненная другой: чушь, все это чушь, ребенок, действительно, врет от полноты жизни. Это несколько не успокаивало.

Славик приехал домой. Он шел от остановки на ватных ногах, не обходя лужи и не обращая внимания на грязь. Хотя быть совсем уж безучастным к окружающему городу не получалось. Славик понял: что-то не так во дворе. Старый дом, который стоял напротив его окон, был мертв. В этом доме, вросшем в землю, сутулом, довоенном, еще неделю назад жили люди. Они десятилетиями писали петиции, устраивали пикеты, объявляли голодовки. Казалось, их беды никогда не закончатся: жильцов ни за что не отпустит ни протекающая крыша, ни проваливающиеся полы, ни трухлявые трубы. Но это случилось.

И вот дом смотрел на Славика глинобитными, что ли, стенами (если стены умеют смотреть), за которыми колыхалось море, черное от бури бессонницы. Люди ушли, распахнув окна, забрав с собой телевизоры и холодильники. Осталось — море. Никакого моря внутри, конечно, не было, и все же Славик решил проверить наверняка. Он включил фонарик смартфона и зашел в подъезд. Мягкий свет выхватил обломки, обрывки,

цитаты из чужих жизней — существующих и потухших. Абсолютной тишины не было. Откуда-то доносилось вялое и редкое чмокание, словно кто-то касался губами печальных воспоминаний. Но, возможно, это был шепот, а не чмокание. Именно так, подумалось Славiku, мертвые стараются утешить живых.

В углу одной из комнат лежала шапка, которая, стоило задержать-ся на ней лучу, подняла голову и оказалась рыжим, как яростное пламя, щенком неведомого происхождения. Он не вилял хвостом и не тявкал на незнакомца, а дрожал, будто дождь пробрал его до костей и погасил его голос. Славик подозвал щенка, присел на корточки и, обычно брезгливый, почесал его за ухом. Потом втянул воздух из ладони, но она пахла не псиной, а лимоном — или так пахла сама прохлада большого вечернего города.

Он встал, вышел из сутулого довоенного дома, обогнул мусорные контейнеры и уже возле подъезда оглянулся. Старый дом исчез, точно был всего лишь тенью, которая до сумерек цеплялась за ветви окрестных тополей, а ближе к ночи слилась с темнокорой гладью неба. Зато щенок следовал за Славиком, по-прежнему молчал и не вилял хвостом. Славик поднял его с земли, поцеловал в нос и выпустил из рук только в комнате. Он включил свет, наблюдая, как животное принюхивается к новым обстоятельствам жизни. Славика накрыла какая-то маслянистая волна нежности и признательности этому зверю. Человек, такой маленький и родной, обескровил сегодня Славика: сын показал, как жалок и бесполезен может быть мужчина, проживший на свете целых сорок лет. А щенок вернул доверие этого сорокалетнего мужчины к существованию. Пусть не полностью, но все же...

Славик, кажется, задремал. Проснувшись, он пошел на кухню включить чайник. Там, прямо под столом, дрых щенок, который, вероятно, видел сладкие сны, потому что даже не открыл глаз. Славик посмотрел на часы (он дремал-то всего минут сорок), восстановил в памяти события дня и вечера. Едва воспоминания допетляли до маршрутки с сыновним враньем, как из живота вверх опять поползла маслянистая волна, на этот раз волна усталости и первых импульсов гнева.

Он вышел из дома со щенком на руках и опустил его на землю у мусорных контейнеров. Постоял не больше минуты и, не оборачиваясь, поспешил обратно. Щенок брел за Славиком до подъезда, но дальше входной двери его не пустили.

Табак

Когда Славик думал о раннем детстве, то печаль, как горькая трава, прорастала где-то внутри. Он горевал, хоть почти ничего не помнил о той поре, будто прожитое время было свалено в глубокий сон, и спящий скреб землю, раскапывал что-то в полуобморочном состоянии. Зачем? Славик не знал.



В нем задержались только две повторяющиеся картинки: тыквенный сок и черепаха. В детском саду на полдник никто не хотел пить тыквенный сок. Славик же обожал. А вот черепаху он запомнил мертвой. Она была пугливой и всегда прятала голову в панцирь. Смотреть, как животное неуклюже поедает капусту, приходилось с расстояния вытянутой руки. Сцену черепашьего обеда Славик, скорее всего, домысливал, а вот смерть — запечатлел. Ее шея оказалась неестественно длинной и морщинистой. Голова лежала на полу и не шевелилась, а над ней переливался какой-то фосфорический нимб. Славик не помнил, плакал ли он, хоронили ли черепаху или просто бросили в мусорное ведро, даже имя ее улетучилось в неизвестном направлении. А мать — помнит? Помнит она, как звали черепаху? А про его любовь к тыквенному соку помнит?

Да, раннее детство приходило к Славику чаще, чем следовало. В этих волнах прошлого не было никакой угрозы, просто человек не хотел их. По утрам простыня под ним сбивалась, подушка лежала на животе, одеяло пряталось в ногах. Вероятно, мужчина спал тревожно, сражаясь с несуществующими злыми духами.

Сегодня его разбудил звонок. Он потянулся к телефону, но тут же сообразил: звонят в дверь. Славик накинул халат и открыл. Старшая по подъезду начала что-то объяснять хозяину квартиры, уставившись в пол. «Где расписаться?» — прервал ее Славик.

Потом позвонили в домофон (разносчица квитанций), потом — на мобильный (новые услуги от кабельного телевидения), потом — в дверь (никого не было: вероятно, развлекались соседские мальчишки). Не прошло и часа после пробуждения, а Славик уже устал. Он выглянул во двор. Дорога и детская площадка уже высохли. Стоял апрель с устойчивым плюсом на термометре. Светило пронзительное солнце, однако людей нигде не было, будто ранние лучи сожгли их, а ветер разнес прах по дальним углам. Впрочем, и ветра-то почти не было. «Обглоданный ветер», — почему-то вслух сказал Славик, и в это время позвонили опять.

На пороге стояла бывшая жена. «Могла бы и предупредить», — сказал он. «Я и предупредила. Вчера», — ответила она. Славик не помнил. Бывшую жену звали Викой. Она опять перекрасилась — на сей раз в безупречный пепельный цвет, вырядилась в бордовую кожанку-косуху и короткие сиреневые брюки. Сияла, как манекен в витрине «Гуччи». И благоухала.

«Я жду ребенка», — заявила Вика и попросила чашку чаю. «В этот раз у тебя получилось не затягивать на долгие времена», — ответил Славик. Он еще не переварил сообщение, но, кажется, грядущее событие мало его касалось. А первой беременности, действительно, пришлось ждать целых три года. Что-то в организме не срабатывало, и Вика проходила долгое и болезненное лечение. Артем был настолько желанным, что Славик иногда боялся задушить младенца в своей любви.

«Послушай, я выхожу замуж. Тёмочке придется непросто. И Андрею. И мне. И тебе. Всем. Я бы хотела...» Вика остановилась, подбирая нужные слова. Славик знал, что дела у бывшей и ее возлюбленного шли к свадьбе, что для этого Вике и сыну придется переехать в Екатеринбург. «Я не возражаю, если вы поселитесь в другом городе», — наугад сказал Славик. «Нет», — выдохнула Вика. Она крутила чашку то по часовой стрелке, то против. «Оставь бедную кружку в покое», — не выдержал Славик. «Мы уезжаем в Канаду. Андрею предложили место в головном офисе», — сказала Вика. «И что?» — не удивился Славик. Он смутно догадывался, что расстанется с сыном на долгие месяцы, а то и годы, но никакой боли (или что накрывает человека от жуткой новости?) не ощутил. «Это — все?» — спросила Вика. В ее голосе угадывалось и железо, и растерянность. «Не знаю», — ответил он. Ему хотелось курить.

Бывшая жена давно ушла. Бывший муж не отрываясь смотрел на телефон. Он знал, что должен позвонить ей и поделиться своими сомнениями и переживаниями по поводу Канады. Однако их не было. Ни сомнений, ни переживаний. Славик представлял, что в следующий раз увидит Артема через десять лет — чужого, почти взрослого, плохо говорящего по-русски, — и не испытывал ничего, кроме желания сделать несколько затяжек. Он ведь любил сына? Любил. Должно же что-то подкатывать к горлу, бить по сердцу, сталкиваться в голове, когда узнаешь о вечном расставании с любимым человеком? Конечно. Непременно. Но...

Стоял поздний вечер. Славик все же не выдержал и, как беглый преступник, подобрался к табачному киоску. Словно боялся, что его кто-то опознает. Он десять лет курил легкий «Винстон» (и уже шесть лет не курил вообще) и сейчас попросил ту же марку. Оказалось, что табачная промышленность во время относительно здорового образа жизни Славика тоже не дремала: изменился дизайн пачки. Это ладно. Но! Чуть ли не на всю длину коробочки красовалась теперь угрожающая надпись и гнусная картинка.

«Эмфизема», — прочитал Славик, едва отойдя, и сразу вернулся к ларьку. «Я передумал курить “Винстон”. Вот это — что это? “Ява”? Дайте ее», — сказал он в окошко. Девушка не смутилась (вокруг полно чудачков) и протянула пачку. «Онкозаболевание», — прочитал Славик, не отходя от прилавка, и вернул товар. (Ему показалось, что в это самое время сама смерть вышла патрулировать улицы города и сейчас обламывает ветки тополей и гасит электричество в домах.) «А, вот оно что», — сказала продавщица с улыбкой. Она, вероятно, угадала типаж покупателя: перед ней стоял мнительный человек, способный поверить даже в надпись на пачке. Ну, она сталкивалась и не с таким. «Вот. Еще вот. И это». Девушка разложила перед Славиком весь репертуар заболеваний и картинок.

«Импотенция». (Почему-то стало нечем дышать, будто голова Славика была обмотана скотчем, и требовался кинжал, чтобы вспороть пленку

и добыть воздух.) «Пародонтоз». (Что это такое, черт возьми?) «Преждевременное старение». (Славик жил в бесплодном, мертвом, лунном мире.) «Ампутация». (Зачем же так?) «Ладно, если вы не собираетесь в отцы, то самыми лучшими вариантами будут эти», — сказала находчивая продавщица, придвинув мужчине пачки с надписями: «Недоношенность» и «Мертворождение». «В какие еще отцы?» — не понял Славик. «В любящие, конечно! И в счастливые!» Девушка за прилавком упивалась привалившим развлечением: не всякий день нарвешься на такого паникера. Мужчина взял «недоношенность» и сбежал.

Закурил. С непривычки голова пошла кругом. Сделав несколько затяжек, он обратил внимание: кольца замерли на месте, у самого рта. Кажалось, что ветер остановился, задохнувшись дымом от сигареты. А еще в воздухе висели испарения от городских огней и где-то поблизости гремел поезд, хотя никакой железнодорожной ветки в этом районе никогда не было.

Ахилл

Имя у нее было вполне себе. Нормальное, одним словом. Ее звали Ниной. А вот фамилия... Впрочем, она носила типичную грузинскую фамилию. Типичную в том смысле, что произнести ее без многодневных репетиций не получалось: какое-то нагромождение звуков «р», «ц», «д», «з», наползающих один на другой, путающихся, исчезающих без предупреждения.

Когда она вставала, одетая лишь в прозрачное утро, Славик думал: «Зачем?» Он не любил Нину, не собирался делить с ней оставшееся время жизни, не очень-то вникал в ее дела. Она предлагала съехаться, обвенчаться, кого-нибудь родить, пока не поздно, но эти предложения проговаривались вскользь, редко, с иронией в голосе, улыбкой на лице, поэтому Славик не беспокоился.

Нина была моложе своего мужчины на несколько лет, выше его и необъятней. Славик по жизни нравились женщины-подростки — худые до выпирающей ключицы, с маленькой грудью, этикие пацанки в рваных джинсах, кедах и с короткой стрижкой. Вышло же ровно наоборот. Славик ни за что не выбрал бы Нину. Он бы вообще никого не выбирал и ходил бы себе бобылем на мамины борщи и сыновних жирафов. То есть Славик не искал никаких отношений, не имел никаких фантазий, не ждал никаких подарков от судьбы, выраженных словами «они были счастливы и умерли в один день». Все его постельные опыты можно было перечислить по пальцам одной руки. Такая скудная картотека смущала Славика, но — хвала Деве Марии Гваделупской (почему это ей?) — возраст, когда надо было подыгрывать оголтелым бабникам в их бесконечном вранье о сомнительных победах и рассказывать о собственных подвигах, остался давно позади. Славик мало где бывал, мало с кем разговаривал и не хотел ничего менять.

Они познакомились два месяца назад на бирже труда. На самом деле это заведение называется как-то иначе, только кто ж запомнит шесть (или около того) казенных слов, выведенных на латунной табличке? Так вот, на бирже труда человека гоняют из кабинета в кабинет, везде надо выждать своей очереди и двое безработных вполне могут оказаться рядом в общем коридоре и разговориться от безысходности и скуки.

Славик, конечно, тогда еще не знал ни ее имени, ни того, что она наполовину грузинка. Он бы скорее подумал, что перед ним кочевница из амазонских лесов: мясистый, картофельный (а вовсе не строгий кавказский) нос, забранные резинкой длинные смоляные волосы. А вот карие глаза и распухшие губы не несли никаких национальных признаков и ничем особенным не выделялись.

Оказалось, Нина была внебрачной дочерью Муслима Магомаева. Ну да, разлетающиеся в разные стороны ноздри и лоб, заканчивающийся где-то на середине черепа, — что-то такое магомаевское читалось в ее внешности. Она ждала вызова в Москву, чтобы поучаствовать в шоу «Первого канала», сдать тест (или их несколько?) и вообще осмотреться в столице. От таких перспектив у Славика кружилась голова, пусть напрямую его это, кажется, и не касалось. Уж он-то не мог представить себя героем не то что телевизионной передачи, но и чьей-то жизни (хотя второе, возможно, важнее).

Через неделю после знакомства они обменялись ключами, однако съезжаться не стали, а гостили друг у друга попеременно и то не каждый день. Нина не говорила ничего лишнего. В то же время и ничего существенного о ней Славик не знал. Какие тайны хранит ее прошлое? Есть ли у нее дети? Настоящая ли она дочь великого певца? Ответов на эти и другие вопросы не существовало: как-то не подворачивался соответствующий случай.

Однажды Нину окликнули на улице Златой. «Ошиблись», — сказала она потом, но он заметил, что женщины узнали друг друга. В другой раз Нина весь день не отвечала на звонки, а когда все же нашлась, то без малейшего смущения заявила: «Я уезжала в Еманжелинск. У меня могут быть свои дела?» Еще она никогда не говорила при Славике по телефону. «Мне некогда. Я потом тебя наберу», — всегда отвечала она кому-то третьему, если Славик был рядом. Что ж, тайны так тайны. В конце концов, он тоже умолчал, что переболел свинкой чуть ли не в тридцать лет, и что один раз чуть не переспал с женщиной, и что как-то... Да, у Славика тоже было полно скелетов в шкафу.

В день отъезда Нины на шоу Славик шел за бананами под бескаркасным куполом неба — невидимым, но прочным, сталкиваясь с которым солнечные лучи разбивались на осколки, отлетали в разные стороны и выстраивали какую-то праздничную геометрию света. Асфальт уже избавился от наледи и грязи. Река текла еле-еле, будто пыталась что-то вспомнить.



«Вернется из Москвы — предложу ей жить вместе. Вдруг получится?» — с каким-то предвкушением лучших дней подумал Славик. «Все налаживается», — добавилось к предыдущей мысли.

Нина уехала. Он дождался отправления и даже вяло помахал поездом вслед. Состав пропал из виду, а людей на перроне все не убывало. Они торчали повсюду, как цветы в тундре, которые повывлезали на свет все вместе, лоя короткое северное лето. Лавируя между группами и одиночками, Славик вдруг подумал, что больше никогда не увидит Нину. Значит, так тому и быть. Хотя с чего он это взял? Глупости. Тем не менее отмахнуться от этой простой мысли не получалось — в голову лезли нестыковки, отговорки, противоречия, которые проявлялись в словах и поступках Нины.

Когда мысленная очередь дошла до денег, спрятанных в комод, то Славик сменил ленивый ход на бег. Он бежал, пока не выдохся (а перрон все не заканчивался), пока сердце не стало выскакивать из куртки, пока в правом боку не закрутились в жгут внутренности сорокалетнего тела. Деньги на дне ящика комода, под майками и трусами, — это что-то из прошлого века, но Славик то и дело откладывал перевод наличных купюр в безналичные.

Он продал машину, потому что не мог с ней справиться: она оказалась капризной и затратной. Для кого-то четыреста тысяч — пустяк. Для кого-то — состояние. Для Славика сейчас они были не пустяком или состоянием, а смыслом всей жизни. Нет, он не мог так обмануться! Нет, он не мог пустить в свою жизнь самую примитивную воровку! Он все бежал и бежал, что-то внушал себе, над чем-то колдовал, однако это уже ничего не меняло, ведь он — догадался. И эта догадка раздавила его.

Деньги лежали на месте. Славик пересчитал их. Положил обратно под трусы и майки. Достал. Беспорядочно рассовал по карманам джинсов и куртки. Кажется, его мутило. Он проклинал себя за подозрительность, радовался находке, почему-то винил Нину в несостоявшейся краже. Руки дрожали. Ладони потели. Он поехал к матери. Ему везде мерещились розовые пятитысячные бумажки. Оказалось, он заснул, но ничего из карманов не исчезло: Славика везло. Или просто мир был не настолько жесток и мстителен, как он себе представлял.

Мать горевала по случаю маленького открытия: волосы на макушке у нее стремительно редели. Славик давно заметил это, только молчал: какая-то нежная, младенческая кожа под негустой сединой раздражала его. В другой бы день мать поспорила с ним и отправила сдавать наличность в банк, да печаль не давала ей сегодня возможности ругаться. Она убрала деньги в шкаф.

Славик оставил себе пятерку, чтобы расслабиться этим вечером. Он позвонил Кунице — чуть ли не единственному человеку, с которым мог выпить и хоть о чем-то поговорить. Куница сидел в баре «Питер», тянул пиво, ждал кого-то (Славик не понял кого). «Приезжай, конечно. По-

кажу тебя людям. Пусть умоются», — сказал Куница. Славик засоби-
рался, но на шнуровке второй кроссовки остановился. Что значит «пусть
умоются»? Что значит «покажу людям»? Да ничего! А если значит — то
что? Опять кошки заскребли на сердце Славика. Он все же вышел из
квартиры матери, однако не знал теперь, ехать ему в «Питер» или воз-
вращаться домой.

Бантик на кроссовке он так и не завязал, наступил на шнурок тут же,
на лестничной площадке, упал, но почти ничего не почувствовал. Вызвал
лифт и, как только загорелась красная кнопка, стал получать сигнал бед-
ствия от пострадавшей ноги. Мать вызвала скорую, а рентген в больнице
высветил разрыв ахиллова сухожилия.

На следующий вечер медсестра передала Славiku увесистый пакет с
бананами, другими фруктами, соком и двумя книгами. Это были рассказы
Варлама Шаламова и сборник «Поэзия Латинской Америки». Странно,
уж стихов-то Славик со школы не читал. «У нас карантин. Самая по-
следняя волна гриппа. Поэтому посетителей к больным не пускают. А все
ваши внизу выстроились», — сказала медсестра.

Славик допрыгал на одной ноге до окна. Оно было заблокировано
еще с зимы. (Или здесь круглый год так?) Четвертый этаж не Эверест,
поэтому все лица и жесты были видны. Мама утирала слезу и улыба-
лась. Вика отчаянно махала руками, будто стояла на необитаемом острове
и вдруг увидела парусник. Артем сидел на плечах Андрея. «Папа, я тебе
слона нарисовал!» — выкрикнул он. Куница дымил в стороне и озирался.
Даже его где-то нашли. Славик испытал короткий миг счастья, подумал о
каждом из пришедших что-то свое и непременно доброе.

В небе расплылся рыхлый след от самолета. На внешний подоконник
уселись три голубя и заворковали. Через форточку в палату залетел сон-
ный шмель.

Поздним вечером Славик наугад открыл книгу со стихами и прочи-
тал первое попавшееся:

Предчувствуя конец, простились горизонты
Со стаями птиц перелетных,
И лепестки цветов, похожие на клавиши, опали...

«Вот ведь. Что-то такое будет», — подумал Славик и выключил свет.
Ему снилась ядерная осень, напророченная поэтом. Хотя не исключено,
что стихотворение было совсем о другом.



Анна ТРУШКИНА

ПРЕДЧУВСТВИЕ БЕЛОГО

* * *

это хеллоуин предчувствие белого
грим у сестер и у братьев грим
тенью манящей мертвого дерева
каждый фонарь заменим.
горстка драже или камень в кармане
и разгадать не успеть
воздух над водами пуст и стеклянен
в птичьей своей тесноте

* * *

Безответственный утренний свет отрывает ладони от пола,
Подбирается медленно к жизни, к печали, к лицу.
Ожиданье медового лета, бедового лета крамола
Полнит чашку до края, которую вдрызг разнесу.
Остаются на блюде кофейные черные тени —
Терпкой горечи вкус не проходит у ветра во рту.
Пробивают асфальт накопившие силы растенья,
Ярким стержнем своим подводя под апрелем черту.

* * *

Тысячи муравьев под кожей,
мед и млеко под языком.
На мучительный рай похоже,
на слезы во сне ни о ком.

Летаешь, как на качелях,
вроде бы и вперед,
но тут же назад, и в щелях
межоблачных
ночь встает.
Пьешь воду, а чувствуешь горечь,
и в сумерках жизни такой
падаешь навзничь
от горя —
от счастья —
от горя —
от горя —
за брошенным огоньком.



Сергей ЗЕЛЬДИН

ПРОФЕССИОНАЛ

Р а с с к а з

Сергей Павлович был забубенная головушка. Он еще был жив, но его жизнь не стоила ни копейки. Все уже было обдумано, все решено, и оставалось лишь взять и убить себя.

Как Сергей Павлович стал самоубийцей? Как все: у него была плохая жизнь. Жизнь не заладилась, не сложилась, а под конец и вовсе пошла наперекосяк. Вообще, он больше не собирался говорить на эту тему.

«Как?» — вот о чем он думал день и ночь.

Собственно, думать о смерти любят все. Ницше писал, что мысль о самоубийстве помогла ему пережить не одну тяжелую ночь. Впрочем, Ницше был псих.

Однако и нормальные люди часто думают о смерти. Только совсем уж идиоты о ней не думают, а просто прыгают с крыши. А нормальные — думают, но так, в плане самодисциплины, по методу Ницше.

Сергей же Павлович думал о самоубийстве на полном серьезе, он, можно сказать, уже перешел невидимую черту, отделяющую нас от царства мертвых.

Однажды он сидел на кухне и, как обычно, размышлял о смерти...

Благородная пуля

Один писатель сказал, что единственно благородный способ покончить с собой — это выстрел из пистолета. Сергей Павлович выпил рюмку лечебного бальзама «Вигор», закусил салом и задумался. Пистолета у него не было.

Он выпил еще одну рюмку и стал соображать, где взять пистолет. Вдруг он ударил себя по лбу и радостно засмеялся. Пистолет был! Только на работе.

Сергей Павлович служил инкассатором в Проминвестбанке. Инкассатору оружия не полагалось. Поэтому его охранял милиционер Коля Шевчук.



Коля Шевчук был громадный пузатый хлопец. В черном комбинезоне, бронежилете, который закрывал лишь середину живота, в каске, с пистолетом, наручниками и баллончиком газа под нежным названием «черемуха», он возвышался над Сергеем Павловичем, как гора. Он был такой внушительный, что еще ни один грабитель не решился напасть на него или на Сергея Павловича.

Разбитная заведующая аптекой № 5 каждый раз спрашивала у Коли: «Когда?» — отчего он краснел как рак. Заведующая призывно хотела и кроме сумки с вырубкой совала им бутылку «Вигора» или пузырек со спиртом.

Коля часто доставал свой «макаров» и подолгу его разглядывал. Это был недалекий сельский обалдуй, и его, вероятно, легко можно было обвести вокруг пальца. Сергей Павлович представил себе, что вот они сидят в дежурке. Коля, как обычно, занимается тем, что вынимает пистолет, целится в зеркало и говорит: «Пх-х!» Сергей Павлович просит у Коли подержать пистолет, делает вид, что любит его, потом вдруг говорит: «Счастливо оставаться!» — и вышибает себе мозги. Ну, как-то так.

Сергей Павлович выпил «Вигора» и закусил хлебом с маслом.

Хорошо! Да. Хорошо, да не очень.

Во-первых, не нравилась ему эта спешка, скоропалительность. Ему хотелось, чтобы смерть была подлиннее, чтобы было засыпание, угасание, такое, что ли, погружение в темные воды Леты, то есть Стикса. А не так — бац! — и до свидания. Во-вторых, жалко было Колю: он тоже как-никак человек. А теперь его выгонят из органов, заберут пистолет, и не факт, что он где-то еще устроится.

Короче, пистолет отпадал.

Пуля — дура, штык — молодец

Сергей Павлович поглубже засунул в мусорное ведро пустую бутылку.

Жена была на работе. Саня гулял неизвестно где. Кошка Бася поглядела на хозяина, лизнула себя в грудь и опять заснула.

Сергей Павлович задорно усмехнулся и достал из аптечки пузырек со спиртом. Он налил себе на доньшке и выпил.

В глубине души он уже склонился к иному виду суицида — старому доброму вскрытию вен. Тут было и засыпание, и увядание, и погружение в небытие. Но этот способ был очень кровав.

Он представил, как «обрадуется» Наталья, когда найдет его сидящим в углу, прижавшим к груди любимую книгу «Мастер и Маргарита», а из другой руки натекло пять литров крови! Пять литров — это почти две трехлитровые банки! И как потом жить в этой комнате? Что скажет квартирная хозяйка? А кому отмывать всю эту кровищу? Да Натка целый год будет проклинать его и плевать в его траурный портрет!

Можно, конечно, перерезать себе вены сидя на полу в туалете и спустив руку в унитаз. Это было бы очень символично — жизнь, спущенная в никуда. Но унитаз... Запах, и вообще.

Оставался последний выход — вскрыть вены не дома, а где-нибудь в другом месте, скажем на природе. Был у Сергея Павловича заветный уголок в Гидропарке: там, где кончается пляж, на берегу Тетерева высился бугорок или, как бы иначе сказать, холмик, покрытый муравой и купкой деревьев.

Сергей Павлович хлебнул из пузырька и размечтался.

Вот приезжает он в Гидропарк вечером на троллейбусе. Далеким, чужой, бредет он по песку, мимо мамочек с детками, мимо волейбольной площадки, где взлетают бронзовые тела молодежи, мимо девушек с голыми грудями, идет, идет и приходит на свой холмик. С ним пакет, а в пакете все необходимое для самоубийства: бутылка армянского коньяка, копченое мясо, сыр чечил, помидоры, лаваш и опасная бритва. Хотя нет, сейчас бритвы не выпускают. Ну, неважно, можно купить в канцтоварах нож для бумаги, он острый не хуже бритвы.

И вот, дождавшись, когда светило солнца навсегда скроется за горизонтом и вспыхнет пышная лампада луны, он полоснет себя по горлу и будет лежать, затухающим взором уставившись в звездную бездну...

Тут Сергея Павловича передернуло: а собаки?! В Гидропарке их туча. На этом месте он в компании пару раз жарил шашлык и прекрасно знал, как оно будет. Сначала собаки усядутся полукругом и станут заглядывать в рот. А когда он умрет, начнут потрошить пакет, жрать объедки и, чего доброго, обгрызут и его! И даже если не обгрызут, то будут, ублюдки, шляться вокруг всю ночь, вонять псиной, мочиться и срать! Нет уж, спасибо! Сергей Павлович ненавидел собак. Он любил кошек.

Он допил спирт в пузырьке и мрачно задумался.

Большой куш

Хорошо, а если так... Зачем погибать даром? Он не собирается отрицать, что виноват перед семьей: загубил Натальину молодость, профукал квартиру, бил Шурика. Что ж, теперь он отдаст им свой долг!

Значит, так. В четверг его привозят из Киева на броневике с валютной сумкой. В банке в это время обед. Он не идет в кассу, а идет в туалет. Рассовывает пачки по пазухам одежды, болтает как ни в чем не бывало и выходит на улицу. Пока закончится обед, пока то да се, пока до конца осознают все размеры ЧП — пройдет час, не меньше.

Он садится на троллейбус и едет в городской парк имени Гагарина. Там, за летним театром, его уже ждет Шурик. Он вручает сыну доллары, дает отцовские наставления: тратить валюту с умом, не пить, не курить, беречь маму. После наставлений благословляет сына, они обнимаются и прощаются навсегда. Сын уходит вдаль по аллее, оборачиваясь и плача,

а он тут же, за летним театром, вешается. Или нет, бежит на подвесной мост высотой тридцать четыре метра и прыгает в речку Каменку, мелкую и грязную...

Голубая бездна

У Сергея Павловича защипало в носу и зачесались глаза. Он поглядел пустой пузырьек на свет и вздохнул.

«Засыпятся, — подумал он. — Сразу попадутся, особенно Наталья. Еще посадят».

Эх, уйти бы из этой жизни тихо, по-английски, как Сократ, не оставив после себя ни малейшего следа. Сами лежите на ваших вонючих кладбищах, в могилках под пластмассовыми цветами!

Сергей Павлович погладил спящую кошку по голове и закурил бычок...

На силикатном карьере, что возле кирпичного завода, чистая, голубая, как небо, вода. Тишина. Глубина метров двадцать. Он закапывает одежду в песок. Надевает на шею петлю, на другой конец веревки привязывает кирпич и изо всех сил плывет на середину карьера — там недалеко. Это путешествие в один конец. Главное, чтобы в этот момент никакая харя не показалась на берегу с полотенцем и надувным кругом под мышкой...

Вдруг щелкнул замок, хлопнула дверь. С работы пришла жена, усталая и злая.

Все мысли о смерти вылетели из головы Сергея Павловича. Он метался по кухне.



Анатолий АНДРЕЕВ

ЧУДО ГОРОХОВОЕ

Р а с с к а з

Вскопал я в огороде грядку под горох, стал борозды заправлять. Лопатой землю подгребаю, прихлопываю бока у грядки, покряхтываю от усердия. И вспомнилось, что отец, когда уже пожилым был, тоже кряхтел во время работы. Я его как-то спросил: «Чего ты, батя, кряхтишь?» А он только посмотрел на меня и ничего не сказал. Теперь-то я понял его молчаливый взгляд: «Доживешь до моих лет — посмотрим, как сам за-кряхтишь».

Задумался об отце, по колени в землю зарылся. Ну, это дело поправимое. Потом отошел в сторонку, гляжу на результаты своего труда. Да, не зря моя покойная теща, когда в гости приезжала, говорила: «Вы в Шукве грядки делаете точно могилы». А и правда, похоже. Я тогда, после ее слов, заинтересовался: почему мы, действительно, такие высокие грядки делаем, что они могилы напоминают? Решил у местных старожилков поспрашивать.

И мне рассказали, что давным-давно был на Руси разбойник. Могилы грабил. Разроет могилу и лапти с портянками с покойного снимет. А у женщин порой и гребешок, украшения какие. Затем обратно все в порядок приведет, чтобы не заметили. Но попался в конце концов. А за такое паскудство тогда и убить запросто могли. Сослали этого татя на каторгу в глухую уральскую тайгу и оставили его у речки Шуквы. Что в переводе с мансийского значит — «гнилая вода». Потому что речка из черного болота начало берет.

Стал этот преступник пожизненный срок в тайге отбывать. Обустроился с годами как мог. И захотел вырастить что-нибудь себе на пропитание. А ведь крестьянским трудом никогда не занимался. Только могилы грабил. И начал он делать грядки по старой привычке как могилы. После в это место других преступников присылали. А те тоже: кто коней воровал, кто с ножиком последнюю копейку у сирот отбирал, кто у дороги в

кустах с дубиной прятался, чтобы проезжему путнику по черепушке треснуть. Те еще колхознички! Вот они и переняли у могильного вора опыт приусадебного хозяйства: у всех огороды будто кладбища.

А потом произошла революция! Некоторые ссыльные тут же надели кожаные куртки, через плечо маузер в деревянной кобуре. Пришло наше время — гуляй, братва! Но во время Гражданской войны город заняли белые и тех, кто не убежал, постреляли... Много воды с той поры утекло. Живем худо-бедно. Однако гены первопоселенцев у нас, коренных шуквинцев, мне кажется, до сих пор в крови бродят.

Был в нашей области главный начальник Борис Николаевич Ельцин. И надумал он построить дорогу от Свердловска далеко на север. И начал. Строит и строит. Километров семьдесят уже построил.

Как-то вечером откатил он тачку на обочину, лопату в землю воткнул и постучал мне в калитку:

— Хозяин, дай воды напиться!

— Заходи, — говорю, — Борис Николаич. А чего воду хлебать? У меня фляга браги на горохе подошла.

Я ковш почерпнул, сели за стол. И Ельцин не побрезговал, выпил по-русски. Простой был человек.

Спрашиваю:

— А что, Николаич, далеко ли дорога твоя дойдет?

— Не бзди! Мне если мешать не будут, до самого Карского моря построю.

Ушел Ельцин, но его брезентовые рукавицы я все-таки спер. Вот тебе и лженаука генетика! Не хотел ведь — само получилось. А лопату у него уже потом приговорил. В хозяйстве пригодится.

А в те времена дороги в России строить еще не умели. И вдруг в Кремле узнают, что есть такой человек, который то ли пятьдесят, то ли сто километров хорошей дороги построил. Ельцина взяли под локотки, посадили в черную машину и увезли в Москву. И назначили президентом всей страны, чтобы жилось народу богато и счастливо!

Второй раз я встретился с ним уже в Москве, в аэропорту Домодедово. У шоферов есть привычка — попинать ногой колесо. А у Ельцина была привычка после приземления помочиться на колесо самолета. Вот он подошел, ширинку расстегнул и видит: с другой стороны колеса я сижу на корточках. И он меня узнал.

— Чего опять украсть надумал, анчутка шуквинский?

— Да золотник с ниппелем хотел выкрутить, для велосипеда. Не в магазин же идти.

— Выкручивай. Я сегодня никуда больше не полечу. И поклонись от меня родной уральской земле! Скучаю я, понимаешь.

А Домодедово тогда контролировала уралмашевская ОПГ. И я был там наводчиком. Но не тем, который у артиллеристов, а который на богатых пассажиров наводит.

Прихожу я вечером на отчетное к своему бригадиру, рассказываю все как есть о встрече с Ельциным. Он выслушал, потеревил золотую цепь на шее и говорит:

— У нас с властью все ровно. Мы им не мешаем, они — нам. Но если тебе Дед сказал поклониться родине, значит, иди и делай.

А дальше как в песне поется: «Вернулся я на родину. Шумят березки встречные».

Со следующим президентом Владимиром Путиным мне пока встретиться не довелось. Хотя, оказывается, он тайно в Шукве бывал. Я об этом случайно узнал.

Выгружали мы однажды бригадой шпалы из вагона. Сели перекурить. И кто-то спрашивает у новенького парня:

— Ты ведь раньше в ГАИ работал. За каким чертом тебя в путейцы понесло?

— Путина я остановил. За это и уволили.

— Как так?

— Стою раз на дороге, жезлом помахиваю. Вижу, зеленая «нива» идет. Я ее остановил для проверки. А там Путин.

— Так ведь ни в газетах, ни по радио ничего не сообщалось!

— Не знаю, — потупил голову новенький.

Стали все наперебой версии приезда Путина обсуждать. Для чего, зачем? И остановились на двух вариантах: либо к любовнице, либо по секретным государственным делам. А нам в тайные государственные дела нос совать негоже. На этом и порешили.

Сижу я нынче на завалинке, самокруткой с махоркой дымлю. Вижу, идет по улице писательница Раиса Снежковская.

Кричу ей:

— Что, Раиса Ивановна, написала какой новый рассказ или роман? А то почитала бы мне перед сном!

— Ничего я не написала. Не до этого. У меня еще горох не посажен!

Горох — это да! Горох всему голова! Это первый продукт, который человечество начало выращивать и употреблять в пищу. Появился раньше пшеницы, кукурузы, а тем более картофеля. Задели меня слова писательницы за живое. Взял я лопату и пошел грядку под горох копать.

В Шукве во все времена горох был самой почитаемой культурой. Гороховый суп, гороховая каша, пироги с горохом, гороховый кисель — это любимые традиционные блюда наших жителей. А горох в чистом виде! Горох сушеный, горох моченый, горох мозговой, горох сахарный, горох пророщенный, горох маринованный, горох толченый...

Каждый ребенок в городе знает строки знаменитого поэта:

Крошка сын к отцу пришел,
 И сказала кроха:
 — Жить с горохом — хорошо!
 Без гороха — плохо!



На гербе Челябинска нарисован верблюд. Зачем, почему — не знаю. А у нас на гербе города — старинная пушка и рядом ядра сушеного гороха. Раньше горох крупный вырастал, с голову ребенка. Вот и подбирали горох под размер дула. Чугуна-то при Петре Первом не хватало еще. А сушеный горох удивительной прочностью обладает. Заряжали этим горохом пушку и лупили по деревянным стенам вражеской крепости так, что только щепки летели! Отсюда и пошло выражение «как об стену горохом». Недруги русской культуры со временем переиначили смысл этого фразеологизма, но, по сути, он тот же, что и у выражения «как серпом по яйцам».

Некоторые недоверчивые люди скажут: не бывает такого крупного гороха. Хочу возразить. Раньше землю чем удобряли? Правильно, навозом. Скотина-то почитай в каждом дворе была: лошади, коровы, свиньи. А птицу и не считали! Теперь же сыпанем в лунку щепотку белой химии в гранулах и лежим на диване, телевизор смотрим. Ждем урожая. А потом жалуемся, что с волос перхоть сыплется, все зубы кариес издырявил, а зрение такое, что без очков непечатное слово на заборе прочитать не можем.

Сейчас в городе на 1735 человек населения только одна корова. У моей бывшей жены. Она эту корову в карты выиграла у заезжих цыган. Жена в поездах работала. В бригаде картежников. А цыгане остановились табором возле ее дома в поселке Чикаго. Сами виноваты: не играйте с незнакомыми людьми!

Но не только при Петре Первом горох помогал с врагами воевать. В Великую Отечественную войну моему отцу было двенадцать лет. Как-то ночью на Черном море ловил он рыбу с лодки, сетку бросал. И видит,

идет из Турции фашистский корабль в свою Германию. Ночь темная, южная, и дождь начался. Мой батя и думает: подберусь к вражескому кораблю, сопру что-нибудь, пока фашисты дрыхнут. Подплыл на лодочке, на корабль забрался, открыл загрузочный люк трюма и шмыгнул внутрь. Руками щупает в темноте, а там все мешками забито! Он ножичком один мешок, другой. Вот же не повезло! Сушеный горох везут для гитлеровской армии. Батя вылез наружу, с расстройства снял немецкий топор с пожарного щита, десять метров веревки на пояс намотал, прыгнул в лодку и погреб к берегу. А люк-то не закрыл! Дождь как из ведра поливает, вода с палубы тоже в трюм потоком хлынула. Горох от воды стал набухать, увеличиваться в размерах и в конце концов до того разбух, что фашистский корабль разорвало на куски, будто бомба внутри взорвалась!

Я однажды спросил отца:

— А что, батя, за потопленный немецкий корабль дали тебе какую-нибудь награду, орден там или медаль?

Потрепал он меня по короткостриженным волосам:

— Не за награды, сынок, воевали! За Родину, за Сталина!

Ты, дорогой читатель, скажешь мне, что прыгаю я во времени туда-сюда? То сегодняшний день, то Петр Первый, то Ельцин, то Великая Отечественная. Мол, еще пирамиды Хеопса для полного счастья не хватает! Что я точно заяц, который бежит, бежит по тропинке, а потом скакнет на три метра в сторону и затаится в кустах. Замечание твое, любезный читатель, принимаю. И пока я из кустов выбираюсь, вспомни русские народные сказки. Там если хотят сказать, что дело было в стародавние времена, то говорят: во времена царя Гороха... Царь Горох! Горох — царь! Неспроста такое уважение.

В середине семидесятых годов прошлого века окончил я школу. Однако родители не дали мне наслаждаться беззаботной жизнью, а сложили в узелок картошек, луковиц с солью, буханку черного хлеба и отправили учиться в город Свердловск в Лесной институт, находящийся на Сибирском тракте. По этому тракту раньше гнали этапы каторжан, по нему же шли переселенцы в Сибирь и на Дальний Восток. Крестьяне-переселенцы сеяли вдоль тракта горох, чтобы и следующие путники могли подкормиться.

Как нас, студентов, выручал этот горох! Бывает ведь, и стипендии лишат на полгода, и с девчонками денежки прогуляешь. А тут сварим ведерную кастрюлю гороховой каши, покрошим туда палку ливерной колбасы и перемешаем хорошенько. Такая вкуснотища получается — пальчики оближешь! Но не зря говорят: «Горох в поле что девка в доме: кто ни пройдет, всяк щипнет». Поэтому, чтобы уберечь посевы гороха от наглых и голодных студентов других институтов, у нас постоянно дежурил оперативный отряд «Зеленый патруль». Посторонние налетчики тогда уходили по тракту далеко на восток, и многие пропадали там навсегда. Тех, кто не погибал в тайге, а доходил до Сибири, селили в казармах бывшего уланского полка. На этом месте впоследствии образовался новосибирский Академгородок.

У меня было два друга детства, которые в это же время учились в Свердловске в других вузах. Придут, бывало, ко мне — бледные, худые, руки дрожат с похмелья. Я пару наволочек с подушек сниму — пойдемте, говорю, друзья мои дорогие, самого лучшего гороха вам наберем, и есть можете от пуза! Потом провожаю их, смотрю, как они полные наволочки гороха на горбу волокут, и так тепло на душе становится! Теперь выживут, теперь уж не пропадут!

Посмотрел недавно передачу по телевизору. Там ученые разных стран объясняли, что дикорастущих аналогов капусты в природе не существует и что капусту нам прислали инопланетяне. Что капуста — это живое мыслящее существо и от ее поедания у человечества увеличивается активность мозга и люди научаются делать автомобили, компьютеры и айфоны. Я с учеными спорить не собираюсь, они больше знают. Но, возможно, я пропустил на РЕН ТВ передачу про горох. Ведь он появился на Земле еще раньше. Я думаю, это тоже дело рук инопланетян. Горох находится в стручке, в капсуле. Разве это не напоминает корпус ракеты, где горошины — члены экипажа? Когда инопланетяне пирамиду Хеопса построили, они же не случайно рядом с телом фараона мешочек гороха положили. А мудрецы древности еще в ранние века говорили друг другу: «Не учи ученого, а поешь гороха толченого».

Благодаря гороху было совершено немало научных открытий. Просто люди не всегда это осознают. Дмитрий Иванович Менделеев схлебал за обедом две тарелки горохового супа с мясной косточкой, а потом погрузился в послеобеденный сон. Так ему сразу и приснилась периодическая таблица химических элементов, о которой он постоянно думал.

Расскажу историю, что произошла в нашем городе. В стране тогда случилась перестройка. Началась беспощадная борьба с пьянством. Из Москвы пришел указ о массовом закрытии многих предприятий, производящих алкогольную продукцию. Шуквинский пивзавод в этот список не попал, потому что пиво здесь делали очень хорошее и оно неоднократно занимало призовые места на международных конкурсах. Но наш глава города тоже хотел быть в первых рядах перестройщиков, разрушителей социализма! И он издал приказ: закрыть пивзавод. Производство остановили, работников пинками выгнали за ворота. А главе города из Кремля прислали почетную грамоту. Он ее в рамочку под стекло вставил и повесил в кабинете на самое видное место. Под портретом Горбачева. Да к стене гвоздями прибил, чтобы завистники не утащили.

На территории завода осталась непонятно откуда взявшаяся цистерна со спиртом. На замок закрыта, пломбы висят, но все равно поставили у цистерны сторожей. И вот охраняют они поочередно. Особенно стараются двое, в кирзовых сапогах и телогрейках, глаз с цистерны не спускают, ходят вокруг нее днем и ночью, точно коты возле кувшина со сметаной. Ведь спирт же там! Питевой. Как его оттуда взять? И в конце концов нашли способ: не нарушая замков и пломб, при помощи обычного велоси-

педного насоса через предохранительный воздушный клапан стали качать из цистерны спирт.

То-то наступило счастье для жителей района! Глухой ночью кто с канистрой, кто с ведром, кто с тазиком из-под белья — все тащили спирт, не жалея моральных и физических сил. Месяц длился этот праздник жизни! Однако, как в песне поется, «недолго музыка играла, недолго фраер танцевал». Тогдашняя милиция схватила воришек за руки. И тут возник вопрос: как два необразованных мужика, используя закон Паскаля, метод Эйлера и принцип гидравлической декомпрессии, смогли реализовать свой воровской план? Как у них ума хватило? Ведь они даже фамилий этих ученых сроду не слышали! А все благодаря гороху. В перестройку, чтобы с голоду не умереть, вся Шуква сидела на горохе. Правда, иногда по линии гуманитарной помощи еще давали килограмм фасоли. Но ели ее недоверчиво и без должного уважения.

У нас в Шукве День города и День гороха отмечаются всегда одновременно в определенную дату — на пятьдесят восьмой день после Пасхи. Накануне праздника грейдером ровняют центральную площадь



возле здания администрации, пятнадцатисуточники выкашивают вокруг бурьян, собирают бутылки и мусор. И вот — праздник!

Радостное возбуждение царит в воздухе! Женщины одеты в желтое и зеленое, у девушек на головах венки из гороха, из полевых цветов, на мужчинах поглаженные рубашки, интеллигентные люди в костюмах и галстуках. Стебельки гороха с цветами и листьями у кого в руках, у кого на лацкане пиджака, у кого за козырьком фуражки. Вокруг площади, как положено, полиция с автоматами.

Из репродуктора звучит гимн города — песня «Баба сеяла горох». Многие под музыку уже танцуют, встанут на носок, а потом на пятку, станут русского плясать, а потом вприсядку. Вскоре музыка смолкает и на дощатую сцену выходит мэр и говорит торжественную речь. На нем линялая футболка, в какой картошку копают, и рваные штаны, будто их собаки драли. Дыры на коленях, на ляжках, на заднице. Сквозь дыры проглядывает бледная кожа с редким волосом. Это что, мода такая? Или надеть ему нечего? В конце праздничной речи мэр предлагает собрать деньги на памятник Ермаку, который с вагагой шел через эти места покорять Сибирь. Деньги складывать в посылочный ящик возле сцены.

Народ безмолвствует и не делает ни шага к месту жертвоприношения. Слово невидимая нить, всех связывает одна мысль: разворуют. Может, лучше собрать деньги на штаны мэру? У себя ведь не украдешь... За предыдущие пятнадцать лет всех мэров нашего города прямо из кабинета уводили в тюрьму. Потому что в воровстве пределов не знали. Может, этот мэр не хочет за решетку? И кричит своей одеждой: я честный и бедный, не надо меня в тюрьму!

Как-то стоял я у магазина, сигаретки у прохожих стрелял. Идут мимо два крупных чиновника из областного министерства. Они приехали решать вопрос по строительству хоккейного корта.

Один другому говорит:

— Я бы этой Шукве копейки не дал! Ведь все разворуют, черти!

— Да... — отвечает другой. — И какой мутный город! Ни одно предприятие не работает, а каждая пятая машина на дороге — «лексус»!

И вспомнилась мне заметка в городской газете. Один молодой человек уехал из Шуквы жить в Австралию. А через шестнадцать лет приехал сюда навестить пожилых родителей. И что его поразило: половина города лежит в развалинах, дороги как после бомбежки, кругом репей и крапива в человеческий рост, работы никакой, но по улицам ездят такие крутые иномарки, каких он в благополучной Австралии в глаза не видел! Когда же ему сказали, что во многих семьях не по одной, а по две таких машины, он молча дохлебал из миски редьку с квасом и пошел покупать обратный билет в свою Австралию.

Такой вот город Шуква стоит у восточного подножия Уральских гор на берегу бывшего Западно-Сибирского моря. Город странный и непонятный. Такое вот чудо гороховое.

Владимир ЧАГИН

НИКОЛАЙ АУЭРБАХ: БЕГСТВО НА СЕВЕР

Предуведомление

Осенью 2017 года в Красноярске прошла международная конференция в честь 125-летия со дня рождения Николая Константиновича Ауэрбаха, выдающегося сибирского археолога, историка, педагога, организатора сибирской науки.

Самому же Ауэрбаху судьба отпустила всего лишь тридцать восемь лет жизни — очень мало! Но в эти годы, пришедшиеся на переломное время в российской истории, уложилось много чего.

Николай Константинович Ауэрбах — потомок старинного саксонского купеческого рода, один из представителей которого во второй половине XVIII века оказался в России. Звали его Яков Ауэрбах. Укоренившись на русской земле, родословное древо Ауэрбахов пустило ветви, образовав со временем вполне развесистую крону. Сын Якова — Андрей Яковлевич, провизор, приобретши по случаю в селе Кузнецово Тверской губернии небольшую фарфоро-фаянсовую фабрику, проявил себя хорошим организатором производства. С годами фабрика стала одним из крупнейших предприятий такого рода в России, в большом количестве изготавливала посуду, разнообразные фарфоровые и фаянсовые изделия.

Большой след в истории промышленного дела России оставил внук А. Я. Ауэрбаха Александр Андреевич Ауэрбах, горный инженер, управлявший Богословским горным округом, руководитель строительства Надеждинского завода на Урале, основатель первого в стране ртутного производства в Екатеринославской губернии. «Ртутный король России» — так называется посвященный ему рассказ Валентина Пикуля. У русского живописца Николая Ярошенко есть выразительный портрет А. А. Ауэрбаха, исполненный в 1892 году. Ныне он хранится в Туркменском музее изобразительного искусства. В свое время портрет был передан в Ашхабад вместе с другими картинами из музейных фондов Москвы и Ленинграда. Такой была в то время гуманитарная поддержка национальных окраин.

Другой внук А. Я. Ауэрбаха — Константин Иванович Ауэрбах — окончил горный институт в Санкт-Петербурге, работал на уральских заводах. В 1901 году он был приглашен в Красноярск возглавить горное училище. Открытия училища не состоялось, но К. И. Ауэрбаху предложили организовать в городе золотосплавочную лабораторию, что он и исполнил, и руководил этой



лабораторией до 1919 года. Таким образом в Красноярске «проросла» одна из ветвей древа Ауэрбахов, дав, в свою очередь, ростки и побеги. Николай, младший сын Константина Ивановича, окончил в Красноярске мужскую гимназию. Продолжил обучение в Москве — получил дипломы об окончании юридического факультета университета и археологического института. Вернулся в Красноярск, участвовал в Первой мировой войне в составе санитарного поезда, занимался археологическими раскопками на Афонтовой горе...

В общем-то, в последние годы о Н. К. Ауэрбахе написано немало. Различным аспектам его научной, педагогической, организаторской деятельности посвящены многочисленные публикации. И все-таки некоторые страницы жизни и деятельности Николая Константиновича остаются нераскрытыми.

Так, в середине 1920 года Ауэрбах, казалось бы, блестящий молодой ученый, будущий профессор и т. п. — вдруг уезжает на Крайний Север, на грубую физическую работу в суровых полевых условиях. Что стояло за этим, очевидно, непростым решением, что его сподвигло отправиться в Заполярье, где он прежде никогда не был? Ответ на этот вопрос дает сам Николай Константинович. Но прежде чем к нему обратиться, следует хотя бы коротко рассказать о жизни города Красноярска в 1920 году.

«Никто не знал, когда пробьет его час»

Случилось так, что в начале 1920 года я находился в сибирском городе Красноярске, раскинувшемся на величественных берегах Енисея. <...> Здесь, в глубоких сибирских снегах, меня и настиг промчавшийся надо всей Россией бешеный вихрь революции, который принес с собой в этот мирный богатый край ненависть, кровь и череду безнаказанных злодеяний. Никто не знал, когда пробьет его час. Люди жили одним днем и, выйдя утром из дома, не знали, вернутся ли еще под родную кровлю или их схватят прямо на улице и бросят в тюремные застенки так называемого Революционного Комитета, зловещей карикатуры на праведный суд, организации пострашнее судилищ средневековой Инквизиции.

Так начинается книга «И звери, и люди, и боги» Фердинанда Оссендовского, польского журналиста, писателя, писавшего, впрочем, и на русском языке. К сожалению, этими строками рассказ о Красноярске самого начала 1920 года в его книге практически и ограничивается. Далее Оссендовский, в 1919 году живший в Омске, печатавшийся в колчаковских газетах, состоявший на службе в правительстве Верховного правителя России, описывает в традициях приключенческого романа свое путешествие из Красноярска через сибирскую тайгу и Урянхайский край в Монголию.

В начале 1920 года, точнее к 7 января, колчаковская армия под Красноярском была разбита, и в городе, пребывавшем с 18 мая 1918-го под властью антибольшевистских сил, утвердилась советская власть.

... Должно быть, нечасто так бывает — прожить всю жизнь, от рождения, в родном городе, да еще и в своем собственном доме. Проходят годы, случаются эпохальные события, революции и войны, меняются картины бытия, моды, городской транспорт и проч., и лишь твое жилище, твой дом остается той самой «крепостью» в исторической круговерти.



Красноярский писатель Николай Волков, прославившийся в свое время милицейским детективом «Не дрогнет рука», родился, вырос и жил в такой «крепости» — собственном доме-усадебке, возведенном в самом центре города, на Стрелке, его отцом, известным красноярским агрономом В. Т. Волковым. В своих воспоминаниях «Обыкновенная жизнь в необыкновенное время», опубликованных лишь частично, Николай Волков пишет и о событиях 1919—1920 годов. Самому Волкову в ту пору было 15—16 лет. Вот небольшой отрывок из этих воспоминаний:

Шли последние месяцы 1919 года. Белая власть в Красноярске доживала свои последние дни, разваливаясь на глазах... Всем было очевидно, что конец колчаковщины близок, ведь Красная армия, прорвав фронт, неумолимо двигалась на восток, гоня перед собой терявшие последние остатки дисциплины и готовности к сопротивлению белогвардейские полки.

Волна спасающихся от наступающей Красной армии, верней от советской власти, гражданских лиц опередила бегущие войска. И днями и ночами, и на лошадях и на поездах стали прибывать в Красноярск беженцы. Понимая, что дальше бежать уже поздно, они рассасывались по городу, стремясь как-то незаметно укрыться здесь от неумолимо надвигавшейся грозы. Их брошенные лошади, голодные, истощенные, бродя табунами по городу, соскабливали с афишных тумб наслоения старых афиш, приклеенных клейстером.

Наш дом не избежал нашествия беглецов от «страшной» советской власти, которым было точно известно, что эта безбожная власть прежде всего национализирует всех молодых девушек и женщин, а в обеих прибывших к нам семьях насчитывалось в общей сложности целых семь девиц, не считая четырех парней. Главы этих семей были хотя и незнакомыми, но коллегами отца, так как служили в своих губерниях на той же должности, как и он. Мог ли он отказать им в убежище?..

Вслед за ними поздним вечером явился эффектный мужчина с густой проседью во вьющихся волосах. Он (по его словам) приехал прямо из Омска (!) на собственной лошади и представился нам как артист Мурский. Немного познакомившись, он добавил, что настоящая его фамилия Бурхард. Еще через некоторое время он разливался соловьем о том, что в Омске он играл главные роли, показывал костюм Годунова из превосходной парчи с парчовыми же сапогами и двумя настоящими бобровыми шапками. Наконец к часу ночи, напоследок, он рассказывал, что его отец известный владелец орденской и ювелирной мастерской, и в подтверждение своих слов распаковал чемодан и показал целую коллекцию русских орденов, самых настоящих, с пробамми, которые мой недоверчивый взгляд обнаружил на обороте каждого креста. Среди золотых с камнями безделушек меня заинтересовали только запонки с портретом его «любимой лошади», вправленным в лунный камень. Нехорошо быть не в меру подозрительным, но я, начитавшись приключенческих книг, не мог так просто поверить этому явившемуся к нам так внезапно незнакомцу, что все эти вещи принадлежат лично ему, но на всех футлярах и на коробке с набором орденов была вытеснена серебром фамилия и инициалы его отца...

На следующий день мама пошла на базар за съестным, взяв, как обычно в те дни, вместо денег тарелки и какие-то вазочки. Возвратилась она с какой-то мордастой и губастой девицей. Та шла по улице и ревела во весь голос о том, что погибает. Это была Лизутка Арбузова, поповская дочка из Глазова, тоже бежавшая неизвестно почему от надвигавшейся Красной армии.

Теперь может показаться странным, зачем все эти люди — старики и молодые, зачастую не чувствовавшие за собой никакой вины перед народом, бро-

силы свои насиженные гнезда, имущество и ударились в бегство, сулившее им только несчастье. Но гражданская война — страшная война, тут часто страдать приходится тем, кто ни в чем не виноват...

Между тем в городе произошел военный переворот. Восстали солдаты 18-го ж. д. батальона, к ним присоединились другие части. Власть взял вышедший из подполья большевистский комитет. Кровопролития не было, только арестовали кое-кого из военных, кто не успел сбежать на восток, как их высшее начальство.

Утром в сочельник мы проснулись от глухого уханья отдаленной пушечной пальбы. Молочница принесла известие, что под разъездом Бугач, то есть в нескольких верстах от Красноярска идет бой. Немного позже пришел испуганный событиями сосед и поделился известиями. Оказалось, что восставшие в Красноярске полки, под командованием красных, заняли оборону от Часовой горы до Николаевки, отобрали у ставших нейтральными поляков бронепоезд и теперь дают отпор отступающей Белой армии, стремящейся прорваться через город к мосту.

Еще позже пришли вести, что Красная армия, преследовавшая белых, догнала их, и белые, отбиваясь от нее, обходят город с севера.

Стрельба, и пушечная и ружейная, постепенно затихла.

Вечером, несмотря на инфлюэнцию (так тогда называли грипп), ломавшую меня уже дня три, я вышел на Большую. По ней сплошным потоком шли и ехали на заиндеветших лошадях люди в серых некрашенных полушубках и в заячьих папах, перехваченных кумачовыми лентами... Среди обывателей, вылезших, как тараканы из своих щелей, шли разговоры, что это идет Пятая армия, а другие говорили, что партизаны. Вероятно, тут были и те и другие, так как я видел не только настоящее военное снаряжение, но и самодельные пушки на санях, которые едва ли могли быть на вооружении регулярных войск...

Утром к нам пришли квартирьеры и заявили, что возьмут несколько комнат под военный постой, а у нас и так в доме творилось нечто невообразимое, т. к. только за последние дни население дома прибыло более чем на двадцать человек, а в нем и до того жило человек десять, однако с квартирьерами спорить не приходилось.

«Пришли квартирьеры и заявили» — да, наступало такое время, что с квартирьерами лучше было не спорить.

После сдачи под Красноярском колчаковских войск в плену оказалось более шестидесяти тысяч белогвардейцев, интервентов. Притом что город уже был переполнен беженцами. Спустя несколько дней после победы на Плацпарадной площади Красноярска состоялось захоронение в братской могиле бойцов, павших при освобождении города. Плацпарадную площадь переименовали в Красную. Впоследствии, спустя десятилетия, над могилой был сооружен монумент с мемориальной доской, зажжен вечный огонь. Пройдет еще десяток с лишним лет, и монумент тихо снесут — по той причине, что к очередному юбилею Октябрьской революции (в 1977 году) решено было на противоположной стороне площади возвести новый, лучше прежнего, мемориал. Лучше не вышло, но вечный огонь горит теперь на новом месте. А о том, что на старом месте под бетонными плитами и скамейками сквера сокрыта братская могила, теперь знают, может быть, только старожилы города...

Уже в январе 1920-го советская «метла» начала мести по-новому. Были национализированы все значительные предприятия, церковные здания. Закрыты

буржуазные газеты. Зато уже с 10 января начала выходить газета «Красноярский рабочий», печаталась она в национализированной типографии Кохановского. В январе были созданы губисполком, губкомхоз, губернский ревтрибунал, губотдел ГПУ, губпродком, губупрнарсвязь, губздрав и т. д.

Образовался и 1-й Красноярский концлагерь! Впрочем, несмотря на страшное название, структуру концлагеря составляли не бараки за колючей проволокой, а всяческие мастерские — сапожная, портновская, переплетная, слесарная, кузнечная и другие. Принимал концлагерь и заказы на перевозку разных грузов и ассенизационные работы. Рекламируя свою деятельность, концлагерь обещал «быстрое и аккуратное исполнение заказов». Размещался концлагерь на берегу Енисея в недостроенном здании краеведческого музея. Надо полагать, в мастерских в качестве работников использовались умельцы из числа пленных.

Началу советской истории Красноярска сопутствовали разруха, тиф, пришедший в город с лавиной беженцев, голод и холод. У победителей забот хватало: следовало неотложно выявить скрывавшихся колчаковцев, прочих сомнительных граждан, арестовать, предать суду и т. д.

1920 год. Красноярск: из сводки новостей

Объявление

Все общественные и кооперативные организации, а также учреждения бывшего правительства КОЛЧАКА, имеющие продукты питания и фуража, обязываются в трехдневный срок подать заявления в Енисейский Губернский Продовольственный Отдел о количестве имеющихся у них продуктов: хлеба в зерне, муки, овса, ячменя, сена, мяса, рыбы и масла.

Бродячие лошади

Комендантом города разрешено жителям города и окрестностей брать в полную собственность бродящих по городу и окрестностям лошадей.

Бегство начальника станции Красноярск

Скрылся начальник ст. Красноярск Пересыпкинский.

Пересыпкинский стоял во главе шайки, занимающейся вымогательством при отправлении грузов и багажа со ст. Красноярск. Пересыпкинский в короткое время нажил колоссальное состояние.

Задержание шайки грабителей

В Николаевской слободке, по Сопочной ул., в доме № 7, задержаны Алексей и Николай Федоровы и офицер Соболев. У хищников найдено закопанные в земле, в подполье, мануфактурного товара и др. ценных вещей на сумму до 200 т. рублей. В числе вещей найдено 2 двухствольных ружья.

Попы на работе

Около дома архиерея по распоряжению начальника городской милиции очистка тротуара от снега была произведена попами, жильцами дома совместно со сторожами. Необычайные работники привлекли толпу ребятишек, которые на разные лады комментировали «труженников».



Сыщик-истязатель на службе у «Свободной Сибири»

В настоящее время к бывшему помощнику начальника сыскного отделения уголовного розыска Храмцову предъявляется ряд тяжких обвинений за истязание арестованных. Как это выяснилось, этот достойный служака колчаковской власти одновременно состоял на службе у «Свободной Сибири». До последнего издыхания этой газеты, Храмцов, под псевдонимом «Виктора Вихрова» помещал статьи по политическим вопросам. Таким образом Храмцов в одно и то же время служил и сыску с его истязаниями арестованных, и кадетской «прогрессивной» «Свободной Сибири».

Перепись населения

В ближайшие дни Губпродкомом предполагается произвести однодневную перепись населения г. Красноярск. Подготовительные работы, печатание карточек идет уже к концу. После производства переписи Губпродкомом будут выданы новые продовольственные карточки.

За пьянство

Рассмотрев дело по обвинению сотрудника особого отряда Житяйкина в пьянстве, бесцельной стрельбе и поощрении проституции, признав Житяйкина виновным, суд приговорил обвиняемого Житяйкина Григория к тюремному заключению, с применением общественных принудительных работ, сроком на восемь лет.

На рынке

Подвоза муки, печеного хлеба и дров очень мало. Цены поднялись. Мука пшеничная 220—250 р., ржаная 150 р., хлеб черный булка, 5 фун. — 40 р., молоко до 150 р. за четверть, масло 80 р., яйца 100 р. за десяток, картофель 20 р. за ведро. У торговцев — чай Чистякова — 50 р. Караван и Высоцкий — 60 р. ф., сигареты 20 руб. пачка. Сахар, масло с рынка окончательно исчезли. Заметна убыль всех товаров.

Уборка конских трупов

С понедельника, 16 февраля, особая комиссия по очистке г. Красноярск от конских трупов начала их вывозку. Работа производится за счет Коммунохоза при помощи наемного труда. Комиссия предполагает, что всего в городе окажется до 31/2 тысяч трупов, которые необходимо, в целях санитарии, вывезти до начала оттепелей.

В Белом доме в эпоху перемен

В начале 1920-го Николаю Ауэрбаху было 28 лет. В предшествующие два года он состоял сотрудником Музея Приенисейского края, держал связь с Красноярским подотделом Русского географического общества и с газетой «Свободная Сибирь», проводил археологические исследования в окрестностях Красноярск, читал лекции по археологии... Теперь же Николай Ауэрбах не имел какой-либо постоянной работы, жил в доме бывшей золотосплавочной лаборатории в семье, в которую кроме него самого входили: отец Константин Иванович, в прежней, дореволюционной, жизни руководивший лабораторией, его сестра Анна Ивановна, старший брат Николая Иван, Катенька и ее дочь Марфинька, много лет жившие в семье Константина Ивановича на положении

родственников. Супруга Константина Ивановича Елизавета Петровна, мать Николая и Ивана, умерла в 1917 году.

В доме золотосплавочной лаборатории жили и другие люди: Лина, Серж, Галинка, Люба...

Чтобы как-то выжить в это непростое время, население дома образовало трудовую коммуну. О ней Николай Ауэрбах писал так: «6 мужчин в возрасте от 15 до 39 лет и одна молодая женщина 23 лет сорганизовали с. х. производительную артель. Из этих 7 человек — 2 были опытные огородники, остальные понимали в сельском хозяйстве очень немного или совсем ничего не понимали. К числу последних принадлежит и автор этих записок».

Записки — «Дневник интеллигента» — Н. А. вел в феврале 1920-го. О том, что побудило взяться за «Дневник», Н. А. указал в его начале:

Бывают сказки разные, но из всех сказок лучшая — сказка жизни. Этот дневник — такая сказка. Она искренна и проста, а это самое красивое, что я знаю.

Я буду рассказывать о переживаниях интеллигента, который твердо решил заняться физическим трудом. Этот труд для него раньше был малознаком.

Почему пришлось переменить интеллигенту род своих занятий — я скажу потом. Многое мне придется разъяснить в будущем.

Фрагменты «Дневника» публикуются впервые, как и отрывки из писем Ауэрбаха. И «Дневник», и письма написаны карандашом — обычный и пространственный в то время способ предания мысли бумаге.

Но письма к тому же — копии оригиналов, выполненные под копирку, черную или синюю. Оттого-то тексты их и поистерлись, потускнели. Да и почерк Н. А. оставлял желать лучшего, и зачастую отдельные строки или слова прочитываются с огромным трудом, а некоторые так и остались нерасшифрованными.

В записях от 14—18 февраля Ауэрбах сообщает:

Наша артель окончательно берет в пользование садоводство Верецагина. Это маленький клочок земли с четырьмя оранжереями. Садоводство на полном ходу. Не имея ни копейки денег, мы получаем право работать на этом участке и употреблять весь инвентарь... Это садоводство было мне знакомо с детства. Еще гимназистом я с особенным наслаждением запускал в соседний двор плоский камушек и слушал глухой треск стекла. Студентом, в период увлечения футболом, тренируясь на заднем дворе, я не один раз перекидывал мяч через забор... С утра Серж — младший член нашей артели — и я мыли стекла для парниковых рам. Из дома привезли горячей воды. На земляном полу оранжереи поставили два ящика для стекол и ведро с горячей водой. Терли тряпками грязные стекла в ведре, потом ополаскивали в баке с чистой водой и ставили в чистый ящик... Большой вопрос денежный. Откуда взять деньги? Приезжал А. А., просил хоть немного за аренду, вернее за пользование инвентарем. Я отнес Лине на продажу кое-какие вещи... Как-нибудь обернемся. У А. А. участок за городом национализируют — теперь он просит его взять, а в первый раз, как мы к нему приезжали, — он отказывался и наоборот обрадовался, что мы ухватились за городской участок.

Андрей Андреевич Верецагин родился в городе Козлове в дворянской семье, окончил Московский университет, получил степень кандидата права.



В Красноярске в предреволюционные годы служил председателем окружного суда. Был женат на сестре С. В. Востротина, известного енисейского общественного деятеля, бывшего городским головой Енисейска и дважды — депутатом Государственной думы. На Плотбище (ныне это местность поселка Удачный) у него был большой сад с плодовым питомником, что и не удивительно для уроженца Козлова, где занимался садоводством сам И. В. Мичурин. В Красноярске на своей усадьбе, по соседству с золотосплавочной лабораторией, Верещагин тоже разбил сад. В книге Нелли Лалетиной «Яблочный спас» о нем говорится так: «Известно также, что при доме А. А. Верещагина в Красноярске, на улице Гостинской, неподалеку от усадьбы доктора Вл. М. Крутовского был большой сад с цветниками, декоративными и плодовыми деревьями и кустарниками». Судьба А. А. Верещагина сложилась трагично. В 1920 году его арестовала ЧК, но спустя полгода выпустила. В 1937-м он был арестован вновь, обвинен в участии в контрреволюционном заговоре и спустя неделю расстрелян. Реабилитирован в мае 1957 года.

Большой дом, вместивший семью Ауэрбахов и довольно много других людей, Николай Ауэрбах по неведомой причине называл Белым домом. О работе артельщиков речь еще пойдет впереди. Но следует коснуться и некоторых других обстоятельств жизни жильцов этого дома.

Время от времени выпускался «Бумеранг», пишет Ауэрбах, — самодельный «журнал Белого дома, фактическим редактором которого является Люба, номинальным я. Журнал читали вслух».

И еще из «Дневника интеллигента»:

В душе все ликовало, я восстанавливал мельчайшие детали вчерашнего вечера. Вчера, после больших колебаний, я решился сказать Любе, что я ее люблю.

Вышло это так просто. Все наши уже легли спать — мы по обыкновению сидели вдвоем в ее комнате. Усталый я лежал на ее кровати. Она сидела на маленьком кресле у стола в своем ярком платке, таком ярком, что если бы я увидел его на ком-нибудь другом — я бы сказал «как не эстетично». Но на Любе этот платок мне нравится...

Итак, она звалась Любой...

Я хочу, чтобы Люба была моей женой, а не только гражданской...

Катенька вчера остановила меня на кухне: «Люб. Ив. говорила, что если бы она была свободна — она бы вышла за тебя замуж. Ты только об этом никому не говори».

Я улыбаюсь. «А ты как смотришь?» — «Я-то? Конечно, женись... Хорошо как будет». Катенькино благословение получено, и это нелегко. Интересно бы знать, как относятся к нам с Любой остальные члены нашей семьи. Тетка Анна примирилась, мне кажется, с мыслью, что Люба и я близки друг другу, она сомневается, насколько мы будем счастливы, считая Любу для меня старой и в то же время думает, что Люба уедет, и все будет между нами кончено...

Немного позже: «Люба сказала сегодня, что она не может за меня выйти замуж, потому что она не свободна».

Приводить эти строки приходится, прежде всего, потому, что для дальнейшего повествования совершенно необходимо знать, что это за Люба и какое место она занимала в жизни Николая Ауэрбаха. Ведь все его письма, написанные до отъезда на Север, выдержки из которых (по сохранившимся копиям) будут приводиться, адресованы ей.

Любовь Ивановна Эльснер — таково ее полное имя. Но Эльснер — фамилия по отцу. Из отрывочных сведений можно заключить, что родители Любы жили в Уфе, с ними же жила ее дочь Кира. Как Люба оказалась в Красноярске, в Белом доме — неизвестно. Может быть, она попала в город с волной беженцев? Где ее муж? О нем никаких сведений нет...

Вскоре Люба уедет к родителям и дочери, в город Троицк Оренбургской губернии, куда переберется с семьей ее отец И. П. Эльснер, назначенный агентом по снабжению в Управление постройки железнодорожной линии Троицк — Орск.

Вероятно, Люба уедет из Красноярска в 20-х числах февраля. «Дневник», возможно по причине этого отъезда, обрывается на 20 февраля. А уже первое письмо Николая Ауэрбаха Любе датировано 24 февраля.

В самом конце «Дневника» есть фраза, которая требует особого внимания: «У Ф. мне сказала М. А., что Ф. Ф. предается суду Р. Т. Значит скоро...»

Ф. — это Филимоновы, Ф. Ф. — Федор Федорович, М. А. — его супруга Марианита (к сожалению, отчество неизвестно), Р. Т. — это, конечно, революционный трибунал.

...Не произноси всуе имя дьявола, дабы не навлечь беды. Так можно понять наивную попытку Николая Ауэрбаха уклониться от называния полного именованья чрезвычайного органа, ставшего синонимом скорого суда, не знающего пощады.

В «Свободной Сибири»

«Чем вы занимались до 1920 года?» — мог бы прозвучать сакраментальный вопрос из анкеты сталинской эпохи.

В автобиографии, написанной в 1926 году, 1919 год Николай Ауэрбах вообще никак не упоминает. Сообщает лишь, что работал «с 1918 по 1920 г. в качестве сотрудника Музея Приенисейского края». А что же «Свободная Сибирь» — «газета политическая, экономическая и литературная»? Ведь с этой газетой Ауэрбах довольно активно сотрудничал в 1919 году и ранее. Но никогда, ни в автобиографии, ни в каких-либо публикациях, он не упоминал о ней. Материалы, напечатанные в «Свободной Сибири», он подписывал только инициалами — Н. А.

«Свободная Сибирь» выходила в Красноярске в период с 1917 по 1919 год. Издавалась на деньги красноярской организацией кадетов, отдельных представителей купечества. Редактировал газету Федор Федорович Филимонов.

Филимонов был адвокатом, но известность получил как поэт сатирического направления и журналист. В Красноярск он приехал с Урала, где жил в Екатеринбурге, Тюмени, возможно, и в Ишиме, Красноуфимске, Ирбите. Родиной его был город Камышлов.

Один из известных псевдонимов Филимонова — «Гейне из Ирбита», что опять же указывает на сатирическую направленность его произведений. В 1906 году он издавал в Красноярске журнал «Фонарь», имевший девиз «В борьбе обретешь ты фонарь свой». Фонарь здесь — некий «луч света в царстве тьмы». Ну и еще прямая переключка с эсеровским лозунгом «В борьбе обретешь ты право свое». «Фонарь» был, кажется, единственным красноярским журналом во всей российской сатирической периодике эпохи 1905—1907 годов. Продержался он до девятого номера — вполне неплохо, если учесть, что иные «Бичи», «Скорпионы» или «Злые духи» закрывались уже после одного-двух номеров. Журнал очень редкий, его не было даже у знаменитого библиофила Ник. Смирнова-Сокольского в его большой коллекции сатирических журналов периода первой русской революции. В редком фонде Красноярской краевой научной библиотеки полный комплект этого журнала есть: он был подарен Николаем Ауэрбахом краевому музею, откуда затем и перешел в краевую библиотеку.

В «Свободной Сибири» от Филимонова («Дедушки Фаддея») доставалось всем по очереди: губернским властям, Керенскому («великий болтун земли русской»), социалистам, Колчаку... Последними в политическом калейдоскопе были большевики, им, пожалуй, и досталось больше всех.

Вот небольшой фрагмент из фельетона Дедушки Фаддея (февраль 1918-го):

Красноярск — это поставщик министров и других правителей.
 Теодорович — наш,
 Шлихтер — наш,
 Красиков — наш, Каменев — наш.
 Ленин — сам Ленин, сам великий Ленин и тот довольно долгое время жил в Минусинске и Красноярске.
 Значит и Ленин почти — наш.
 Скажем лучше прямо: Ленин наш!
 Итак, не будь Красноярска, этого революционного из революционнейших городов федеративной российской республики — может быть, не было бы ничего.
 Не было б и самой республики.

И еще фельетон Дедушки Фаддея «Юбилей смерти» (с небольшим сокращением), напечатанный в «Свободной Сибири» в августе 1919-го:

Сегодня — юбилей.
 Ровно два года тому назад правителем России сделался plombированный Ленин «со товарищи».
 И тогда началось...
 Началось уничтожение всего, что только возможно было уничтожить.
 Заревом пожаров осветилось небо несчастной России...
 ...Сегодня — юбилей.
 Юбилей ужасов и страданий.
 Юбилей крови и смерти...
 Юбилей — страшной, неслыханной лжи...
 И в этот «торжественный день» совдепии — невольно вспоминается мне знаменитая картина Верещагина.
 Кругом пустыня...
 И среди пустыни зловец возвышается огромная пирамида из черепов.

И вокруг нее стаями кружатся и каркают вороны...

Это — «Апофеоз войны».

И если бы явился новый великий художник, и если б он проникновенными очами взглянул на безбрежные пустыни России — какую другую картину мог бы нарисовать он?..

Кругом пустыня...

И среди пустыни зловец возвышается огромная пирамида из черепов...

И вокруг нее стаями кружатся и каркают вороны.

Это — «итоги величайшей лжи».

Это — «апофеоз кровавого царства совдепии».

В начале января 1920-го, с приходом к власти в Красноярске большевиков, «Свободная Сибирь», разумеется, была закрыта, а редактор газеты Филимонов арестован. Правда, в застенках он пробыл недолго — в конце февраля его освободили.

Списка сотрудников «Свободной Сибири» нет. Но по публикациям в газете можно составить хотя бы краткий их перечень. Помимо Филимонова (Дедушка Фаддей, Ф., Ф. Ф.) свои статьи, заметки печатали люди в городе известные, достойные: Вс. А. Смирнов, Вс. М. Крутовский, Д. Е. Лаппо, П. И. Кусков, П. Н. Коновалов, Александр Олониченко, некто Novus (статья «Тасеевский мятеж») и некто Obscurus (корреспонденция из Енисейска). На страницах газеты можно найти материалы Вяч. Храмцова, в качестве специального корреспондента газеты побывавшего в Иркутске и описавшего события декабря 1917 года, когда большевики силой оружия взялись устанавливать свою власть в городе. Названия корреспонденций — «Кровавые дни в Иркутске», «Иркутская бойня» — говорят сами за себя. Еще одна обстоятельная публикация Храмцова (под псевдонимом Вик. Вих.) — «Ликвидация разбойничьих шаек» — своего рода обзор наиболее важных уголовных дел, раскрытых Красноярским сыскным отделением милиции, начиная от «в свое время нашумевшего ограбления Красноярской почтово-телеграфной конторы на 1 010 000 рублей» и до «убийства аптекаря Басиля, кассира Бадурова, ограбления паровой кассы на 60 тыс. руб.».

Храмцов пишет: «Сыскное отделение и Народная милиция все время должны, вследствие отсутствия специальных органов политического розыска, отвлекаться для работы не по своей специальности». «Не по специальности» — это, наверное, о розыске, аресте политических противников государственной власти, власти Верховного правителя — большевиков. Неудивительно, что Храмцова, помощника начальника сыскного отделения, а по совместительству сотрудника кадетской «Свободной Сибири», большевистская власть в начале 1920 года немедленно разыскала и арестовала. К сожалению, о судьбе Вячеслава Храмцова и сказать-то больше нечего. Ничего о нем неизвестно, а жаль.

Среди авторов «Свободной Сибири» есть и некто, подписывавшийся инициалами Н. А. Красноярские исследователи жизни и деятельности Николая Ауэрбаха давно уже догадались, что эти публикации принадлежат именно ему. В их числе — заметки на различные культурные темы («На выставке», «О библиотеке Юдина», «Педагогический музей» и др.), библиографические отклики на новые книги.

Одна из таких книг — брошюра А. А. Сотникова «К вопросу об эксплуатации Норильского (Дудинского) месторождения каменного угля и медной руды»,

изданная в Томске в 1919 году. Ее автором был Александр Сотников, сын известного в Туруханском крае купца-предпринимателя. К 1919 году Сотников успел побывать студентом геологического отделения Томского технологического института и организовать на свои средства экспедицию, обследовавшую в Норильских горах месторождения угля и руды. Призванный в армию, Сотников окончил военное училище в Иркутске, служил в Красноярском казачьем дивизионе, был избран казачьим атаманом. В течение 1917 и 1918 годов в Енисейской губернии происходили драматические события, в которых он принимал самое деятельное участие. Сотников занимался мобилизацией казаков в Белую армию, но в конце концов, как пишет историк А. П. Шекшеев, «расстался с военной службой и атаманством: проходивший в Минусинске V Большой круг Енисейского казачьего войска, поблагодарив Сотникова за труды и пожелав ему плодотворной деятельности на поприще повышения благосостояния Сибири, принял его отставку как атамана». Летом 1919 года Сотников участвовал в экспедиции Сибгеолкома*, обследовавшей Норильские месторождения угля и полезных металлов. В следующем, 1920-м, он должен был стать участником новых поисков Сибгеолкома в районе Норильска (в которых, скажем, забегая вперед, принял участие Николай Ауэрбах). Но в феврале 1920-го Сотников был арестован, а в мае, по решению красноярской ГубЧК, расстрелян — всего за несколько дней до того, как на Север отправилась экспедиция Сибгеолкома...

Но перу Н. А. — Николая Ауэрбаха — принадлежали не только заметки библиографические или на темы местной культуры. Были публикации и более острые. Так, в октябре-ноябре 1919 года «Свободная Сибирь» напечатала серию статей Н. А. «На Щетинкинском фронте» — о противостоянии белых с партизанской армией П. Е. Щетинкина на юге Енисейской губернии. Вот несколько фрагментов из этих статей:

Тальский полк «красных орлов» пытался переправиться через Енисей верстах в 80 выше Минусинска. Налетели на наших казаков. Те их и потрепали...

Отличились хакасы. Их сотня много поработала в этом бою. Один инородец убил трех красных и три «пинтовки» надел на себя.

«Мои “пинтовки”, никому не отдам. Трех бандов убил».

Они красных зовут бандами. Появится красный — один банд, два — два банда.

Кругом — ликование. Казаки — герои дня. Шапки набекрень — «знай, как мы красных кроем».

С обстановкой, в которой шла борьба казаков с красными, приехали ознакомиться атаман Енисейского казачьего войска В. Л. Попов, его помощник А. П. Кузнецов и член войскового правления А. Г. Шахматов. Также они должны были принять участие в совещании хакасских общественных деятелей в улусе Чаркова.

* Сибгеолком — Сибирский геологический комитет, учрежденный в октябре 1918 г. в Томске по инициативе профессора Томского технологического института Павла Павловича Гудкова, уроженца Красноярска, сына красноярского золотопромышленника, городского головы. В конце 1919 г. ему, одному из членов Сибирского Временного правительства, пришлось покинуть Томск и уехать во Владивосток. В 1921 г. Гудков покидает и Россию. В США Гудков становится одним из крупнейших геологов-нефтяников страны, членом нескольких академий и т. д. Умер Гудков в 1955 г. в Лос-Анджелесе, где и похоронен. В России в честь П. П. Гудкова в главном корпусе Томского политехнического университета установлена мемориальная доска.



Николай Ауэрбах, находившийся в Минусинском уезде в качестве, должно быть, специального корреспондента газеты*, пишет: «Меня заинтересовало это совещание, и я попросил разрешения атамана ехать вместе с ним». И далее: «Собрание единогласно решает принять участие в строительстве государства Российского с оружием в руках... Собравшиеся представители, разъехавшись по своим улусам, взяли на себя обязанность разъяснить свои братьям-хакасам необходимость для них защиты своей земли от красных...»

В завершение Ауэрбах упоминает село Новоселово. Вероятно, здесь он

провел несколько дней в одной квартире с учителями-дружинниками. Все они были глубоко «штатскими» людьми и по своему внешнему виду и по своей психике и как-то чудовищно непонятным казалась винтовка в их руках и граната у пояса, с ее шоколадно-шашкообразной поверхностью.

Для них борьба с красными — категорический императив. Для них власть нынешних самодержцев юга Минусинского уезда — безусловное зло, которое надо свести на нет, а это возможно только силой оружия... Поступить иначе они не могли. Они противопоставили ради защиты культуры и справедливости силе — силу... Я видел вокруг определенно крупную работу местной интеллигенции, понявшей, что красные несут с собой народное бедствие...

Симпатии Николая Ауэрбаха на стороне белых — защитников культуры и справедливости, при этом сам тон его публикаций спокойный, выдержанный, как бы несколько отстраненный, взгляд со стороны, над схваткой, взгляд постороннего.

Кто вышел победителем в битве белых и красных на «Щетинкинском фронте» — хорошо известно. Войсковой атаман В. Л. Попов был взят красными в плен. В 1920—1921 годах он якобы служил в РККА при помощнике главного командующего по Сибири. Дальнейшая его судьба неизвестна.

«Теперь держись!»

В январе 1920-го, точнее 28 января, как указано на обложке, в Красноярске появился первый (кажется, и единственный) номер еженедельного сатирического журнала «Красный бич», издания народного образования при Губревкоме. В журнале 16 страниц: стихи, рассказы, иллюстрации-карикатуры, причем и на цветной вкладке. Авторы всей этой сатирической феерии — Нездешний, Пика, Дядя Ваня и др. Редактор литературной части — Циглер. Фамилия из немецких (кирпичник — в переводе на русский), кто знает, может быть, и это псевдоним. Удивляет, с какой быстротой был подготовлен, сработан, отпечатан этот журнал. Даже местом его печати указана типолитография М. Кохановского, притом что с переменой власти она сразу же была национализирована. Авторы журнала, пребывая в эйфории от победы над белыми, глумятся над Колчаком, местными богатеями, застигнутыми врасплох. Своего

* В монографии Н. П. Макарова и А. С. Вдовина «Археология в Красноярском краевом краеведческом музее. 125 лет истории» приводятся сведения о том, что Н. К. Ауэрбах в 1919 г. являлся сотрудником Енисейского губернского отделения Русского общества печатного дела и Енисейского просветительного издательства. И по поручению этих издательств «выезжал в партизанские районы на Минусинский фронт во главе специально оборудованной полевой типографии, выпускал и распространял белогвардейские листовки и газеты среди крестьян». К сожалению, такие листовки и газеты неизвестны.

рода манифест журнала выражен в стихке «От редакции», где есть такие многообещающие строки:

Все толстокожие, вампиры,
 Купцы, буржуи, кулаки,
 Имперьялисты и банкиры,
 Теперь держись!..

Да уж, теперь держись...

Николай Ауэрбах не был ни купцом, ни буржуем, ни банкиром, ни, само собой, «имперьялистом». Но он оставался автором публикаций в кадетской газете «Свободная Сибирь», незамедлительно закрытой установившейся советской властью.

В первой половине января 1920 года была сформирована енисейская губернская Чека, призванная вести борьбу с противниками советской власти, а в их число попадали и простые обыватели без всяких на то оснований.

«Вскоре чекистская тюрьма стала загружаться участниками “заговоров”, членами “контрреволюционных организаций” и людьми, которые арестовывались целыми семьями по доносам и для сведения личных счетов, — пишет А. П. Шекшеев. — Численность арестованных в марте — мае 1920 года выросла с 117 до 644 человек. Многие из задержанных находились в заключении без предъявления обвинения. Допросы арестованных велись с пристрастием и угрозами. Приговоры к смертной казни, по мнению даже самих чекистов, были излишне суровыми и безосновательными». Так, в Красноярске в марте — мае 1920-го чекистами было расстреляно более трехсот человек.

В чекистскую тюрьму был заключен, как уже говорилось, и Федор Федорович Филимонов, литератор, редактор «Свободной Сибири». С ним Ауэрбаха связывали дружеские, близкие отношения, а арест Филимонова давал повод примерить его судьбу и на себя. Но вот, пишет Николай Ауэрбах в письме Любе:

У меня радостная неожиданность. Освободили Федора Федоровича. Ты знаешь, что я его люблю, и поймешь мою радость. К ней примешивается кроме того и эгоистическое чувство... Мое положение становится более прочным... (1.03.1920)

И в продолжение этой робкой надежды — из другого письма:

И может быть Ангел Смерти пролетит мимо меня, бесшумно двигая своими черными крыльями...

Возможно, и в самом деле не все так страшно? Ну, подержали какое-то время в застенках литератора да и отпустили. Не вооруженную же борьбу против советской власти вел Федор Федорович. Но знающие люди не были столь наивны:

Вчера мне был дан добрый совет покинуть сперва на короткое время город. И вчера же вечером с котомкой за плечами я вышел из дома вверх по Енисею.

Я один — в маленькой хижине среди леса. Хозяин моего обиталища уехал в деревню за сеном. Кругом — никого. Только большая злая собака с остер-

венением лает, привязанная на веревке... В домике всего одна комната. Чистенькая, уютная, имеется русская печь и железная. Вчера я сварил себе суп из принесенного мяса на железной печке. Суп вышел вполне съедобным. Сейчас — утро. Точно времени я не могу сказать, потому что часов нет со мной. В окно мне виден Енисей и горы левого берега... (9.03.1920)

В домике на берегу Енисея Николай Ауэрбах пробыл недолго, вскоре вернулся домой. А к концу месяца стало известно о том, что произошло с Филимоновым, которого вновь арестовали чекисты. Ауэрбах пишет Любе:

...Он такой старик, такой талантливый, и я так любил его. Почему его? Почему не меня? Может быть, на мне лежит часть ответственности за его смерть? Ты вообрази весь ужас этой потери. Единственного человека, к которому я привязался, которого душевно выбрал из всего Кр-ска — его уже нет.

Я тебе признаюсь — всю ночь сегодня проплакал как ребенок, но никому не сказал. Только после обеда сказал тетке — все равно она узнает от других. Когда он был случайно выпущен на неделю и числа 15-го видел его в последний раз — я чувствовал, что вижу его в последний раз. Как тяжело иногда чувствовать то, что непонятно другим, и как несправедлива порой бывает Жизнь.

Зная немного меня, ты представишь Енисей бурлящих мыслей, который проносится в моем мозгу в эту печальную ночь... (31.03.1920)

И еще о Филимонове в одном из последующих писем:

Темная, звездная ночь. Холодно. Енисей мрачен. Енисей все еще скован. Он принял в себя и скрыл тело Ф. Ф.

Я узнал подробности его смерти... Красивая смерть большого человека... Если бы и мне суметь так умереть!

«Убивайте, я не боюсь ни вас, ни смерти...» были его последние слова, спокойно сказанные. Рядом плакали военные, просили, умоляли... А старик, не обидевший никого за всю свою жизнь, никого даже пальцем не тронувший, как древний мудрец ушел в другой мир. Бодрый и твердый. Те, кто остался жив из присутствовавших при этой сцене, рассказывали про свои впечатления, свои чувства. Им было стыдно за себя.

Многое, что еще было захватывающего, прекрасного в последних днях старика, но, ты поймешь меня, что пока писать об этом я не могу. (10.04.1920)

В своих письмах Николай Ауэрбах еще не раз упоминал Филимонова, но, к сожалению, без каких-либо подробностей о последних часах его жизни.

Полоса мести, которая нашла на Кр-ск и выразилась в том, что Енисей принял останки Ф. Ф. и многих других, все усиливалась и усиливалась... Кое-кто из тех, с кем я был связан Прошлым, находятся там, в том же учреждении, где был Ф. Ф. Говоря проще — $\frac{1}{2}$ нет в живых, а в таком положении, как я, остался только еще один. Троице предстоит участь Ф. Ф. Я — хожу под Богом. Рассказать тебе обо всем, конечно, трудно. По-видимому, кто-то Высший пока заботится обо мне... (1.05.1930)

Кто эти «еще один» и «трое» — можно только предполагать. Наверняка в их число входил Вячеслав Храмцов, печатавшийся в «Свободной Сибири» под псевдонимом Виктор Вихров.

С каждым днем атмосфера у нас в городе сгущается... Ползут отовсюду кровавые слухи, жуткие... И в этих слухах много правды...

Я нигде не бываю, но все же иногда встречаю старых знакомых, встречаю и наблюдаю, как суживаются постепенно их интересы. Все сводится к куску хлеба. Идет ужасная борьба за существование. ...Цены растут неимоверно. Фунт хлеба у нас уже 75 руб., четверть молока — 200, масла совсем нет. А интеллигенция всюду получает гроши — вот тебе и драма куска черного хлеба. И мои интересы тоже уменьшились, кажется, я готов быть довольным тем, что иду в ненастный день в господний двор перекидывать навоз для парников. Я могу этим заниматься целый день, и больше пока мне ничего не надо. Покоя, призрачного, но все же покоя. (31.03.1920)

Вот еще свидетельство о Красноярске начала 1920 года — из воспоминаний писателя Николая Волкова, уже цитировавшихся выше:

В бывшем доме Савельева (трехэтажный дом купца И. Т. Савельева находился в переулке Садовом, ныне ул. Диктатуры пролетариата; дом сохранился, перестроен, надстроен и по традиции принадлежит ФСБ. — В. Ч.), где находилась ЧК и в подвале которого сидел бывший хозяин дома, работа шла круглые сутки. По ночам у них во дворе не затихал шум мотора. Люди, проходя, поживались от страха. В памяти у многих мелькало: «Не знаешь ни дня, ни часа, егда придет Сын Человеческий...»

Один из моих товарищей по школе и гимназии, Валька Замощин, сын казненного белыми комиссара финансов, стал следователем Губчека. В городе продолжались аресты и расстрелы. У нас в доме арестовали артиста Мурского. Пришли ночью двое в черных кожаных костюмах, запечатали шкаф с его вещами, чемоданы, а ему предложили следовать за ними. Помню, с каким отчаянием он смотрел на нас, прощаясь, наверное, не чаял, что увидимся.

Как пишет далее Николай Волков, меньше чем через месяц Мурский вернулся, «но в ужасном виде: истощенный, небритый, весь в синяках».

Между тем в городе худо-бедно устраивалась — в старых стенах, но на советских началах — новая жизнь. Была создана местная организация комсомола. Открылся рабочий клуб им. Карла Либкнехта, «Карлуша», как его будут долгое время любовно именовать. Клуб им. Розы Люксембург тоже был открыт — для иностранных красноармейцев. В Красноярске и губернии на основании декрета СНК был введен новый отсчет времени по международной системе часовых поясов (Ауэрбах пишет: «Уже 11 часов по-советски, по-настоящему 8»). Наряду с советскими учреждениями «работала» церковь. Конфессиональные здания были национализированы, но переданы в пользование верующим. Крушение церквей, сбрасывание колоколов и т. д. еще впереди.

Кстати, ни в одном из писем Николая Ауэрбаха не упоминаются, хотя бы вскользь, продуктовые карточки, по которым в городе распределялись продукты питания, — своего рода атрибуты и символы труднейших времен, переживаемых страной. Вероятно, кто-то из обитателей Белого дома их получал, но карточки карточками, а нужно было еще и деньги зарабатывать. И в теплице выращивались не только овощи, но и цветы, на их продаже тоже пытались заработать.

Канун Пасхи и тяжелейший день в артели. Если сегодня мы не сумеем продать наш «товар», то цветы останутся... и отцветут. Мобилизована вся артель...

В артели произошла переоценка ценностей и резко наметились два течения: Польское — в лице хозяина Даната и Стрижевского и другое — всех остальных. Последнее сильнее, многочисленное и объединяется вокруг двух братьев. Ваня сумел показать себя хорошим приказчиком, обходительным с женщинами. За «прилавком» он в своей тарелке. Паны же показали себя невоспитанными с покупателями. Они были отставлены от продажи, и продавали братья. Остальные завертывали и восхищенно смотрели на реку бумажек, льющуюся в кассу артели. Деньги у меня. Отчетность постоянно ведется по всем правилам финанс. статист. учета. И к вечеру, когда кончается 14-ти часовой рабочий день, выяснилось, что все дело наше очистилось от долгов.

Я считаю, что в этом артель обязана, главным образом, Ване, и очень рад, что он сегодня днем поднял свой авторитет у членов артели. Наверное, несколько грустный вид был у меня в качестве кассира и продавца. Дистанция огромного размера от профессии, которой я занимался, до простого торгаша. Но время меняется, и меняются люди и их интерес. Неужели стал душою торгаш?

Первоприближенный потащил меня к заутрене. Идти мне не хотелось. Не было пасхального настроения. Раньше я так реально представлял момент Воскресения, великий момент величайшей мистерии христианства. История страданий Христа — самое красивое, что было в человеческом страдании. И я когда-то понимал полнее смысл слов «смертью смерть поправ». Теперь же этот смысл потерян. Я стоял на паперти Благовещенья и смотрел равнодушно, как толпится народ, я узнавал среди толпящихся наших покупателей. Вот идет левкой, вот 4 тыс <ячная> корзина.

...Страшные, не пасхальные мысли. У входа в ярко-красных одеяниях человек 8 священнослужителей. Какие неинтеллигентные, упитанные лица... Один священник больше похож на католического аббата, чем на православного попа. Он закатывал глаза при каждом возгласе и тщательнейше вытирал потные руки белым платком. Духовная сторона служб далека от всех этих людей. Осталась одна карма, культ, религии нет. Они не переживают то, что поют, то, что говорят. И я чувствую это...

«Христос воскрес...» Горят свечи в руках молящихся, тысячи огней... А у кого свеча горит в душе? Какие грустные мысли... Радости нет... Нет и праздника. (10.04.1920)

Еще строки из писем:

Сегодня я страшно устал, дорогая Лю, устал потому, что в первый раз в жизни пахал. Нео-пахарю трудно: и лошадь не идет, и плуг забирает землю не там, где нужно...

Но потом все, конечно, образуется, и из меня выработается хороший земледелец.

В артели все, слава богу, хорошо. На Страстной мы получили первую редиску. Сейчас цветут огурцы. <...> Деньги, которые мы должны Верещагину, мы уже вернули... Но жить становится с каждым днем все труднее и труднее. Крестьяне на деньги ничего не желают продавать. Живем тем, что запасено, но запасы близятся к концу... (21.04.1920)

Я занят теперь семенами, рассадой и парниками... То надо найти навоз к посадке картофеля, то достать плуг, то борону, то самому пахать и боронить... Добывать что-либо в наше время — это играть на психологии людей. И в эту игру я теперь и играю, когда успешно, когда нет, но, в общем, сносно. Кроме артельных дел — лично-семейные. А они теперь ограничиваются вопросами продовольствия. То достать — другое достать... Вот наша жизнь,

как она не похожа на то, что было при Тебе. И мне кажется, что постепенно я погружаюсь в тину материализма, в густую, липкую тину обывательщины... И неужели так будет вечно. (6.05.1920)

Мне вспомнилась одна картина новой французской школы: двор тюрьмы в сероватом тумане, по нему, друг за другом, кольцом шагают заключенные. Нет надежд, все окаймлено высоким тюремным забором. То же настроение и у меня...

Жить стало очень тяжело. В городе — настоящий голод. Картошка оценивается около 1500 руб. мешок, и достать нельзя. Хлеба нет. Впереди — перспективы невеселая.

Кончу это письмо и уеду пахать на заимку, где мы достали земли для капусты и картошки. На продажу у нас будет 2 ½ десятины (2 — под картошкой, ½ под капустой). Работа, конечно, падает преимущественно на Анд. Вас. и меня. (13.05.1920)

Навевшая тягостные мысли картина — «Прогулка заключенных» Ван Гога. А упомянутый «Анд. Вас.» — это, конечно, Андрей Васильевич Кудрявцев. В 1920-е годы он являлся научным сотрудником краеведческого музея и состоял, судя по всему, еще одним членом артели Белого дома, борющейся за выживание. Но о нем еще предстоит рассказать в дальнейшем.

Кому в Красноярске хорошо жилось?

Жизнь впроголодь, утрата привычного круга общения и вполне реальная перспектива оказаться в подвалах савельевского дома... Подобные тяготы испытывали и иные представители красноярской интеллигенции, тонкого слоя людей, «получающих гроши», — учителя, музейные работники, газетчики и т. п.

Напечатанный в декабре 1919-го номер «Сибирских записок» Владимира Крутовского стал последним номером этого литературного, научного и политического журнала, выходившего в Красноярске с 1916 года, — лучшего сибирского издания такого рода на то время. И сам редактор-издатель журнала Крутовский, недавний комиссар сибирского Временного правительства, и большинство авторов журнала испытывали наверняка те же тревожные чувства, что и Николай Ауэрбах. Да и как не испытывать, если еще вчера из-под твоего пера выходили такие строки:

С каким энтузиазмом и верою в лучшее будущее два года назад встречали мы зарю светлого освобождения своей родины от гнета самодержавного режима, и с какою грустью и разочарованием пришлось смотреть потом, как гибли завоеванные в февральские дни блага человеческого существования, как в чаду и безумии одуряченными народными массами разрушались сокровища и богатства великой «Империи», уничтожались и те жалкие следы культуры и цивилизации, которыми так бедна была самодержавная Русь.

Этот второй период революции, период владычества черни, под флагом рабоче-крестьянского правительства, возглавляемого Лениным и К°, знаменитый своими событиями и тем неслыханным вандализмом «диктатуры пролетариата», какой пришлось пережить обыкновенному обывателю, чуждому всякой политики, не обошел, кажется, ни одного живого угла громадной страны, чтобы не наложить на нем свою печать разрушения.



Это из статьи Михаила Миндаровского «Революционные дни в Енисейске», напечатанной как раз в последнем номере «Сибирских записок». И Миндаровский, и Крутовский все-таки пережили и 1920 год и последующую череду двадцатых. Крутовского арестуют в 1937-м, он умрет в тюрьме НКВД. Енисеец Миндаровский доживет до преклонных лет, оставит после себя записки (конечно, неопубликованные), откровенно рассказывающие о бесчинствах, что творились в Енисейске при советской власти после «революционных дней», в 1920—1930-е годы.

Гражданская война наполнила Красноярск множеством новых людей, в числе которых были и люди творческие, и не все они пребывали в состоянии полной безнадеги.

...Всего лишь на расстоянии одного квартала от Белого дома с его трудовой коммуной, в одноэтажном доме на углу переулка Дубенского и улицы Песочной (ныне улиц Парижской Коммуны и Урицкого) в феврале 1920 года поселился улыбчивый человек, довольно тучный, но подвижный, живой, говоривший по-русски с акцентом. Звали его Ярослав Романович Гашек.

Кстати, почему Романович? Ведь у отца Гашека имя-то Йозеф. Однако Романовичем называл себя сам Ярослав Гашек в анкетах и документах «русского периода». У гашековедов нет ответа на вопрос, почему Романович. Возможно, причину следует искать в характере «красного чеха», весельчака, рассказчика анекдотов, балагура, всегда расположенного к шутке, розыгрышу. Однажды было высказано предположение: такое отчество — производное от фамилии Романов. Не от какого-то безвестного Романова, а именно — да-да! — от фамилии последнего русского царя, расстрелянного вместе с семьей в июне 1918-го! Такая вот фига в кармане от бывшего анархиста (в молодые годы в Праге Гашек некоторое время даже редактировал анархистский журнал), любителя розыгрышей. Ведь известно же, что свою супругу Александру Львову, с которой вернулся из России на родину, он представлял как «княгиню» из известного рода князей Львовых!

Почти четыре месяца, с середины февраля по начало июня, провел Ярослав Гашек в 1920 году в Красноярске, и это было для него совсем неплохое время.

Оказавшись в Красноярске в составе политотдела 5-й армии, Гашек писал статьи и фельетоны в ответ на антибольшевистские публикации белогвардейской печати, редактировал армейские издания на немецком, венгерском и русском языках. Участвовал в организации и проведении коммунистического субботника, выступал на митингах. Написал несколько пьес, одну из которых, на венгерском языке, поставил Красноярский интернациональный театр для солдат-венгров. Наконец, в Красноярске Гашек официально оформил свои отношения с Александрой Гавриловной Львовой, печатницей типографии газеты «Красный стрелок», органа политотдела 5-й армии, с которой он познакомился еще в Уфе.

В Красноярске начала 1920 года Ярослав Гашек свел знакомство еще с одним «воином-интернационалистом» — Белой Франклем, сыном еврея-трактирщика из Австро-Венгрии, проникшимся революционными идеями. В России он стал широко известен под именем Мате Залка, а во время гражданской войны в Испании прославился как генерал Лукач. Между прочим, будущая жена Мате Залки Раиса Азарх в 1920-м также пребывала в городе на Енисее в качестве начальника санитарной службы 5-й армии.



Имена Мате Залки и Раисы Азарх можно отыскать и на страницах истории литературы советского периода как авторов многих повестей и рассказов. А Ярослав Гашек задолго до начала своей эпопеи по дорогам Гражданской войны в России уже был автором множества произведений, в том числе историй о храбром солдате Швейке, снискавших мировую славу.

Николай Ауэрбах не раз мог встретиться на улицах Красноярска с каждым из этих замечательных пассионариев — борцов за советскую власть. Но разве что такая встреча произошла бы случайно — вероятно, он сторонился людей в солдатских шинелях, с винтовками, в буденновках, фуражках с красной звездой. А спустя недолгое время и Гашек, и Раиса Азарх вместе с частями 5-й армии съехали из города в направлении Иркутска. Несколько раньше отбыл в Ачинск со своим полком Мате Залка.

Еще одной примечательной личностью, выпавшей из того огромного людского потока беженцев, солдат и офицеров разных армий, авантюристов и проч., что продвигался в Гражданскую войну через Красноярск на восток, был Вивиан Итин.

Вивиан Итин родом из Уфы, после получения юридического образования становится сотрудником наркомата юстиции советского правительства в Москве. Летом 1918 года едет в Уфу повидаться с родителями. В это время Уфу захватывают части чехословацкого корпуса. Путь в Москву Итину, как советскому работнику, отрезан, и тогда он устраивается (видимо, переводчиком) в международную организацию YMCA (Христианский союз молодежи), представители которой с благотворительной миссией направлялись на Дальний Восток по железной дороге. По какой-то причине Вивиан Итин, добравшись с миссионерами до Красноярска, покинул их и в городе основательно подзадержался. Впоследствии Итин коснулся того, как проходило продвижение YMCA по Сибири, в некоторых своих произведениях. В частности, в газете «Красноярский рабочий» в октябре 1920 года в очерке «Красный треугольник» (красный треугольник — эмблема организации YMCA) он единственный, кажется, раз упомянул о себе как ее сотруднике:

Довольно известный американский миссионер в Японии, м-р Мередит, приехал в Омск и сразу, разумеется, счел своей обязанностью отправиться на поклон к архиепископу Сильвестру. В качестве переводчика для столь важного визита решено было взять меня, но на рукаве я носил мистический красный треугольник, с помощью которого надеялся получить спасение если не в загробной жизни, то, по крайней мере, от колчаковских комендантов. Треугольник смутил американца.

— Он не будет с нами разговаривать, Vivian, — решил Мередит, — он примет нас за еврейских шпионов.

В конце концов, мне пришлось переодеться в запасный костюм миссионера, хотя американец был вдвое толще меня.

Прежде Итин в Красноярске никогда не был, о его знакомствах здесь ничего не известно, но как-то в очень недолгое время — буквально с корабля, т. е. с поезда, на бал — он попал в новом для себя городе в серьезные органы власти. Сам Вивиан Итин об этом пишет вскользь, с некоторой лихостью и бесшабашностью:

В 1920 году я был «вридзавгуботюстом» в Красноярске. Это был первый оседлый год, считая с октября 1917 г. Я подписывал смертные приговоры в коллегии Губчека и выручал спешно приговоренных к смерти, председательствовал в «Реквизиционной Комиссии» и вводил революционную законность, раздавал церковное вино — губздраву, колокола — губсовнархозу и руководил «комиссией по охране памятников искусства и старины», работавшей в связи с отделением церкви от государства.

В «Красноярском рабочем» я редактировал «Бюллетень распоряжений». В Красноярске были поэты. Я стал редактировать еженедельный литературный уголок, называвшийся «Цветы в тайге». Кажется, именно в «Красноярском рабочем» было напечатано первое мое стихотворение.

Город был вообще «литературным»: председателем губисполкома был в то время Феоктист Березовский (в должности предгубисполкома будущий пролетарский писатель состоял с февраля 1921 г. — В. Ч.). Но т. Березовский хитрил и писал тогда только мемуары и критику, направленную против современных, несурзных, по его мнению, литературных новшеств. «Цветы в тайге» были признаны товарищами из губкома «навозом в тайге», а редактирование их слишком легковесным для заведывающего губернским отделом.

«Бюллетень распоряжений» — приложение к газете «Красноярский рабочий», небольшой листок, обе стороны которого заполняли текущие постановления и приказы Енисейского губревкома, объявления народных судей, связанные с расторжением браков, розыском различных лиц, сообщения о сроках действия продовольственных карточек и т. п. «Редактор бюллетеня т. Итин» — стояло в конце каждого выпуска. Последние подписанные им «Бюллетени» относятся к началу 1921 года. Литературный «уголок», а то и целую страницу, в «Красноярском рабочем» он редактировал где-то до лета 1921-го. Потом переехал в Канск, и в этом уездном городе был «одновременно завагитпропом, завуполитпросветом, завуроста, редактором газеты и председателем товарищеского дисциплинарного суда». В свободное от исполнения множества своих обязанностей время Итин переписал ранний рассказ «Открытие Ризэля» в повесть «Страна Гонгури». Издал ее в 1922 году в том же Канске, стяжав тем самым сибирскому провинциальному городку славу родины первой советской фантастической повести.

В партию большевиков Итин вступил в Красноярске. Здесь же, подобно Гашеку, воплотил в жизнь и свои, так сказать, матримониальные планы — женился.

Прочитанный выше фрагмент воспоминаний Итина — из очерка, впервые напечатанного в 1932 году в «Сибирских огнях». Итину оставалось жить шесть лет, в 1938 году он будет арестован как японский шпион и расстрелян. Вспоминались ли ему перед расстрелом подписанные им смертные приговоры коллегии губчека? И невольно возникает вопрос, на который нет ответа (а может, он сокрыт в каких-то недоступных архивах): не стоит ли на приговоре, вынесенном Федору Федоровичу Филимонову весной 1920 года, и подпись Вивиана Итина?

1920 год. Красноярск: из сводки новостей

Эсперанто

Эсперанто введен обязательным предметом во всех учебных заведениях РСФСР. Только недостаток в опытных преподавателях мешает пока провести этот декрет в полном размере.

Городской музей

Производится учет и частью сосредоточение архивных материалов XVII, XVIII и XIX века. Работа эта поставлена в связь с составлением трехсотлетней (через 8 лет) истории Красноярска.

Собрание еврейской молодежи

Состоится общее собрание членов еврейской молодежи КСЕМ. Повестка собрания: 1) отчет о деятельности кружка за истекшее время, 2) поднятие интенсивности работы кружка, 3) характер дальнейшей деятельности.

Аферисты или провокаторы?

Спекулянты не дремлют и нашли себе новое занятие.

За последние дни какие-то темные личности на базаре отзывают в сторонку незадачливых обладателей «сибирских» денег и предлагают обменять «сибирки» на советские, по курсу от 50 до 100 рублей советских за тысячу «сибирских» (мелкие и новые купюры — дороже, крупные и потрепанные — дешевле).

Новые «трудовики»

Как известно, уземотдел передал несколько нетрудовых заимок, служивших дачами для их владельцев, артелям и коммунам. Это очень не понравилось бывшим владельцам заимок — капиталистам, и они принимают ныне всевозможные меры и способы к возвращению заимок.

«Красный бич»

Вследствие употребления имеющегося запаса бумаги на плакаты и воззвания Чекатифа, выпуск очередного номера «Красного бича» откладывается на неопределенное время.

Трупы

На стан. Красноярск стоит вагон (теплушка) с трупами женщин, которых везли с собой чехи и бросили. По слухам, часть этих женщин замерзла, часть подобрана по пути следования.

Самоубийство

В бывшей гостинице «Метрополь», находящейся по Благовещенской ул., покончила жизнь самоубийством гр-ка гор. Минусинска Леонтьева Таисия Ивановна, 21 года. Причина самоубийства, вероятно, отсутствие материальных средств.

Рабоче-крестьянская милиция

Начальником милиции издан приказ об увольнении всех служащих милиции, не представивших рекомендаций от видных советских деятелей. Начат прием новых служащих. Принято около 10 человек с юридическим образованием.

(Окончание следует.)

Владислав ОГАРКОВ

ТОЯМА ТОКАНАВА

Что я делал в тот день? Да клепал туюски, как обычно, что же еще. Сидел в самом теплом месте нашего дома, возле печки то есть, и — клепал, клепал, клепал...

Переехали только недавно. Семья жила в Шелехове, а сам здесь, в деревне, в тридцати километрах. Дом недавно куплен, холодный, и ничего в нем еще не сделалось для нормальной жизни белого человека. Даже работать негде — сижу на маленьком детском стульчике, а передо мной табуретка, газетой накрытая. Инструмент на полу лежит.

Сижу, делаю деньги. А что еще делать, если их нет? Все накопленное улетело в переезд, в покупку дома, а оставшаяся мелочевка развеялась, как пыль от проехавшей машины.

Короче, стучу молотком, ножиком режу, радио между делом слушаю, и тут раздается стук в дверь.

— Заходи! — кричу, думая, что кто-то из соседей.

Самому сразу не встать, потому что весь в мусоре, в обрезках бересты. Отряхиваюсь, слышу, что дверь открылась, но почему-то не закрылась. Мне ее за заборкой не видно. А по ногам Арктикой пронесит — декабрь, мороз под сорок. Я уже злиться начинаю помаленьку. Что за балбес на пороге?

У меня и соседей таких, пожалуй, нет. Вот разве что Соткин. Опять, небось, напился, на бутылку пришел занимать. Так ему еще неделю назад сказано, чтоб больше не ходил, денег до весны не будет. А болтать с ним про погоду да выпивку — это некогда.

В деревне даже пьяный понимает, что зимой надо мышью в дверь проскакивать, чтоб избу не выстудить.

— Какого хрена?! — речь начинаю, выхожу. Начинаю, правда, вполнакала. Не вижу, кого там принесло.

И что вы думаете? Стоят на пороге два чудика, кланяются, руки домиком сложили. Оба низенькие, черненькие — не наши.

Прилично одетые и на японцев похожие. Тояма Токанава, стало быть. А пока они отдают поклоны, в раскрытую дверь валом валят облака морозного воздуха. Прихожая быстро заполняется холодным туманом.

Церемония меня, признаться, обескуражила. Вид, наверное, имел растерянный, и потому, когда гости вошли, дверь закрылась, переводчица поспешила пояснить:

— Вы нас извините, пожалуйста. Это обычай такой. Они не могут войти, пока не поприветствуют хозяев жилища. Так заведено в Японии. Вот поэтому задержались, напустили вам холода.

— Ладно, ничего. Об этом и сам мог бы догадаться. А вы, наверное, по каким-то делам?

— Да, хотели бы познакомиться с вами и с вашим творчеством. Слышали кое-что. Вы по бересте работаете?

Это мне уже нравится. Такие гости никак не помешают. А не хотят ли они что-нибудь приобрести? Оно бы еще веселей.

Новый год впереди, а у нас с финансами сейчас слабина. Живем в основном на Катину зарплату.

Высоких гостей представляют по всей форме, с титулами, но, как легко догадаться, их неповторимые имена ненадолго задержались в памяти. Что уж говорить, непривычно для русского уха.

А вот главное уловил — они из города Саппоро, представляют фирму, которая покупает предметы народного творчества. Российский офис у них в городе Южно-Сахалинске. Сейчас они в деловой поездке, ищут мастеров-ремесленников, иногда заключают контракты на поставки изделий в Японию. Такое сообщение приятно ласкало слух.

Уловив мощный импульс из мозга, сердчишко мелкого предпринимателя радостно запрыгало в груди.

Пошли в большую комнату, самую удаленную от печки и потому самую холодную. Зато здесь имелись два кресла, журнальный столик и было что посмотреть. Плотными рядами на полках и шкафах стояли соединения разномастных туесков и шкатулок, готовых с наступлением весны ринуться в бой за семейное благополучие.

Гости оживились, залопотали по-своему, увидев внушительные запасы изделий. Совещаются между собой, потом говорят переводчице:

— Они спрашивают, вы все это хотите продать?

— Да, готовлюсь к лету.

— До лета еще далеко, — перевели мне.

С этим нельзя было не согласиться, и я радостно закивал головой. Японцы дружелюбно заулыбались, попросили дать в руки образцы изделий. Теперь, без пальто и шапок, они выглядели представительно — хорошие костюмы, белые сорочки, галстуки — с Соткиным не спутаешь.

Журнальный столик заставляю поделками из бересты. Выставил перед ними все лучшее, что освоил в последние годы.

Японцы явно не торопились. Подолгу и тщательно рассматривали каждую вещь — по несколько раз открывали и закрывали одну и ту же крышку в туесках, шкатулках. Проверяли, удобно ли ими пользоваться. Проводили пальцем по обработанным поверхностям и даже принохивались к пустотам внутри туесков.

Есть один нюанс, известный далеко не каждому из нас, живущих в прекрасном, но пластмассовом мире.

Шкатулке, где будут храниться драгоценности, бижутерия, заколки, резинки и прочие дамские штучки, — ей позволено пахнуть смолой изнутри. Строганые дощечки из сосны и кедра сохраняют устойчивый смолистый аромат, что даже приятно и полезно. Стоя у пластикового окна и глядя в серое городское небо, можно вспомнить, что где-то есть настоящий лес, где мы давно не бывали.

Другое дело, когда посуда сделана для хранения чеснока, лука или сыпучих продуктов. Здесь нужно дерево, не имеющее заметного запаха. Лучшей признана осина.

Услышав о том от старых мастеров, давно стараюсь придерживаться такого правила. Дотошные японцы заметили и это. Похвалили. Вообще же они были немногословны, оценивая продукцию. Лишь изредка перебрасывались короткими фразами друг с другом, иногда что-то говорили переводчице, но что — мне оставалось неведомым.

Не знаю, заметно ли мое волнение (не штормовое, но приличное), однако стараюсь не вмешиваться. Стою молча, наблюдаю. Про себя решил так — они обязательно спросят цены, если вещи понравятся.

Цены, наконец, спросили. Хороший знак.

Разумеется, мне интересна реакция на цены. Но никакой реакции нет. Абсолютно. Они просто записывают названные цифры, что-то считают на калькуляторе, на меня не смотрят.

— Хотят немного подумать, — сообщается мне.

Что это значит? Не совсем понимаю, но, конечно, соглашаюсь. Тоже беру тайм-аут, говорю, что отлучусь проверить печь. И мне, между прочим, тоже есть о чем подумать. Зачем сразу ляпнул про цены? Назвал те же, по которым продаю на улице. Мог бы и побольше назвать.

А надо ли переживать? Ведь это у меня не впервые. Мы разные — практичный японец и мечтательный русский. Постоянно упускать то, что само в руки идет, — наше врожденное. Ладно...

Угли в печи прогорели, выюшка не закрыта, тепло быстро улетучивается. И это тоже ладно. Не каждый день такая удача заплывает в мои дырявые сети. Даже удивительно — как она решилась? Интересно, что они там надумали? Будут покупать? Если нет, то там было бы тихо. Но из большой комнаты слышатся голоса — это к лучшему.

Женщина сдержанно улыбается, смотрит на меня. Видно, ей есть что сообщить мастеру. Вердикт вынесен.

Она, кстати, не японка, хотя тоже низенькая, черненькая, глаза узковаты. Говорит с акцентом. Скорее всего, из корейцев. Как помнится из детства, много их жило на окраинах Южно-Сахалинска. Говорили, что они всегда тут жили.

— Готов вас выслушать, — говорю учтиво, обращаясь сразу ко всем и слегка поклонившись.

В ответ получаю что-то похожее на прохладный душ.

— Господа просят сделать скидку.

— Э-э. Цены низкие. Я знаю.

Это была чистая, как слеза, правда. Иностранцы покупали туески в основном не торгуясь и не кряхтя. Редкий скряга просил скидку. Главные любители сбрасывать цену (сразу наполовину) — китайцы — в те далекие времена еще не ездили к нам.

Господа выслушали перевод и сочувственно улыбнулись. Но тут же показали, что расслабляться не стоит. Они посоветовались и приподняли давление в шинах.

— Мы желаем взять это все, — жест в сторону столика, где больше двух десятков изделий. — Это оптовый закуп. В таких случаях обычно полагается скидка. Так принято.

Обозначилась тропинка к соглашению. Теперь они не требуют снизить цену за каждую вещь. Речь идет о скидке за все вместе, а это уже проще. Не так велики потери. Прикидываю в уме, считаю и, глотнув воздуха, спешу на свет в конце тоннеля — предлагаю общую цену ниже.

Как и предвиделось, господа предложили опустить планку еще ниже, но терпимо, не стоит артачиться. По рукам!

И тут выясняется, что главные переговоры впереди.

— Скажите, пожалуйста, сколько штук вы можете изготовить за один месяц? — задается вопрос озадаченному мастеру.

Топчусь в тупике. Изделия разные — туески, шкатулки, бусы, книжные закладки, наборы из трех предметов для чая и специй, солонки. Разные размеры, разные трудозатраты. Как посчитать их количество в месяц? У меня и так не все в порядке с математикой, а тут...

У бизнесменов, напротив, с этим полный ажур. И тупиков они не знают. С помощью листа бумаги и калькулятора быстро вывели меня на чистую воду. Теперь в общих чертах понятно, сколько времени потребуется на изготовление целой партии.

Если не ошибаюсь, они хотят сделать большой заказ. О такой удаче я, честно говоря, даже не помышлял. Хорошо бы.

Да, так и есть. На стол ложится лист бумаги со значками, цифрами и несколькими иероглифами.

— К следующему приезду мы хотели бы получить эти вещи. Всего 180 штук. Сколько времени вам на это потребуется?

— Надо подумать... Что-то около четырех месяцев, если найду помощников. Раньше не получится.

— Хорошо. Четыре месяца. Теперь оплата.

Оплата, не будем скрывать, — вопрос повышенного интереса. Каждому из нас известно, что взять желательнее больше, а отдать поменьше. Не каждый приходит к тому, что высшее удовольствие — отдавать. До этого надо дорасти.

Человек зреет дольше любого плода.

Тернистую тему оплаты когда-то приходилось изучать в одном учебном заведении, которое будто бы было напрасным в моей жизни. Но напрасного ничего не бывает. Кто мог подумать, что курс основ экономики через много лет пригодится в обыденной жизни? Пригодился.

Шевеля догорающие угли в печи, старался заодно шевелить и мозгами. Стоило подготовиться к тому, что господа из страны восходящего солнца предложат контракт.

Тогда, в «лихие девяностые», Россия переживала смуту во всем — в политике, экономике и в отдельно взятых умах. Только что прошли денежные реформы — и прошли, разумеется, не без ошибок. Ситуация закручена, как в детективе: надо работать, чтобы прокормиться, но большие заработки не имеют смысла, потому что деньги обесцениваются. Инфляция доходила до 30—40 процентов в месяц.

А мне что делать? Как договариваться наперед, если никто не знает, как упадет рубль через пару месяцев, через полгода, через год?

Закидываю удочку.

— Позвольте кое-что уточнить. Свои расходы вы считаете в японских йенах, а мне оплачивать будете в рублях. Правильно?

— Так должно быть по вашим законам.

— Это меня не устраивает. Вы, наверное, знаете, что у нас высокая инфляция. В результате я получу значительно меньше того, о чем мы сейчас договоримся. Так не должно быть.

— Мы сожалеем, но это проблемы вашей экономики. Сюда мы не можем вмешиваться, от нас это не зависит.

— Производитель, к которому вы пришли, именно от этого зависит. А ведь его проблемы не совсем безразличны для вас?

Задаю вопрос и улыбаюсь, поочередно глядя то на одного, то на другого. Но оба, как мне кажется, давно поняли мои намеки и лишь оттягивают время. Они коротко совещаются, думают и снова совещаются. Кивнули головами, что-то говорят переводчице. Компромисс, кажется, найден.

Решение дается не без потерь.

Договор выносится на бумагу только на русском языке. Почему он только для меня? Им не нужен договор? Впрочем, это уже не мое дело, не стоит об этом спрашивать. Есть нюансы.

Цена привязывается к твердой денежной единице, йене, и в договор это не вносится. Договариваемся на словах, как джентльмены. Мастер получает свои рубли в пересчете на дату получения и ничего не теряет. Есть другие потери — за эту уступку бизнесмены кое-что выжали для себя. Это примерно пятая часть от первоначальной стоимости.

Хорошая подробность — о договоре никто не должен знать, кроме двух сторон, подписавших его в старом холодном доме.

Провожая дорогих гостей до ворот, где их поджидает такси. Ящик с туесками определяют в салон, на заднее сиденье, между двумя пассажирами. Наверное, это говорит о ценности добычи.

Уточняю напоследок.

— Теперь вас надо ждать в конце марта следующего года?

Женщина не стала переводить, ответила сама.

— Мы будем здесь 23 марта, в одиннадцать утра.

— Ровно в одиннадцать? — спрашиваю с нескрываемой улыбкой.

— Да, ровно в одиннадцать. Они любят точность.

* * *

Встретившись со своими в Шелехове, я, понятное дело, рассказал обо всем. Не забыл и эту подробность — ожидаемую встречу в одиннадцать утра. Нас, конечно, позабавила такая точность. Неужто они и в самом деле такие обязательные, эти японцы? Ведь впереди еще четыре месяца, возможны всякие случайности. Кто-то заболит или другие неприятности. А кроме того, плохие дороги, поломки на транспорте.

— Они, наверное, мало летали самолетами «Аэрофлота», — Катя строит свои предположения.

— Или дорог наших не знают, — подхватываю я. — А вдруг снегопад повалит? Колесо в машине лопнет?

Тем не менее за дела надо браться. Слово сказано, бумаги подписаны. Придется постараться, не ударить лицом в грязь. Такое везенье с неба свалилось — можно хорошо заработать! А еще, как-никак, международные отношения поставлены на карту. И застучал молоток.

Не совсем молоток. Киянка — подобие молотка. Только не из железа, а из дерева или, как у меня, из крепкой литой резины. Удар дает хороший и не повреждает при этом пробойник. Голова, руки, киянка, пробойник и острый как бритва нож — главное подспорье в работе берестящика.

Первым делом проверил запасы бересты, убедился, что ее только-только хватит, чтобы выполнить заказ.

Горохом посыпались вопросы. Как организовать дело, чтобы уложиться в сроки и не потерять в качестве? Береста, основной материал, есть, но нужны еще тонкие дощечки, которые идут на дно и крышку туеска. Где взять такую прорву дощечек? А ведь из них еще надо лобзиком вырезать заготовки, точно подогнать для каждого туеска отдельно и потом каждую отшлифовать до блеска. Вручную.

Думать приходится о многом. А этим когда заниматься? Да вот сейчас, во время работы, и можно. Думать и делать.

Руки к делу привыкли, не досаждают голове, трудятся в автоматическом режиме. Сами знают, что сначала и что потом. Берут пробойник, стучат, при- меряют, отрезают.

Процесс контролирует кот. Его величество возлежит на возвышении и, от- кушавши, сладко посапывает. Тем не менее все вокруг у него под контролем. Как у президента.

Он, надо сказать, в целом лояльно относится к моей деятельности, многое позволяет. Стоически терпит большинство из производимых мною шумов. Даже радиоприемник, стоящий на полке прямо над ним, не раздражает его, несмотря на громкую музыку и всякие глупости, часто доносящиеся оттуда. Но есть пункт-тик, выводящий кота из себя.

Безобидный, я бы сказал, пунктик.

Для больших туесков нужна береста потолще. Пробить отверстие в ней с первого раза бывает трудно. Ударов может быть три-четыре. И вот это «бам-бам-бам» очень сердит спящего кота. Утробным и недобрим голосом он начинает коротко взмывкивать, не открывая глаз. При этом дергается кончик хвоста, вздрагивают усы и губы, обнажая белые клыки. Кот требует немедленно прекратить безобразие.

Хорошо понимаю его недалеко идущие прихоти. Разумеется, с ними тоже надо считаться. Но у меня семья, и у нее другие запросы. А японцы? Зачем накалять страсти, доводить до международного скандала?

И потому колотушка продолжает свое черное дело. Стучит себе и стучит. Кошачья миска терпения переполняется. Их величество зевает, открывает глаза и, окинув меня недовольным взглядом, уходит на запасное лежбище — на крес- ло в большой комнате. Там холодней, но никто не стучит по мозгам.

Но и моим мозгам приходилось несладко. Груз внезапно навалившихся дел был явно тяжеловат для одного человека. Скоро стало ясно — без помощников не обойтись.

Жившие в ту пору в Шелехове домочадцы первыми, естественно, вызва- лись облегчить мои страдания. На какое-то время к делу подключилась старшая дочь, открывшая в себе художественные задатки. Она наносила узоры на бе- резовую кору, покрывала ее лаком, простой гуашью рисовала сказочных героев и помогала в меру сил.

В трудовую лямку мужа впряглась даже Катя, и без того загруженная урока- ми в лицее. По вечерам, управившись с тетрадками, она надевала рабочий фар- тук поверх платья и без устали терла наждачной бумагой деревянные заготовки, докрасна стирая кожу на подушечках пальцев и постепенно покрываясь светлой пылью, будто была женой мельника, а не сеятелем разумного, доброго, вечного.

И все-таки возможности моих помощниц безграничны. Им своих забот хватает. А тем временем интересы дела кричат в мегафон: «Быстрее, быстрее, больше, больше!» Приходится прислушиваться.

Не размышляя мучительно долго, решил поискать незанятых людей в деревне. Ишь чего удумал! Забыл общепринятое мнение, гласящее, что в деревне пахать и пахать нужно, чтобы выжить. Отчасти оно, конечно, так. Работяги у нас, слава богу, не вывелись окончательно, а этих клещами не выдернешь со своего двора. У них забот полон рот. Но времена, похоже, изменились. Теперь случаются такие «пахари», что...

Маленькая иллюстрация, невыдуманный рассказик на нашу любимую, нестареющую тему «денег нет».

Едем рейсовым автобусом в свою деревню. Рядом сидит мужичок. На вид лет пятидесяти, но крепенький такой — не заподозришь в инвалидности.

Трезвый. На судьбу сетует.

— Как пришли эти либералы-демократы, так и жизни никакой не стало. В магазине ничего не купишь, цены растут, а денег ни копейки.

— А чего так? — спрашиваю.

— Так вот... В леспромхозе начальство поменялось. Людей сокращают, а технику полным ходом растаскивают.

— Начальство растаскивает?

— А все кому не лень. И начальство, и мы, работяги. Куда деваться? Не украдешь — не проживешь, сам знаешь. Меня вот тоже под сокращение. Так ладно — меня, а сынам куда деваться? Другой работы в деревне не найдешь. У них дети голодные, хлеба в доме нет. И мне помочь нечем, сам не знаю, у кого на еду занять. Ездил вот в город, устроиться хотел, а не берут.

Слушаю, а сам думаю: надо человеку помочь. В одной деревне живем. А тут и к дому подъезжаем. Говорю ему:

— Есть одно дело. Мне бы колпак на печную трубу сделать. От снега и дождя. Сможешь? Заплачу, само собой.

— Чего не смочь? Плевое дело. Сейчас и подойду.

Управился он за час. Дал ему так, будто он день отработал.

Внукам, думаю, пряников купит, самому останется. Он и убежал, довольный.

Где-то через час-полтора иду в сторону магазина и встречаю его. Из проулка вываливается, на ногах едва стоит, за забор держится. Глаза мутные, дикие, как у зверя. Меня не узнал или не увидел. Что тут еще добавить? Дело хозяйское — куда деньги употребить.

Быстрее, как ни странно, оказалось найти нужных людей в городе. Пользуясь тем, что в нашем доме появился проводной телефон, развесил объявления, и посыпались звонки. Нанимались люди разные. Не все хотели работать, но заработать хотели все.

Прошло время, и все сошлось, утряслось. Отыскались люди, которых устраивали условия. Отпали заботы по поиску помощников.

Запомнилось одно из деловых знакомств.

К кирпичному дому в центре Шелехова шел всегда с хорошим настроением. В маленькой квартирке на первом этаже живет с семьей пожилая женщина, она на пенсии, но не может сидеть без дела, взялась за тески. Я знаю, что к назначенному часу здесь все мои посудинки аккуратными рядами выстроились, как



всегда, на подоконнике. Их можно сразу складывать в сумку и не проверять. Донышки и крышки точно подогнаны, не придерешься, и так гладко отшлифованы — хоть в паркет вставляй. Сам-то я, пожалуй, не всегда так делаю. А она до выхода на пенсию авторучкой в основном работала, с деревом дел не имела.

С той поры прошло немало лет. Не помню уже ни лица, ни имени той женщины, даже не узнаю при встрече, а вот ее обязательность и редкая по нынешним временам исполнительность сохранились в памяти.

Труженик сегодня в тени. На виду больше бандиты да идолы шоу-бизнеса, но без этих прожить можно. Без труженика — нет.

* * *

Довольно просто обошлось и с дощечками.

Леспромхоз, когда-то созданный в поселке, еще держался на плаву, вместе с досками и брусом выпускал тарную дощечку, из которой в те годы сколачивались продуктовые ящики.

Проявив «социалистическую предприимчивость» (официальное выражение тех лет), я решил попользоваться отходами производства. Но для этого надо на короткое время стать бомжом — идти на свалку и рыться в мусорных кучах, выбирать обрезки. А много ли наковыряешь таким «технологичным» образом? Наберешь на копейку, зато времени и нервов изведешь на полновесный рубль.

И вот озарила идея. Шагаю напрямиком в тот цех, где лес переводят на дощечки.

Несу в сумке пачки с индийским чаем, пряники и три кило яблок — то, что можно раздобыть в нашем сельмаге в обмен на трудовые рубли. Чисто дамский набор, как нетрудно понять. Заодно можно догадаться, что в те времена лесопилением занимались самые счастливые советские женщины.

Счастливые труженицы, одетые в черные ватники и такие же черные штаны, сначала встретили настороженно, но довольно быстро согласились, что отходы совсем не обязательно отправлять на свалку. А кому какое дело, куда отходы направились, выйдя из цеха?

Заглянув в цех через неделю, с радостью отмечаю, что женский коллектив правильно понял задачу и «проделал определенную работу».

Невинный мой умысел по спасению отходов от варварского уничтожения (на свалке они сжигались) материально оформился в целую гору обрезков. При этом они не валялись в грязи и беспорядке, как ожидалось автором умысла, но были собраны в увесистые стопки и аккуратно связаны. Хотя сейчас приходи за ними с садовой тележкой и забирай продукцию. Так и поступил, не замешкался.

Дощечки были, конечно, нестроганные, из-под пилы, топорщились заусенцами, как сапожные щетки. И толще, чем надо. Хочешь не хочешь, но каждую надо пропустить через строгальный станок.

Работенка, признаюсь, рискованная, даже опасная, поэтому строгал только сам. Обитатели многих дворов, что вокруг нашей усадьбы, сразу узнавали, что берестянщик снова взялся за свое — строгает дощечки. Ибо воздух наполнялся таким ревом и грохотом, будто во дворе готовился к взлету реактивный самолет. Большой и мощный двигатель вращался с частотой, которую и представить трудно, — 2,5 тысячи оборотов в минуту.

Какими судьбами его сюда занесло, этого рычащего, надсадно воющего зверя? О-о, это особая история, которую стоит рассказать.

Времена стояли интересные и веселые. Кончился советский «застой», а вместе с ним и страх перед законом. Свободу многие восприняли как обычную разнузданность. Из всех щелей повывлезло жулье разных мастей и калибров. Но проснулись не только бандиты. Вполне себе приличные люди поверили в добрые перемены — стали внятно говорить, не оглядываясь с опаской по сторонам, стали проявлять инициативу и даже заниматься бизнесом, иногда смешным и неприбыльным, но своим, с надеждами на лучшее.

В Шелехове наткнулся на объявление, написанное от руки на тетрадном листке. Какой-то умелец смастерил строгальный станок вместе с циркулярной пилой и предлагал его купить.

Умелец понравился русской открытостью. Честно выложил достоинства своего детища и про недостатки не забыл. Тут же на своей даче показал его в работе — в считанные секунды отстрогал обе стороны у доски-сороковки, затем перекинул ремень и пилой распустил доску на бруски.

— Видал, как работает? Зверь, не станок! Мощный, оборотистый, четыре ножа — да он тебе любую доску отстрогает за минуту. Работает от обычной комнатной сети, очень удобно. В розетку воткнул и погнал. Шумный, правда. Ревет, как раненый медведь. Но можно потерпеть.

Это был редкий случай, когда продавец говорил правду. Парень проворный, он как-то сумел раздобыть такой большой электромотор, работающий на постоянном токе, добавил к нему солидный (по способностям и весу) выпрямитель, чтобы подключать к обычной сети.

При той расхлябанности, что царил на советских предприятиях, это было вполне возможно. Отработавшие срок, но еще годные детали и целые узлы списывались в металлолом.

Станину сварил сам из бросовых стальных конструкций. Агрегат получился тяжелый и громоздкий. Но мне с ним не кружиться в вальсе. И попробуй найди другой. Пойдет!

Человек, продавший станок, пошел навстречу мне, не имевшему ни транспорта, ни связей. Сам доставил прямо во двор. Более тридцати километров тащил его на допотопном тракторишке, а потом еще и на пароме через Иркут. Помог установить, наладить и запустить. Мы, само собой, попробовали его в работе, напугав всех соседских кур и собак.

Когда стихло вращение, бывший хозяин предостерег:

— Аккуратней с ним. Руки в пасть ему не суй. Вмиг отхватит пятерню, мявкнуть не успеешь. Зверь — он и есть зверь.

Сомневаться в сказанном не приходилось. Сам вижу, что станок слишком мощный, явно превышает все мои потребности. Кроме того, нет ни одного защитного кожуха. Опасно. На рабочем столе зияет разъем, где с бешеной скоростью крутятся острые ножи. Того и гляди прикоснешься шаловливой ручонкой, отдернуть не успеешь.

Хозяина можно понять. Он не собирался сначала станок продавать, для себя делал. Защитой пожертвовал, чтобы не терять времени.

Времена всеобщего дефицита близились к концу, но никто об этом не знал. Инструмент, особенно электрический, для многих оставался несбыточной мечтой. Даже самую простую маломощную электродрель днем с огнем не сыскать. А как без нее?

Была такая у меня, но долго не задержалась. С большим трудом купленная, она скоро стала известной в деревне не меньше, чем ее хозяин. Пошла по рукам, а через пару месяцев таинственным образом исчезла. Заглянув однажды туда, где должна была лежать дрель в картонной коробке, не обнаружил ни ее, ни коробки. Можно не сомневаться, что за пределы деревни пропажа не выехала.

Заодно сделано маленькое открытие для личного пользования: слово «украсть» удивительно много синонимов имеет в нашем родном языке. Впрочем, удивительно ли?

Тем не менее купленный с рук мастодонт далеко и сразу продвинул мое мелкотоварное производство. В сравнении с ручным рубанком — резко сократилось время на обработку дощечек. Высокая скорость вращения и четыре ножа сразу давали гладкие поверхности, не требующие длительной шлифовки. Однако было это не для слабонервных.

Жене, с ее сверхчувствительностью, процесс старался не показывать. Выбирал время, когда в Шаманке ее не было, понимая, что нельзя спокойно смотреть со стороны на такое. Честно говоря, я и сам боялся. Достаточно представить, как сквозь нарастающий вой и грохот тонкая дощечка продвигается над крутящимся валом с ножами. Какие-то миллиметры отделяют пальцы от несущихся в вихре лезвий. Одно неверное движение — и полный конец всей твоей кипучей деятельности.

Чтобы не сорваться, работать спокойно и размеренно, нужно собраться и зажать себя, дорогого, в кулаке да стиснуть покрепче. Тут самому на время надо стать бездушным механизмом, не имеющим ни страха, ни права на ошибку.

Однако все это время в подсознании пульсировала одна здравая мысль, короткая и ясная, как солнечный день: «Так работать нельзя!»

Подшло время — и мысль пробилась наружу, топнула ножкой и вполне демократично захватила власть над всеми прочими мыслями и мыслишками. Люди называют такое бескровным переворотом.

Это чудесное происшествие заставило сделать некоторое приспособление. Ничего выдающегося, простой деревянный держатель, похожий на доску штукатурки, но имеющий несколько острых шипов на поверхности. Если с силой припечатать его к тарной дощечке, то шипы впиваются и не дают ей выскользнуть. Руки защищены от ножей. Шипы, между прочим, — самые обычные гвозди, острые концы которых слегка выступают из держателя. Сверху загнуты молотком.

Впрочем, однажды мне все-таки досталось. И при этом «ничто не предвещало», как выразился классик. Надо было прострогать обычную дюймовку. Без приспособления, одними руками. Дело привычное, хорошо знакомое. Таких досок прошло через станок — не сочтешь.

Бракованной она, однако, оказалась. Редко, но случается и такое: ствол распиливали не строго вдоль или еще проще — тупая пила ушла вкось. Таковую строгаешь и слышишь совсем другую «музыку». Это значит, что ножи попросту рвут древесину, не берут ее как надо.

Кстати, сами ножи тоже, так сказать... Туповатые. Их ведь четыре, а на каждом из них по восемь болтов, и их надо ослабить, чтобы вынуть ножи, наточить и назад поставить. Да не просто поставить, а сделать это точно по уровню — считай, что на полдня мороки. Потому и позволял себе такое — работать на затупившихся ножах.

А теперь добрались и до главного «бракованного», до самого строгаля. Онто, спрашивается, куда смотрит? Привычное русскому уху «дык ведь» — это, пожалуй, и все, что можно ответить на сей важный вопрос.

С грехом пополам, но почти отстрогал. Какие-то сантиметры остаются до края доски, и тут взревел дурным голосом мой агрегат. Доска ерзает, из рук вырывается. Если по-доброму, то мне бы бросить ее да взять другую. Так ведь то по-доброму, а мне жалко бросить. Чуть-чуть осталось.

Уже прохожу ножи, но ровнистая доска все равно вырывается, летит в сторону. Едва успеваю отдернуть кисть руки. Четыре пальца убежали от ножей. А вот один не успел.

Фалангу отхватило целиком. Вместе с ногтем... «И ладно, ничего страшного, рука-то целая! — первая мысль. — Прожить и с этим можно, зарастет. Другие люди совсем без пальцев обходятся».

Зрелище, правда, ужасное. Красная струя фонтаном бьет из пальца. Большой боли пока не чувствуется, но она не задержится. Сейчас придет, ударит по нервам. Надо срочно что-то делать.

К людям бегом! Пока ноги ходят. А то могу потерять сознание и завалиться в любом месте, как подстреленный. Буду лежать, пока кто-нибудь не заглянет в ограду. А кто заглянет? И когда? Так недолго и на тот свет отправиться. Нет, не стоит, рановато. Кто семью будет кормить, детей поднимать? Скорей, скорей!

Увидев меня, такого живописного, сосед Миша живо вскочил со скамейки и всплеснул руками.

— Как тебя угораздило?! Я слышал, что строгаешь, но никак не думал... Давай садись, сейчас перевяжем. Да надо бы «скорую» из города вызвать, пока инфекцию не подцепил.

— Погоди со «скорой».

— Какой погоди, ты лицом весь белый!

— Ничего. Не надо. У меня своя «скорая», она еще скорее будет. Ты лучше кружку принеси. Сейчас остановим. Должны остановить.

Говорить стараюсь уверенно. Для соседа. Но самого колотит, побаиваюсь. Такое остановить будет трудно — кровь фонтаном. А вдруг не получится? Голова начинает кружиться. Не совсем уверен, но надеюсь на средство, о котором от людей узнал и уже пользовался им вовсю. Это жидкость, которая есть у каждого из нас всегда и везде. Может выручить даже в далекой тайге, за сотни километров от жилья. Создатель не зря наделил нас ею, он все предусмотрел, но мы не желаем того понять. Официальная медицина упорно вот уже много лет делает вид, что ничего о той жидкости не знает и знать не хочет.

Ну так вот. Сосед тем временем кружку принес, и жидкость, слава богу, находится. Опускаю в нее свой укороченный палец, и с этой минуты начинается отсчет чудесам, о которых в газетах не пишут.

Миша с интересом слушает рассказ о строптивой доске, но ему не меньше, чем мне, любопытно: что там с пальцем? Повлияло ли средство на открытую рану? Он заглядывает в кружку, но там ничего не видно. Все утонуло в мутно-красном растворе.

— Давай посмотрим, — предлагает он, — достань палец.

Самому интересно. Достаяю.

— О-о-о, смотри-ка! Меньше идет! А сколько минут прошло? Немного вроде. Ты ведь засекал, посмотри.

Часы подтверждают Мишину правоту — прошло всего-то одиннадцать минут. И результаты лечения видны невооруженным глазом — фонтан сменился частой капелью.

— Выходит, действует?



— Должно действовать. Народное, проверенное средство. Люди его знают, только многие помалкивают.

— И я когда-то слышал.

— Слышали многие. А доверяют рекламе.

Еще через десять минут капель сильно замедлилась, а через полчаса из куль-тяпки лишь слабо сочилось. Миша взял меня под руку и проводил до дома. Здесь уже сам управляюсь. Помаленьку прихожу в себя. Напился чаю, лег на кровать, откинув руку. Но сначала перевязал палец, наложив на рану вату, смоченную в той самой жидкости.

Кот тоже помогает. Проникся сочувствием к моему несчастью — запрыгнул в кровать, полизал покалеченную руку и улегся рядом. Чувствую его теплый бочок и чувствую поддержку. Мне явно легче. Своим звонить не буду — женщины сразу напугаются, раздуют из мухи слона. Потом расскажу. Все случившееся отодвигается куда-то, уже не кажется большой бедой. Ничего, переживем и это.

Боялся, правда, что ночью сна не будет. Оказалось — напрасно. Уже к вечеру боль заметно стихла, заснул, а ночь прошла без маеты.

Жизнь возвращается. Дважды в день меняю повязку, вижу при этом, что рана покрылась защитной коркой, под которой нарождается новая кожа. Уже через неделю опять берусь за дела. Надеюсь на хорошее. В каждой душе должен жить «надежды маленький оркестрик под управлением любви», как говорил замечательный человек Булат Шалвович Окуджава. Какие прекрасные слова! Мне такие не придумать.

Удивительным оказался финал этой истории.

Спустя месяцы, когда палец сам собою зажил, минуя травматологию, а все случившееся тихо уходило из памяти, вдруг обнаруживаю... Кто бы мог подумать?! Ноготь! Да, краешек ногтя показался из культи. Рос он долго и трудно, но все же вырос. Даже не знаю, откуда он взялся. Но не мог же он вырасти из ничего? Видать, осталась, уцелела какая-то часть его основы. Частично восстановилась и ткань — палец даже подрос в длину и теперь почти не отличался от своих собратьев.

Остается лишь снова и снова благодарить чудодейственную жидкость и того, кто дал нам ее в пожизненное пользование.

А что японцы? Пора бы уж вспомнить о них.

Если серьезно, то о них я не забывал. Имею «вредную» привычку, осложняющую жизнь, — не люблю быть должником, обещания стараюсь выполнять любой ценой. «А всегда ли так надо?» — задаю себе запоздалый вопрос, глядя вокруг. Впрочем, это уже лишнее. Поезд ушел.

Итак, истекает срок нашего договора. Переживать, в общем-то, нечего — практически весь заказ готов. Но знает один Бог (и немножко мне, грешному, известно), чего это стоило.

Особенно пришлось нагрузить себя в последние недели и дни. У кота, невзлюбившего колотушку, было много поводов для недовольства. Киянка слишком часто стучала, нарушая его сон, не останавливалась даже за полночь. Но что я мог сделать? План есть план.

Заключительный удар колотушкой был сделан за два дня до назначенного срока. Могу, наконец, принадлежать и себе — читать, гулять и просто валяться, отдыхать. Рады все наши, они тоже переживали и всячески помогали. Доволен и кот — он теперь может спать на любимом месте и не вздрагивать по пустякам.

Довольны ли будут бизнесмены? Не знаю, но претензий не должно быть — старался! Сделаны все туески, большие и малые, стоят по всему дому — как из-под штампа, одинаковые. Есть даже лишние, несколько штук.

И пришел объявленный день. Явятся ли они сегодня? Очень сомневаюсь. Беря во внимание расхлябанность на дорогах и в головах. Они еще не знают, куда сунулись. Разве можно покрыть несколько тысяч километров на разном транспорте без заминки и запинки? Нет, у нас так не бывает. Еще и время точное назвали, юмористы.

Волнуюсь, разумеется. Хотя опасаться нечего. Если даже допустить невозможное и они в самом деле явятся сегодня, в весеннюю развезуху, то здесь все готово. Запасены картонные ящики на всю продукцию, налит полный чайник воды, на столе стоят розетки с вареньем, есть печенье из магазина. Все готово к приему гостей.

Уже без десяти одиннадцать. Их, разумеется, нет. И, возможно, не будет. Совсем не будет, потому что давно забыли про меня или фирма их давно лопнула. Обязательства стерпит бумага: любой договор, обставленный красивыми подписями и печатями, вполне может оказаться пустышкой.

Годом раньше мы с дочерью, наивные люди, возмущались и трясли подобной бумажкой в гостинице «Интурист».

Мы, конечно, не с луны свалились, знали где живем, но, как выяснилось, еще плохо представляли современные реалии. У нас в руках договор, где черным по белому написано, что иркутский филиал всесоюзной компании «Интурист» обязуется принять и оплатить изделия из бересты в количестве. Стояли печати, красовались размашистые подписи генерального директора и главного бухгалтера. Стояла и сегодняшняя дата приема изделий.

И что же? Белоснежные девушки в администрации заявляют, что бухгалтер на больничном, а директора нет. Звучит любимая чиновничья фраза: «Зайдите завтра».

Услышав, что главного нет, не могу сдержать взрыв негодования:

— Как нет? Мы только вчера договорились по телефону, что встречаемся сегодня, в десять тридцать утра. Позвоните в приемную, он должен быть на месте.

— Директор человек занятой, у него много дел. Ему не обязательно находиться в своем кабинете. Есть много других людей, кроме вас...

— Понятно, что занятой. Но еще надо быть и деловым, если директор. Не так ли? Он хотя бы должен помнить о своих обещаниях, не говоря уже о том, что надо их выполнять.

— Что вы хотите сказать?

— Хочу сказать, что мы приехали издалека. Долго добирались автобусом, шли пешком и несли чемодан с вашим заказом, чтобы выполнить договор. Но договор двусторонний. Где вторая сторона? В другой день мы уже не придем. Останетесь без своих сувениров, будете и дальше московских матрешек продавать. Перед вами, между прочим, известный журналист, не только мастер по бересте. Меня знают во всех серьезных газетах, а завтра там узнают о «достижениях» вашего начальства. Вы этого хотите?

Это был вынужденный ход. Времена стояли такие, когда по инерции чиновники еще побаивались газетчиков, а сувениров, действительно, нигде не было. Даже матрешки и крашенные ложки завозились из Москвы.

Пошел на крайность, иначе пришлось бы уходить ни с чем. Ход не лучший, надо признать, но он принес плоды. Белоснежные девушки после тех слов пош-

ли пятнами свекольных оттенков, стали куда-то звонить и что-то говорить. Минут через пятнадцать мы стояли возле окошечка кассы «Интуриста» с пустым чемоданом.

...Из любопытства выхожу в большую комнату, откуда видна дорога. На часах без двух минут одиннадцать.

От увиденного глаза вылезли из орбит. Это казалось неправдоподобным, как инопланетный корабль: у ворот стоит заляпанная весенней грязью «Волга», из нее выходят два знакомых японца, помогают выйти женщине.

Ровно в одиннадцать заказчики стоят на пороге жилища и низко кланяются, как это принято у них на родине.

Первую партию изделий проверяли так же тщательно, как в первый приезд. Поочередно брали каждый туесок, открывали-закрывали крышки, пробовали, насколько плотно утоплено дно. Осмотрев около трети, стали проверять выборочно, затем и вовсе ограничились внешним осмотром. Все это без комментариев, под ревнивыми взглядами мастера.

Свое качество знаю, опасаться нечего, но все-таки тревожно. Первый раз такое — проверка на «международном уровне».

Комплименты в бизнесе не приветствуются. По своей неопытности я еще не знал этого и потому напрасно ждал хотя бы небольшой похвалы в свой адрес. Работу они приняли, сделали пометки в своих бумагах.

Но как прожить без похвалы? Можно, а не хочется. И вопрос выскакивает. Понравилось ли качество? Спрашиваю, правда, осторожно, обращаясь только к переводчице. Кореянка удивленно подняла бровь и, помедлив, ответила от себя:

— Ничего такого они не говорили. Но качество работы их устраивает. Они, может быть, сделают еще один заказ.

Повторный заказ, действительно, последовал. И даже в большем объеме. Только теперь решили совсем обойтись без бумажек. Просто поверим данному слову, как это принято в мире порядочных людей.

Явились коммерсанты спустя полгода. Приехали в том же составе, в тот день и час, как было условлено. Тем самым дали понять, что выполняют в точности всякое свое обещание. На этот раз изделия проверяли только выборочно. Это значило, что мне тоже доверяют. Встреча прошла, как говорится, в штатном режиме.

Было, однако, и кое-что новенькое.

Гости из страны восходящего солнца и цветущей сакуры в этот раз были многословней. Отведав чаю с брусникой, они рассказали, что уже второй год ездят по разным областям Сибири и Дальнего Востока, собирают изделия народных промыслов. От них довелось узнать, что в наших деревнях и поселках, забытых властями, живут сотни умельцев и мастериц, готовых удивлять мир своими творениями.

Услышанное наводило на мысли. Получалось, что два японца знали о нас больше (еще и выжить помогали), чем сотни наших чиновников, поющих нам свои псевдопатриотические песенки, но ничего реально не делающих для развития своей страны.

Напомню, что речь идет о достаточно далеких временах, когда мы жили без сотовой связи и Интернета. Уже тогда люди из другой страны как-то узна-

ли (не через военную же разведку?) адреса и стационарные телефоны многих наших мастеров, умеющих работать, но не знающих, куда пристроить свои изделия, чтобы заработать на хлеб и обеспечить свои семьи. Чужие деловые люди сумели их найти, организовать. Свои не смогли, не захотели и, скорее всего, не думали ни о мастерах, ни о стране.

Еще больше округлились мои глаза, когда гости положили на стол рекламный красочный альбом с цветными фотографиями тех изделий, которые закупаются и вывозятся японцами из Сибири.

Альбом издан на японском и английском языках, предназначен для продвижения народных поделок на мировой рынок. Можно долго, не замечая времени, листать его и любоваться творчеством неизвестных мастеров, богатых на выдумку. Чего здесь только нет! Вязание, плетение, кружева, куклы, игрушки, лепнина из глины, резьба по дереву и кости, кузнечное творчество — устанешь перечислять.

На одной из страниц взгляд задерживается. Смотрю как замороженный, не веря глазам, — неужели мои работы?! Нет, не мои, просто очень похожи.

А все-таки мои! Вот мой «фирменный» знак, а вот и книжные закладки — это чисто моя выдумка, никто такие не делает.

Фотограф так преобразил знакомые вещи, что трудно отбросить сомнения. Как он это сумел? Оригинальная подсветка, выигрышный ракурс, игра светотеней. Мне, немало лет отдавшему фототворчеству и кое-что в этом понимающему, просто не под силу такие чудеса.

Желая подшутить над Японией и японцами, мы рассказываем анекдот о японском гонщике по имени Тояма Токанава. Если же посмотреть правде в глаза, то эти два слова лучше подходят к нашим дорогам. А также к непредсказуемым шатаниям в политике, экономике и духовной сфере.

Сотрудничество наше закончилось внезапно.

Японцы наведались в Шаманку еще раз, забрали последний заказ и, не прощаясь, исчезли. Как оказалось — навсегда. Телефон их представительства в Южно-Сахалинске не отвечал.

Свой бизнес в России они, судя по всему, свернули. О причинах можно лишь догадываться. Времена наступили такие, что препятствия для деловых людей рождались и множились каждый месяц.

Реформы экономики и политики, внутренней и внешней, шли невнятно и непоследовательно. Складывалось впечатление, что наше начальство выпило лишнего на банкете в честь «перестройки» и шло спотыкаясь, падая, тычась в темные переулки, пятясь назад, смутно соображая, куда и зачем оно ведет народ.

Невозможно вести дела и что-то планировать там, где правила игры меняются в ходе игры, — справедливо рассудили бизнесмены из далекой Японии.

Но осталась добрая память, воплотившаяся в автомобиль «Запорожец», маленький, тесный, примитивного устройства, как самокат, но способный ездить без посторонней помощи. С ним наша семья получила возможность быстро перемещаться в пространстве, а в перерывах между перемещениями достаточно прочно стоять на земле. Спасибо высшим силам, опекающим наше небольшое семейство.

Павел КУРАВСКИЙ

КИТЕЖ-ГРАД ЛАРИСЫ КРАВЧЕНКО

4 марта 2019 года исполнилось 90 лет со дня рождения новосибирского прозаика и поэта Ларисы Кравченко — одной из самых пронзительных русских мемуаристок XX века, великолепной писательницы и тонкой стилистки, уроженки русского Харбина. Имени Ларисы Кравченко нет в «Википедии», но оно навсегда вписано золотыми буквами в историю «Сибирских огней» — журнала, который первым на родине опубликовал «репатриантку». Пятнадцать лет, как



Лариса Кравченко

Ларисы Павловны нет с нами. А 90-летие — хороший повод вспомнить не только о ее до сих пор не изданном до конца творческом наследии, но и обо всей удивительной истории русского Харбина — столицы русской Белой Азии.

Лариса Павловна Кравченко родилась 4 марта 1929 года в Харбине. В 1954-м переселилась в Новосибирскую область, работала в Баганском районе на целине. С 1957 года активно печаталась в журналах «Сельская молодежь», «Сибирские огни», а также в коллективных поэтических сборниках. С 1961 года состояла в новосибирском литературном объединении под руководством поэта Ильи Фоянкова. В 1971-м был опубликован первый роман Ларисы Кравченко «Земля за холмом» (в его усеченном варианте, под названием «Преодоление границы»), а в 1985 году увидел свет второй роман — «Пейзаж с эвкалиптами». Оба произведения были напечатаны на страницах журнала «Сибирские огни». А в 1988 году Западно-Сибирское книжное издательство опубликовало романы полноценной книгой. Главы из третьего — «Харбинского романа» печатались в журнале «Новосибирск» в 2002 году. Во всех романах главная героиня — Лелька (Елена) Савчук, в которой нетрудно уловить черты личности и биографии автора.

Летом 2003 года Л. Кравченко попала под машину и оправиться от травм уже не смогла. В конце августа 2003 года она ушла из жизни. Успев, впрочем, практически завершить свою харбинскую летопись...

Насыщенная, но короткая — всего в 60 лет — история этого «Петербурга на сопках Маньчжурии» отлично просматривается сквозь историю семьи Кравченко. Ценность автобиографических книг Ларисы Кравченко именно в том, что она показала эпопею Харбина и его граждан как семейную хронику.

Город строили русские. Это было очень давно, в эпоху бабушкиной молодости. Бабушка любит рассказывать о своей молодости. <...> А мама родилась в военном городке под Куаньчэнцзы, где стоял полк дедушки Логинова. Когда полк перевели в Харбин, города не было еще фактически — только вокзал, серый с полукруглыми окнами, да бревенчатый собор на вершине пустого зеленого холма. Собор этот рубили где-то на севере России, русские плотники резали деревянные кружева и подгоняли бревна. Потом перевезли в Маньчжурию и поставили на середине будущей площади. Так и остался он — русский до последнего гвоздя — у чужой китайской реки.

Лариса родилась в семье строителей Китайско-Восточной железной дороги. В конце XIX века в Манчжурию с Украины уехал ее дед по отцу, завербованный рабочим. Другой дед — кубанский казак — служил в Заамурской страже, охранявшей КВЖД.

Русские основали Харбин у моста через реку Сунгари в 1898 году как центральную железнодорожную станцию Трансманьчжурской магистрали — южного ответвления Транссиба, кратчайшего пути из Европы к Тихому океану. Могли быть и другие точки перехода через Сунгари, и Лариса Павловна справедливо сравнивала судьбы Харбина и Ново-

Николаевска — по спорам относительно места постройки моста и скорости развития. Были и другие города, основанные русскими, — Порт-Артур, Дальний, — созданные на землях, арендованных короной у бессильного Китая на четверть века. Однако Россия не продержала их и десяти лет, уступив эти порты растущей Японии в результате войны 1904—1905 годов. А вот Харбин еще долго оставался русским. Скажем, в 1917 году из 100 тысяч городского населения более 40 тысяч составляли русские — привилегированный класс, еще 50 тысяч — малограмотные китайцы и почти бесправные на тот момент маньчжуры.

Первый поезд из Москвы в Харбин отправился в начале июня 1903 года. Время движения скорого поезда от Москвы до Порт-Артура составляло 13 суток 4 часа, пассажирского — 16 с половиной суток. Сегодня эти сроки — полмесяца в поезде! — кажутся нам катастрофическими, но для начала XX века это был грандиозный прорыв. Авиации как транспорта еще не существовало, гужевой путь до Дальнего Востока занимал не менее полутора месяцев, морской путь в обход Африки — те же шесть недель, через Суэц в обход Индии — без малого месяц. Что в сравнении с этим 13 суток в сверхкомфортном экспрессе?! Билет 1-го класса в скором поезде от Москвы до Порт-Артура стоил 272 рубля, билет 3-го класса в обычном пассажирском — 64 рубля. Для состоятельных жителей российских столиц — вполне подъемные суммы. Прибытие скорых поездов в Дальний было согласовано с отправлением в тот же день из Дальнего принадлежавших КВЖД пароходов-экспрессов в Шанхай и Нагасаки. Что тут скажешь?.. Только словами Лимонова: «У нас была великая эпоха...»

Харбин — центр КВЖД — рос буквально не по дням, а по часам. Уже в годы

Русско-японской войны юный город стал главным тыловым центром русской армии. Под госпитали были отведены все подходящие для этого здания. Снабжению Харбина Россия уделяла повышенное внимание. В силу определенных геополитических и исторических причин он стал своеобразными торговыми воротами в Азию. Это обеспечивало высокие темпы роста местной экономики, как некогда это было с Одессой, а затем — с Гонконгом или Сингапуром. Дорогой в течение 15 благословенных лет (1903—1918) мудро руководил генерал-лейтенант Дмитрий Хорват, и полосу отчуждения КВЖД ее жители, всегда обеспеченные работой и социальными благами, называли «счастливой Хорватией».

Кстати, о пресловутой «полосе отчуждения»... Россия построила КВЖД менее чем за 6 лет. Нет, не так... Менее чем за *шесть* лет было проложено больше трех тысяч километров путей по трем линиям, построено более ста станций, возведены полторы тысячи мостов и пробиты девять туннелей! В малообжитом и диком краю, где бандитствовали местные китайские шайки — хунхузы, дорогу и все сопутствующие сооружения необходимо было охранять от набегов, разорения и воровства. Для этой цели и была взята в аренду у Китая на 99 лет полоса отчуждения — то есть оберегаемая от чужих, от *чуждых* людей. Эта полоса распространялась на всю длину КВЖД. Ширина полосы составляла 40 километров — по 20 в обе стороны от железнодорожного полотна. На территории этой полосы действовали законы Российской империи. Скромным арифметическим приемом — умножением 3000 км длины на 40 км ширины — мы получаем целую страну довольно-таки странной формы, но огромной площади в 120 тысяч квадратных километров — немногим меньше сегодняшней Греции, чуть крупнее ны-

нешней Болгарии. Огромный осваиваемый (а не захваченный!) Россией регион, центром которого стал Харбин, по праву головной станции — Харбин-Центральный.

Большое внимание к истории возникновения города, этимологии его названия Лариса Кравченко уделила в начале своего третьего, доселе целиком не изданного «Харбинского романа». Однако, не желая состязаться в лаконичности описания с маститым собратом по перу, она охотно приводила цитату из самого знаменитого харбинского поэта Арсения Несмелова — точно про своего деда-изыскателя:

Инженер. Расстегнут ворот.

Фляга. Карабин.

— **Здесь построим русский город.**

Назовем — Харбин.

<...>

Милый город, горд и строен,

Будет день такой,

Что не вспомнят, что построен

Русской ты рукой...

Как и в случае с прорывным развитием Новосибирска, Харбин вышел на новый уровень в результате связанного с войной переселения. Из-за гражданской уособицы в России дворяне, купцы, священнослужители, разночинцы всех мастей, интеллигенты, деятели науки и искусств, белогвардейцы — колчаковцы, семеновцы, каппелевцы, унгернцы — хлынули в Харбин. К 1924 году численность русского населения выросла до ста тысяч, а населения в целом — до полумиллиона. Здесь обосновался легендарный торговый дом купца Чурина. Здесь по-прежнему работал главный акционер строительства дороги — некогда крупнейший по уровню капитализации на планете Русско-азиатский банк. Ежедневно выходило до 14 газет только на русском языке. Были и однодневки, но вот «Рупор» и «Заря» жили долгие годы. В течение 20 лет (1926—1945) еженедельно

издавался один из лучших литературных журналов в истории русского рассеяния — «Рубеж». Успешно работала русская система образования всех ступеней, и вершиной была инженерская Мекка — Харбинский политехнический институт.

Архиепископ Нафанаил (Львов) писал:

Харбин был исключительным явлением в то время. Построенный русскими на китайской территории, он оставался типичным русским провинциальным городом в течение еще 25 лет после революции. В Харбине было 26 православных церквей, из них 22 настоящих храма, целая сеть средне-учебных школ и 6 высших учебных заведений. Милостью Божией Харбин на четверть века продолжил нормальную дореволюционную русскую жизнь.

Не совсем, однако, дореволюционную, а куда более удивительную!

КВЖД перешла под совместную юрисдикцию советского и китайского правительств. Перед харбинцами поставили жесткий выбор: принять одно из двух гражданств — советское или китайское. Так город разделился на три лагеря: «совы», «киты» и те, кто не отрекся и навсегда сохранил подданство рухнувшей империи. В городе с 1924 года работало Генеральное консульство СССР. На страже стояла вооруженная охрана дороги, активно трудились агенты ОГПУ, действовала советская контрразведка. Совслужащие вполне уживались с эмигрантами и белогвардейцами, правда, не всегда мирно. Сегодня существует конспирологическая версия о том, что Харбин был едва ли не эпицентром взаимодействия и противодействия разведок двух конкурирующих лагерей — социалистического и капиталистического. Еще в советское время это породило массу детективной беллетристики — так, даже легендарный юлиансеменовский разведчик

Владимиров-Исаев-Штирлиц начинал свою зарубежную карьеру именно в Харбине. В общем, политический паноптикум налицо, «Остров Крым» Василия Аксенова в действии.

Семья Кравченко, однако, ко всем этим перипетиям отношения не имела — они были из тех коренных, изначальных харбинцев, которые продолжали жить в родном городе в то время, как империя переживала метаморфозы и легко разбрасывалась глухими провинциями у моря. В этом смысле история харбинцев и вовсе уникальна: они никуда не эмигрировали, ни от кого не бежали и уж тем более никого не «предавали». Это явление с максимальной точностью описал все тот же Арсений Несмелов:

**Россия отошла, как пароход
От берега, от пристани отходит.
Печаль, как расстояние, — растет.
Уж лиц не различить на пароходе.**

Много позже в своей единственной книге стихов «Встреча с Родиной» (Новосибирск, 1962 г.) в одноименном стихотворении Лариса Кравченко будет вспоминать о своем детстве так:

**Я родилась под нерусским небом
(Нам не дано выбирать бытие)...
Росла без Родины. Родины не было,
Но знала, что нужно любить ее.**

Именно потому представляется необходимым раз и навсегда поставить точку в терминологической путанице: то, что совершила в 1954 году юная Лариса Кравченко, было репатриацией, а не реэмиграцией. То есть возвращением на историческую, а не на покинутую Родину (в отличие, скажем, от самого знаменитого русского «китайца» Александра Вертинского). Всю свою жизнь Лариса Кравченко старалась преодолеть эту трагическую дилемму: «Эмигрантка... Какая нелепость быть эмигрант-

кой по рождению, и какое преступление перед своими детьми делает человек, покидающий Родину!» Почему? Ответ — в другой цитате из «Земли за холмом»: «Оказывается, из человека можно вырастить все — букашку или зверя, если отнять у него Родину и правду!»

Русская вольница в столице провинции Хэйлунцзян продолжалась недолго. Большой Китай жил своими глобальными противоречиями. Уже в октябре 1928-го имперские власти выслали всех советских служащих КВЖД. В конце 1929-го из-за дороги разразился вооруженный конфликт, по обе стороны которого стояли как русские, так и китайцы. В 1932-м под давлением Японии было создано марионеточное государство Маньчжоу-го, в город вошла Квантунская армия. В тот же год Харбин пережил самое страшное в своей истории наводнение. А еще через три года, устав от бесчисленных провокаций и проявив полнейшую дипломатическую беспомощность, Советский Союз проторговался и подписал соглашение об уступке КВЖД Маньчжоу-го, фактически — Японии. Великая дорога, построенная при царизме в рекордные шесть лет, была сдана японцам за грошовую цену — 140 миллионов йен, менее чем 50 миллионов золотых рублей по курсу 1935 года.

Многие монархически и фашистский* настроенные русские во главе с БРЭМом — Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи — поначалу приветствовали приход японцев. Им импонировали военная мощь и выправка новых хозяев. Их власть означала «конец советам» и пресечение произвола китайской администрации. Впрочем, для Японии и несоветские русские были в лучшем случае квалифицированной рабочей

* В среде русской диаспоры в Китае, особенно в Харбине, одно время пользовалась некоторой популярностью Всероссийская фашистская партия, возглавляемая политическим авантюристом Константином Родзевским.

силой и марионеточным политическим материалом. В школах стал обязательным к изучению японский язык, росло давление на православную церковь, работали милитаризованные прояпонские общества «Кевакай» и «Асано», заставлявшие русскую молодежь вступать в антисоветские вооруженные отряды и готовиться к главной войне — со Сталиным. С середины тридцатых начинается первая волна оттока русских из Харбина. Они уезжали в Шанхай, Пекин, Тяньцзинь и другие города, не оккупированные японцами.

Именно к этому времени относятся первые воспоминания юной Ларисы Кравченко. Эти впечатления легли в основу первых глав первого романа автора — «Земля за холмом».

Лелька Савчук начинает ретроспекцию своей юности так:

Она терпеть не может японцев — вообще всех! Потому что их так униженно боятся взрослые. Японцы запретили в городе американские танцы, потому что они, видите ли, воюют с Америкой! И всех русских заставили кланяться: «Поклон в сторону резиденции императора Ниппон! Поклон в сторону храма богини Аматэрасу». Поклон нужно совершать точно под углом в сорок пять градусов. <...> Потом мальчишек отделили. Японцы всё чего-то перетасовывают школы, и взрослые ворчат: «Хотят оставить русских детей неграмотными!» <...> И еще — японцы ввели военный строй! Военный строй для девочек — безобразие, как говорит бабушка. Неприлично ползать по земле перед мужчинами, в брюках! <...> Полковник Косов, естественно, другого мнения: «Вы должны быть готовы к началу военных действий!» (С кем будут военные действия, полковник умалчивал, но само собой подразумевалось, что это могла быть только Советская Россия. Война с Америкой уже шла где-то далеко на островах и пока обходилась без Лелькиного участия.)

К слову о сквозном персонаже трилогии и манере письма Ларисы Кравченко. Ее произведения — разумеется, не романы в классическом понимании. Скорее интуитивно, чем осознанно, она с самого начала пришла к тому, что классический роман во второй половине XX века перестал быть центральным жанром в русской литературе, продержавшись в этой главенствующей роли почти целое столетие. Отказ от романистики — устойчивая тенденция всей мировой литературы. Из двух жанров-демиургов новой прозы — мемуара и анекдота — Лариса Кравченко ожидаемо выбрала мемуар.

Варлам Шаламов в заметке «О прозе» отказ от романа в пользу мемуара объяснял так:

Роман умер. И никакая сила в мире не воскресит эту литературную форму. Людям, прошедшим революции, войны и концентрационные лагеря, нет дела до романа. <...> Потребность в искусстве писателя сохранилась, но доверие к беллетристике подорвано. <...> Огромный интерес во всем мире к мемуарной литературе — это голос времени, знамение времени. <...> Я не пишу воспоминаний... <...> ...Я не пишу и рассказов — вернее, стараюсь написать не рассказ, а то, что было бы не литературой. Не проза документа, а проза, выстрадавшая как документ.

«Проза, выстрадавшая как документ» — эту шаламовскую идею развил Сергей Довлатов, избравший, правда, анекдот:

За последние годы российская проза все более тяготеет к документализму, и дело не только в использовании реальных фактов, упоминании реальных лиц и событий, цитировании документов, все это было и раньше. Мне кажется, жанр, в котором я работаю, связан с попыткой синтеза художественных и документальных приемов, я пытаюсь создать худо-

жественное движение в прозе, результатом которого является документ. Говоря проще, речь идет не об использовании, а о создании документа — художественными средствами.

В этой манере русская проза обрела в XX веке много выдающихся произведений — это и «Некрополь» Ходасевича, и «Роман без вранья» Мариенгофа, и «Современники» Чуковского, и «Другие берега» Набокова, и «Алмазный мой венец» Катаева, и еще десятки ярких книг. Осмелимся утверждать, что в этот ряд может и должна рано или поздно встать и трилогия Ларисы Кравченко.

В мемуаре Кравченко автобиографический персонаж не заслоняет собою больших событий, не панибратствует с сильными мира сего и не живет их помощью, а, напротив, стойко держится в водовороте своей маленькой истории, вписанной в мировую, мужественно ей противостоит, принимая ее как неизбежное, но не как должное. «И сама Лелька крохотная — пылинка перед лицом истории и, вместе с тем, — частица ее». Слово «частица» в этой цитате из «Земли за холмом», впрочем, следовало бы писать прописными буквами, ибо — через несколько страниц: «Человек — это, в сущности, его эпоха, отраженная в нем в уменьшенном масштабе». Человек, по Кравченко, — важнейшая частица эпохи, может быть, средоточие ее отражения, точка (пылинка!) преломления луча истории.

«Все созданное автором не приемлет красотостей, — писал о творческой манере Кравченко прозаик Геннадий Падерин, — но вместе с тем в каждый штрих, в каждый мазок кисти художника вложены и данное Богом дарование, и наработанное мастерство. И еще: ее страницы согреты беззаветной любовью к русскому слову, к его исконному звучанию, к его первородной огранке». Трудно не согла-

ситься с Падериным, находя у Кравченко такие художественные жемчужины: «Юрка вдруг почувствовал себя сильным и ловким от переполнявшей его радости, и ему захотелось сделать что-нибудь такое, смелое. Юрка подпрыгнул от избытка чувств, ухватился за нижнюю ветку вяза над тротуаром и отломал ее. Никаких других возможностей для совершения подвига у Юрки под рукой не было». Или: «Лейтенанты на Большом проспекте ходят в фуражках, и виллисы разбрызгивают лужи с разбегу» («Земля за холмом»).

О русском Харбине, в том числе поэтическом, оставлено немало воспоминаний (В. Петров, «Город на Сунгари», США, 1987; В. Перелешин, «Два полустанка», США, 1982; Л. Хаиндрава, «Отчий дом», Тбилиси, 1981) и написано немало современных книг. Все они имеют свои отличительные особенности и нюансы. Эпопея Ларисы Кравченко на этом фоне представляется самым «кровным» и самым масштабным семейным полотном, охватывая судьбы русских харбинцев с конца XIX до начала XXI века — через громаду собственной скромной судьбы. Харбин не был единственной, но навсегда остался центральной, магистральной темой ее творчества. «Глубока и неизменна власть «места рождения». Или все дело в особенности этого города, на пустом месте некогда заложенного нашими предками? И в этом его сила над душами нашими?» — искала она ответа на риторический, в общем-то, вопрос.

Роман «Земля за холмом»:

Какая все-таки емкая штука — одна человеческая жизнь. Разные эпохи составляют ее как геологические пласты: у меня лично даже «эпоха» японской оккупации содержится в ранних пластах существования! Пятнадцать лет — четвертый «Б» класс. И город Харбин,

который по справочникам значится еще «центром белогвардейской организации». И неужели правда — я — та смешная девчонка, косички из-под кевакайки, с винтовкой наперевес, на посту ограждения за стрельбищем? Совсем маленькой и чуждой вижу я девочку ту, отделенную дистанцией времени.

Творческое наследие Ларисы Кравченко невелико по объему. Два изданных романа — «Земля за холмом» и «Пейзаж с эвкалиптами», сборник стихов «Встреча с Родиной», разбросанные по новосибирским газетам и журналам статьи, стихи и отрывки — то немного, что было на поверхности и что теперь — только в памяти близких и в фондах библиотек. Это — несправедливо, учитывая огромный пластический дар и невероятное стилистическое обаяние творчества Ларисы Кравченко! Драматург Юрий Мирошниченко по чистоте языка, выверенности слога и емкости образов сравнивал прозу Кравченко с набоковской. Мемуаристов такого дарования, столь тонкого чувства в истории русской (новосибирской — и подавно!) литературы — раз-два и обчелся! Сама же Лариса Павловна немало сделала для собирательства и продвижения творчества харбинских литераторов. К примеру, вместе с Еленой Таскиной в 1991-м собрала и издала 400-страничный альманах «Харбин. Ветка русского дерева», в котором были опубликованы стихи и проза 35 харбинцев, на родине практически неизвестных.

В интервью «Вечернему Новосибирску» она как-то посетовала: «Если бы не была столь экзотичной моя тема, меня бы издавали чаще». Наверняка! С другой стороны, Кравченко — хранитель темы в том же глубоком смысле, в каком герой Юрия Домбровского был хранителем древностей. И здесь главное не объем изданного, куда важнее — качество «выстраданного документа». Вспом-

ним, как замечательно об этом в «Ни дня без строчки» сказал еще один тонкий стилист — Юрий Олеша:

Современные прозаические вещи могут иметь соответствующую современной психике ценность только тогда, когда они написаны в один присест. Размышление или воспоминание в двадцать или тридцать строк — максимально в сто, скажем, строк — это и есть современный роман. <...> Большие книги читаются сейчас в перерывах — в метро, даже на его эскалаторах, — для чего ж тогда книге быть большой?

Книги Ларисы Кравченко — совсем небольшие, и — проверено — читаются не просто в один присест — взахлеб!

Вернемся, однако, ненадолго в Харбин ее юности. Стольный град, вопреки тискам «великого Ниппона», вопреки громыхавшим валам Второй мировой, продолжал жить и творить, торговать и печатать, веселиться и печалиться. Подпольно слушали советские радиостанции — за это можно было угодить в японские застенки!

Юркин отец, оказывается, слушал советское радио. Это запрещено под страхом смерти, и во всех радиоприемниках города опечатаны пломбой переключатели на короткую волну. Но кто знает радиотехнику, подкручивает там разные проволочки и слушает. Только это очень опасно, потому что может донести кто-нибудь. На Юркиного отца донесли. <...> Русская земля так близко, на той стороне! И голос ее слышится сквозь шум в эфире строчками симоновских стихов! Если бы только Юркин отец уехал туда в тридцать пятом, когда уезжали советские!

Более того — не только ловили сквозь глушилки советскую «запрещенку» — прямо из Харбина умудрялась вещать подпольная антияпонская радиостанция «Отчизна»!

Харбинцы жили, публиковали стихи и прозу, ездили к морю в Порт-Артур и Дальний, ставили театральные постановки и даже снимали фильмы, спорили о судьбах Родины, поэтически стрелялись, ходили на приезжих звезд — донской казачий хор Сергея Жарова и «печальные песенки» вольного шанхайца Вертинского. Который, впрочем, китайских русских не жаловал — по крайней мере, в позднейших воспоминаниях:

Русские совсем осатанели. Все заняты спекуляцией. Очень быстро создаются целые состояния. И так же быстро тают от одной неудачной комбинации или от капризов биржи. <...> Кто служит в контрразведках, кто «работает с японцами», кто просто шарит по карманам» (А. Вертинский, «Шанхай, 1941 год»). Не правда ли, чистый Стамбул булгаковского «Бега»? — П. К.)

Куда ближе «небожителя» Вертинского был харбинцам свой родной казачий поэт Алексей Ачаир, прекрасный пианист и мелодекламатор! Именно он, возглавивший «Христианский союз молодых людей» и осторожно, мудро сотрудничавший с японской администрацией, идейный вдохновитель «Рубежа» и литературного объединения молодых авторов «Чураевка», организатор поэтических пятниц под неизменной зеленой лампой, — приютил и окормлял юные харбинские дарования, среди них — Ларису Кравченко. Более того, он был для нее не только учителем в поэзии, но и учителем музыки. Ачаир, волею судеб также завершивший свой жизненный путь в Новосибирске, еще молодым, в начале двадцатых, прославился во всем русском зарубежье программными строчками:

**Не сломала судьба нас, не выгнула,
Хоть пригнула до самой земли...
А за то, что нас Родина выгнала,
Мы по свету ее разнесли.**

Впрочем, к тому моменту, когда совсем юная Лариса Кравченко начала рифмовать свои первые строки, лейтмотивом ачаиrowsкой лирики стал обратный вектор — домой, и в этом стремлении он был схож с Вертинским и совсем несхож с Несмеловым.

**Это принес мне в жуткий час
тревоги —
Звездный мой луч —
твой голосок, Сибирь.
Мой ветерок, мой ветер синеокий,
Горных дорог веселый поводырь.**

Так писал Ачаир. Вертинский в стихотворении «Китай» с роковой горечью предчувствовал грядущее исчезновение всего русского в Поднебесной:

**Но в расщелинах глаз,
но в покорной улыбке Китая
Дремлют тихие змеи и молнии
дальних зарниц,
И когда-нибудь грянет гроза,
и застонет земля, сотрясая
Вековое безмолвье забытых
ненужных гробниц.**

А русский офицер и, увы, русский фашист, поклонник Родзаевского Арсений Несмелов, определенно не видя себя в живых при возвращении на Родину, безнадежно мечтал:

**Хорошо б уплыть в такие страны,
Где еще не разлюбили нас!**

К слову о других странах. Другие эмигрантские центры — Берлин, Париж, Прага и пр. — всегда свысока смотрели на Харбин и всю Белую Азию, относились к ним снисходительно, как к провинциалам. С одной стороны, действительно, Буниных и Набоковых в Китае не было, а из харбинцев относительно регулярно в европейских и американских эмигрантских изданиях печатались только Несмелов и Ачаир. Но здесь были и Рерихи,

и Скиталец, и Венедикт Март! Из Харбина вышли Ларисса Андерсен и Валерий Перелешин, Олег Лундстрем и Юл Бриннер! Здесь гастролировали Федор Шаляпин и Анна Павлова! Да и Александр Вертинский не где-нибудь, а именно в Харбине в 1937 году издал свой единственный прижизненный сборник не нот с подстрочниками, а стихов!

Нигде так не кипела и не была такой относительно стабильной жизнь русского общества. Да, в 20-х годах среди русских эмигрантов в Берлине был популярен анекдот о немце, повесившемся на Курфюрстендамм, так как он «сошел с ума от тоски по родной речи», но это была, в общем-то, просто пустая похвальба... Харбин вяло презирали за периферийность, за успешную торговлю, за фашистскую партию Родзаевского. Но Харбин — жил, хранил и приумножал русскую культуру так же бережно и вдохновенно, как другие центры расщепления.

И еще. Поэты русского Китая, как и все поэты вообще, обладали даром пророческого предвидения. «Книги название — для домыслов острая пища», — подчеркивал Иван Елагин. Почти все «китайцы» знали, что Харбин и другие города Востока для русских — временное пристанище, «остановка в пустыне», и постоянной второй родиной им не стать. Об этом, а также об остром чувстве ностальгии, утраты Родины настоящей, красноречиво говорят названия книг. Подавляющее большинство названий связаны с темой дороги, пути, перепутья, разлуки, бренности, изгнания и трагического недавнего прошлого: «Кровавый отблеск», «Без России», «Через океан», «Полустанок», «Белая флотилия» (Арсений Несмелов); «Польнь и солнце», «Тропы», «Под золотым небом» (Алексей Ачаир); «По земным лугам» (Ларисса Андерсен, название коллективной ан-

тологии — «Остров» — также придумала она); «В пути», «Добрый улей», «Звезда над морем», «Жертва» (Валерий Перелешин); «Золотые кораблики» (Георгий Сатовский); «Песчаный берег» (Василий Обухов); «Огонь неугасимый» (Александра Паркау); «У порога», «Белая роща» (Елена Недельская); «Ступени», «Крылья» (Лидия Хаиндрова); «Цветы в конверте» (Фаина Дмитриева); «Бранные песни» (Ольга Тельтофт).

Японцы бесчинствовали и все больше превращались в нелюдей. Русские, китайцы и маньчжуры частенько бесследно исчезали во тьме японских тюрем, а как выяснилось после — в страшных бетонных ямах лаборатории «Пинфан», открытой всего-то в 20 километрах от Харбина. В этой «опытной» лаборатории, как немцами в Бухенвальде, проводились опыты по испытанию на людях химического, бактериологического и психологического оружия, по обморожению людей на случай похода в Сибирь, по заражению различными вирусами и отравлению ядами. Японцы ведь (по аналогии с Маньчжоуго) серьезно планировали создать от Камчатки до Урала подконтрольное «государство» Сибирь-го! В «Пинфане» работал «Отряд 731» генерал-лейтенанта Сиро Исии, проводивший бесчеловечные опыты с целью установления предела времени, которое человек может прожить под воздействием разных экстремальных факторов (кипяток, высушивание, лишение пищи, лишение воды, обмороживание, электроток и др.). Подопытных пленных «добродушные» и «прогрессивные» японцы называли «бревнами».

Лариса Кравченко пишет в «Земле за холмом»:

Как они держались в Маньчжурии — как хозяева! Дороги, прокладываемые к русским границам. Поселенцы-колонисты на приграничных землях, вооруженные и обученные, как вторая армия.

И сама Квантунская армия — в мохнатых шапках и шубах, брезентовых, с отстегиваемыми рукавами, в рукавицах с двумя пальцами для стрельбы. Склады, склады, набитые зимним обмундированием. А как брали на улицах китайцев и угоняли их на границу на постройку подземных укреплений, а потом уничтожали, как рабов в Древнем Египте, чтобы не выдали они тайну строительства?! А разъезд Пинфан — тихий разъезд под городом и совсем рядом с Лелькиным стрельбищем! Кто мог подумать! (Потом только откроется истинная суть его — «Отряд 731», на процессе в Хабаровске.) Люди как подопытный материал — на заражение, на обмораживание — нужно же быть готовым к сибирским морозам и учесть ошибки друга Гитлера под Москвой! Подопытного материала жандармерия поставляет с избытком! А все думали — почему умирает от тифа каждый, кто хоть на сутки попадает в подвалы жандармерии? Думали — там просто грязь и насекомые... А как они обожали русский колорит! Самовары и крашенные яйца на пасху! Эмблемой города Харбина на всех японских изданиях стал русский бревенчатый собор, сфотографированный в разных ракурсах. И сами они — на фоне этого собора, — возможно, потому, что за этим собором они видели бревенчатую поработанную Россию «до Урала».

Однако мировая «ось зла» гнулась и ломалась под натиском союзнических армий. Сломив гитлеризм и его европейских приспешников, Советская армия в считанные дни августа 1945-го превратила полуторамиллионную орду квантуновцев в трусливое стадо беглых дикарей:

Все перепуталось в этой Маньчжурии и в квантунских войсках, таких дисциплинированных, тринадцать лет готовившихся к войне. Прерванная связь. Противоречия приказов. Воинские части, раздробленные этим напором, со своими жалкими пушечками, из которых они пытаются обстреливать за-

груженные Армией дороги, со своими крохотными танками, которых, как спичечные коробки, давят советские «тридцатьчетверки». Не помогут самурайские сабли, и «смертники» не помогут, обвязанные толлом и гранатами, кидаящиеся под гусеницы! Квантунская армия, распавшаяся на отдельных смертников, с полотенцами на головах: белый — цвет траура. Пулеметные очереди из чердачных окон, из гаоляновых зарослей. Квантунская армия — тысячи пленных, которых и брать-то не успевает идущая Армия Советов. Трупы в зеленых мундирах и горы винтовок японского образца, из каких на стрельбище стреляла Лелька.

Бесценные воспоминания о великой победе в войне с Японией оставила нам Лариса Кравченко, в те дни — шестнадцатилетняя девчонка, бросавшая гладилку на советские танки и с осторожностью присматривавшаяся к братьям с «большой Родины». Эти русские танки, стоявшие на проспекте прямо у забора дома семьи Кравченко на платформе Высоковоинской, — едва ли не главные герои первой части романа «Земля за холмом»:

Лелька выхватила из шкафа яркое летнее платье и раздумала: вырядиться и бежать встречать советских — это чем-то похоже на измену всем принципам ее предыдущей жизни! <...> Дедушка говорит: «Я присягал своему Государю, и с меня никто не снимет этой присяги». Лелька, конечно, никому не присягала, но... Она писала в школе сочинение на тему: «Почему мы не живем в России» — и даже получила за него премию, она пела «Боже, царя храни» и восторгалась романом «Опавшие листья» генерала Краснова. А теперь она предательски побежит встречать советских! И вместе с тем, ей очень интересно посмотреть — какие они? <...> Они выбрались на шоссе из боковой улочки перед самым Модягоуским мостом и остановились. Прямо на них, через мост, со стороны Старого Харбина шли танки. Танки были

большие, тяжелые, с темной броней, и стволы их орудий торчали вперед, как хоботы мамонтов.

— Нинка, я не хочу на них смотреть!

— Вот дура, они же русские!

Нинка оставила Лельку с ее терзаниями, выбежала на середину моста и швырнула свои цветы проходящей машине. Цветы рассыпались в воздухе.

Танки шли мимо. В раскрытом башенном люке стоял танкист в невиданном ребристом шлеме и держал в руке пойманый Нинкин цветок. Лелька не могла больше сопротивляться. Они были русскими, независимо ни от чего, просто русскими! Она провожала их взглядом, и что-то неудержимо ломалось в ее сознании, и было ясно, что вернуться к той, прежней, Лельке она уже не сможет.

* * *

**А за дверью Харбин заметен
в снеговую крупу,
В тусклом свете коптилок
без угля промерзали квартиры,
И еще не остыли окопы
под Шанченпу.
В неустроенных буднях
послевоенного мира**

**Мы хватались за книги,
из Москвы приходившие к нам,
И к словам стариков
становились подчеркнуто глухи.
Мы читали про Зою —
и шла по паркетным полам
Эта девочка, в ватных штанах
и трухе.**

(Л. Кравченко, «Харбин. Декабрь 1946»)

С тех пор и до конца жизни Кравченко сохранит эту угловатую, ломанную стихотворную манеру, впитанную из книг дотолем недоступных харбинским детям Маяковского и Асеева. Эта манера письма, а также манера чтения самой Ларисы Павловны — с излишней скороговоркой, как следует из воспоминаний о выступлениях в Австралии из «Пейзажа с эвкалиптами», много позже отдаст ее как

от членов Советского клуба в Сиднее, так и от завсегдаев Русского клуба.

Нарочитый соцреализм ее стихов тех лет, вызывающая бескомпромиссность и «сердца пламенный мотор» — не были приняты «другими» русскими тогда и вряд ли могут быть адекватно приняты теперь. Но они были в моде у новой, советской молодежи освобожденного Харбина, а позже — вполне в стилистике поэзии целинников и друзей Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

**Над темным мостом, над Обью —
нить фонарей жемчужная,
Над трубами Кривошекова —
заводов косматый дым.
Город живет и дышит,
рабочим гудком разбуженный...
Доброе утро, город,
ставший моим родным!**

— или:

**Копировщица водит рейсфедером,
по столу нарукавником трет,
Главинженер с телефоном
о чем-то толкует резко...
Там еще пустыри, но уже
на каждом живет
Тогучинский завод
или новый поселок в Бердске.**

В прозе Кравченко разнообразна и, конечно, не всегда ровен ее стиль и слог. Где-то она достигает набоковских лирических мемуарных высот, а иной раз скатывается в оголтелый производственный роман соцреализма, в язык «Студентов» Трифонова эпохи Сталинских премий:

Утром Юрка сгонял на велосипеде домой — передохнуть и надеть чистую рубашку. А Лелька срочно отсыпалась за все предыдущие ночи. К вечеру нагрянули новые помощники — Сашка и Нинка. И начался аврал. Силы распределились следующим образом: Юрка обводил график тушью, только при этом сменил пластинку и вместо «трубачей» бубнил

«По мосткам тесовым вдоль деревни», что говорило о его лирическом настроении. Нинка присоединилась к Юрке и старательно терла резинкой готовые чертежи: «Юра, это можно? Юра, так правильно?» Лелька переделывала записку и шипела, что ей все мешают. А Сашка авторитетно давал руководящие указания...

В 45-м «Молодая Чураевка» навсегда потеряла своего идейного наставника. СМЕРШ работал чисто, и в старорусском Китае по-большевистски основательно подмели. Арсений Несмелов погиб на пересыльной станции в Гродекове, Ачаир отрубил в эвенкийских лагерях полную весную «десятку». Не желавшие попасть в капкан к Советам русские побежали дальше, за пределы Китая, многие — в Австралию. «Мы умрем, а молодняк поделят — Франция, Америка, Китай...» — задолго до этого знал Несмелов.

Но и на этом русский Харбин не закончился! Он лишь вступил в свою завершающую, может быть, наиболее драматическую фазу нового разлома по живому — по каждой семье, по каждой судьбе. В 46-м Советская армия ушла, остался раздираемый противоборством коммунистов с капиталистами Китай. Всем пожелавшим выдали советские паспорта — но и только. Сталин «неблагонадежных» в страну не пустил.

Им говорили: «Подождите, не рвитесь пока в Союз. Вы уедете. Но пока — здесь строится демократический Китай, и вы здесь нужнее». («Пейзаж с эвкалиптами»)

В этой обстановке ожидания (часть молодежи рвалась в Союз) и недоверия (другая часть готовилась бежать от Союза куда подальше) Лариса Кравченко заканчивает школу, затем получает профессию инженера-экономиста в воз-

рожденном при КВЖД престижном Политехе и идет работать инженером на станцию Харбин-Центральный — все согласно семейной традиции, третье поколение. Она — в авангарде: активистка, общественница, зачинщик и застрельщик, поэт, журналист, агитатор, почти что комсомолка (за неимением комсомола — «эмигрантам» нельзя! — у них был ССМ — Союз советской молодежи). Коммунистические силы одолели Гоминьдан, гражданская война окончена, в 1949-м провозглашена КНР. В городе идет повальная советизация населения, стариков таскают на курсы ликвидации политической неграмотности. Жива обновленная «Чураевка», выходят советские газеты — они печатают новых харбинских авторов! Может быть, именно тогда Лариса Кравченко формулирует для себя главную задачу — свою и своего поколения: покончить с эмигрантством и вернуться на Родину во что бы то ни стало!

На углу около Чурина — новый дощатый щит и большие буквы: «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. И. В. Сталин». Лелька слыхала прежде это имя. Прежде оно внушало ей трепет, потому что столько страшного писали про него в журнале «Рубеж». Но, может быть, все это было неправдой, если столько перевернулось, наоборот, за последний месяц? Лелька просто не в состоянии разобраться в таком количестве непонятных вещей. Она безоговорочно принимает в сердце Родину со всем, что несет она ей, — торжественно гремящими танками, праздничными портретами Сталина и людьми, идущими сейчас через ее дом... Их так много, и Лелька не может еще решить для себя — плохие они или хорошие...

Спокойствие, стабильность, умеренное ожидание рухнули в одночасье. В 1952 году, в разгар наибольшей любви с Китаем, Сталин дарит

новому социалистическому государству русскую дорогу стоимостью минимум в 600 миллионов долларов. Дарит жестом самодержца, безвозмездно и враз, как сувенирную матрешку. Мгновенно и в Политех с его молодежными клубами и редакциями, и в руководство дороги приходят китайские товарищи. Снова теснят русских, оставляя их без работы, без перспектив. В который уже раз Родина бросила харбинцев, отдала на поругание и гонение. Но в тот момент они все еще верили в несокрушимость богохранимого Харбина:

Странный все-таки город — Харбин. События исторические перекатываются через него, как валы, не разрушая его, — или замирают, не доходя до него километров тридцать: русско-японская война и «боксерское» восстание. Только две бомбы на Харбин в сорок пятом, и окопы сорок шестого года под Харбином, где останутся и покатыются назад гоминдановцы. («Земля за холмом»)

Внезапно Сталин умирает. Перемены в Советском Союзе, в том числе и экономические — послевоенный подъем не только промышленности и машиностроения, но и сельского хозяйства, начало освоения целинных земель, — потребовали множества дешевых рабочих рук. Сельских сил не хватало, зеков на целину не выпустишь — разбегутся, студенты из городов ехали не слишком охотно. И правительство вспомнило, что буквально по соседству за границей жаждут визы на въезд тысячи молодых и не очень молодых людей, желающих любой ценой вернуться на Родину. Уже не просто желающих — требующих:

— Пора решить этот вопрос! — впервые смело кричал с трибуны последней конференции периферийный делегат из Хайлара. — Мы требуем отправить нас на Родину! Теперь, когда комсомол едет на целину! (Гром аплодисментов.)

Весна пятьдесят четвертого. В Харбине — сосульки на крышах — все тает и капает. А где-то глубокие снега еще лежат — в Кулунде, и под Карагандой, и Акмолинском. Эшелоны идут по Союзу на целину... «...А мы? Неужели мы опять в стороне? Родина, позови нас, и мы выполним твое задание!»

Как гром среди ясного неба прозвучала легендарная пасхальная заутреня 1954 года. Вот как описывает ее Кравченко:

Во время заутрени отец Семен приостановил службу, на амвон поднялся председатель местного отделения общества граждан СССР и объявил: «Всем желающим разрешен въезд в Советский Союз на целину». Заутреня была сорвана. Кто крестился, кто плакал, полцеркви ринулось по домам — сообщать новость! (Вот уж поистине драматический эпизод в харбинском стиле! Даже на Родину они не могли выехать иначе, как под звон пасхальных колоколов!) Пасха тоже была сорвана. Куличи съели между прочим. Вместо традиционных визитеров в белых кашне — город метался по знакомым и советовался: что же теперь делать, все-таки это — целина! <...> Вы едете не к теще на блины! — образно разъяснял на предотъездном собрании консульский сотрудник.

Вот уж когда воистину резануло по живому! Кто — на родной, но страшный север, кто — на чужой юг без Советов.

Харбин — как два лагеря, кто остается и кто уезжает — в Австралию, нашивает себе открытые платья с оборочками — там вечное лето, Южный Крест! <...> Кто-то, видимо, позаботился о них по ту сторону океана, кто-то подсчитал: что это даст и во сколько обойдется — ввезти к себе всех этих граждан, которых почему-то не принимает пока собственная их Родина. <...> Кроме Австралии, можно выехать в Бразилию,

Уругвай и Парагвай... Вот, собственно, когда идет проверка на верность, цена всех высоких слов о Родине <...> Лелькина мама была у папы в Гирине на майских праздниках, и они обсудили этот вопрос втайне от Лельки. Папа написал письмо братьям в Австралию — «на всякий случай». И мама начала с Лелькой подготавливать почву, дипломатично. — Нет! — сказала Лелька. — Я не поеду! Вы можете ехать, а я не поеду никуда, кроме Союза!

Вплотную подходит реальная жизнь, и надо решать всерьез и самой за себя, а не как скажет мама. Правда, Лелька не представляет еще, что это значит — оказаться с мамой на разных материках. Пока ей кажется просто — поезжайте! Но это первый ее протест, трудно это, и все-таки немыслима для нее Австралия: «Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна!» «Перелетные птицы» — главная песня того года, Лелька поет ее с ребятами в Организации — как вызов тем, кто уезжает, и как заверение перед Родиной — «А мы остаемся с тобой!..» Лелька пишет гневные статьи — изменникам Родины! «Вам, пакующим чемоданы», — громит через печать отъезжающих молодой поэт Миша Зайдель. Удержать, сберечь людей для Родины! А нужно ли удерживать, если они выбирают Парагвай? <...> В доме у Ирины тоже пакуют чемоданы: муж Боря послал на нее документы — никуда не денется — поедет! Он все еще муж ее по закону, потому что развода в Харбине нет. Есть ЗАГС в консульстве, но нет нарсузда. Люди, связанные навечно, — «брак по-харбински».

И 25-летняя Лариса Кравченко в июне 1954 года совершает первый в своей жизни настоящий взрослый решительный поступок: вопреки опасениям родных и близких, отговорам друзей, расставаясь — может быть, навсегда! — с родителями, она в одиночку, первой из всей семьи — едет домой. Потому что Родина была для них, репатрирующихся, превыше семьи!

Эшелон уходил в полдень шестого июня. На вокзале играл оркестр и была огромная толпа. Мама терялась в ней, как песчинка. <...> А Лелька, все такая же сияющая, висела на вагонных поручнях и пела вместе со всеми: «До свиданья, мама, не горюй...» Хотя она совсем не думала тогда о маме, потому что приобретала — Родину!

На Родине Кравченко сотоварищи оказалась, само собой, не как Вертинский — в роскошной квартире на улице Горького в Москве, а в глинобитной ма-занке в селе Казанка Баганского района, на окраине Новосибирской области. Вспоминала об этом так:

**Молодость может всего добиться.
Отброшен обжитых домов уют.
Идет эшелон. Граница... Граница...
Колеса и сердце поют.**

**Качает свечу за стеклом фонарным,
На тесных нарах трясет матрас...
Родина, я тебе благодарна
За то, как ты встретила нас, —**

**Не медью оркестров,
 не жаром объятий,
А словно строгая мать:
Старой колхозницей в первой хате,
Где нам пришлось ночевать,**

**Пристальным взглядом ее с порога,
Горячей миской бригадных щей...
Оказалось, Родина — это дорога,
В степи размокшая от дождей.**

**Бригадный вагончик,
 душный и черный,
Когда в нем спят, спедовок не сняв,
Сибирской пшеницы первые зерна
В ладонях испачканных у меня.**

**Это земля, крутая, как камень,
Водой разбавленная на треть,
Которой я касалась руками,
Чтоб выстрадать право о ней петь.**

Никто не воспел в прозе русскую Маньчжурию на ее исходе так удивитель-

но тонко и точно, как Лариса Павловна! Никто так мучительно не искал (не на-ходя до конца) ответа на главный вопрос их судьбы: кто же в середине 1950-х поступил правильно — те, что рванули в продуваемые насквозь сибирские и ка-захские степи, на целину, на Родину, или те, кто предпочел Австралии и Бразилии, навсегда обрубив свои русские корни? С любовью и нежностью описаны Ново-сибирск и Новосибирская область сере-дины 1950-х — Баган, Сузун, Казанка, берега и дачи Бердского залива... И все-таки главная тема ее судьбы, коренная тема — Харбин и так называемая «па-мять Харбина»:

**...Я еще не освоила лыжи вполне,
Потому что городу моего детства
Был незнаком этот русский снег.**

**И сосны росли там ниже и реже...
Сейчас я представила издалека
Сосну на китайском морском
 бережье:
Ствол, как изогнутая рука...**

**Сосновое деревце там взросло,
Росло, заброшено ветром событий,
Кривое, как детство
 на чуждой земле,
Детство, которого не забыть мне,
Как не забыть эмигрантский хлеб.**

А Харбин в середине 50-х исче-зал, менялся необратимо. Наступал эндшпиль, под давлением нового Ки-тая русские разбежались по всему свету во «вторичное гонение». Резались попо-лам семьи и дружбы. «И судьбы, и жи-лица сметены», — писал совсем недолго проживший в детстве в Харбине Иван Елагин. В этом — еще одна уникаль-ная особенность харбинской эмиграции. В отличие от других центров русского зарубежья, история Харбина — конеч-на. Европа, Америка, Израиль так или иначе пополняются новыми выходцами

с Родины, традиции, пусть и в несколько усеченном виде, живут. А русский Харбин китайцы почти полностью стерли с лица земли при Мао, в ходе варварской «культурной революции», оставив считаное число зданий да парк «имени Сыдалина». Во второй половине 60-х из полутора тысяч русских в Харбине остались лишь несколько сотен стариков. В 1975 году из Китая выехала Нора Крук — последняя русская поэтесса, родившаяся в Харбине в 1920-м. Через Гонконг она позже попадет в Австралию. В 2006-м в почти столетнем возрасте умерла последняя русская харбинка Ефросинья Никифорова...

Конечно, сегодня там много туристов из России, еще больше «челноков», популярен старорусский «Арбат» и сувениры à la russe, найден, выкопан и торжественно перезахоронен генерал Капель, но культурная нить — прервана, традиция — утрачена.

В сохранении этой традиции пусть не в городе, но в книге — главная заслуга Ларисы Кравченко. «Творческий подвиг — именно так мне представляется правомерным оценить литературский вклад Ларисы Павловны Кравченко в копилку российской словесности во второй половине XX столетия, — писал в заметке памяти Кравченко ее друг и соратник Геннадий Падерин. — Именно ей выпало стать летописцем тех мытарств, какие выпали на долю наших соотечественников, оказавшихся заложниками геополитических коллизий, в результате которых российский аванпост на Дальнем Востоке в одночасье превратился в аппендикс Китая, а полноправные граждане — в обездоленных квартирантов земного шара».

Получив еще в Харбине советский паспорт, инженер Кравченко, стерев до кровавых волдырей интеллигентские руки на целине сперва штурвальной

на комбайне, затем весовщицей, вышла замуж, воссоединилась с родителями, приехавшими к ней (а не в Австралию!) в 1955-м, и с этого же года осела в Новосибирске, своем втором главном городе жизни. Нигде не жилось легко! На целине ссыльные немцы и бандеровцы с недоверием относились к «китайцам». В городе проверяли на благонадежность «до седьмого колена», паспорта и дипломы с харбинскими штампами строго анализировали спецотделы.

Когда автор этих строк в конце 90-х заинтересовался историей русской Белой Азии, в Новосибирске еще жили около 300 харбинских семей. С некоторыми из них — Кравченко, Свида, Петренко, Пашковскими, Верижскими, Стоговыми — посчастливилось общаться лично. Сегодня уроженцев Харбина — считанные единицы, ведь многие из них — поголки ветеранов Великой Отечественной войны!

Лариса Павловна в середине 50-х совершила еще один личный подвиг, отказавшись от уютной семейной жизни в пользу бесчисленных командировок во благо молодой, растущей Сибири. Сперва — в должности экономиста на станции Новосибирск-Главный, а затем — в роли инженера-проектировщика в дорожном строительстве, в планировке городов (места ее работы — институты «Гипроавтотранс» и «Новосибгражданпроект»). Она много ездит по области и по стране, принимает участие в строительстве железнодорожной «трассы мужества» Абакан — Тайшет, в составлении схемы развития транспортной сети Новосибирска, в том числе — новосибирского метрополитена. Отказ от семейной жизни всегда отзывался непроходящей болью, но так было надо Отчизне, и отсюда — извинения поэта перед сыном Вовкой. Они занимают едва ли не треть книги «Встреча с Родиной»:

**Нам еще построить нужно много
Для таких же, как и ты, ребят...
И опять — дорога и дорога,
Даже если трудно без тебя!**

Постепенно, однако, жизнь на исторической Родине наладилась, Лариса Кравченко стала уважаемым советским инженером, поэтом и газетчиком. Ее охотно публиковали газеты «Молодость Сибири», «Вечерний Новосибирск» и «Комсомольская правда», журналы «Сельская молодежь» и «Сибирские огни». Она писала рядовые ударные советские стихи, впрочем, не без экспериментов. Скажем, стихотворение «Заповедник на Севере», написанное обыкновенными четверостишиями, неожиданно завершается трехстишием:

**Тихо пройди ты тропинкой
хрусткою,
Руку к влажной земле приложи:
Ты слышишь, как бьется
сердце русское?..**

Однако место написания, указанное под стихотворением, оказывается той самой недостающей строчкой:

**Заповедник на Севере.
Остров Кизи.**

И все-таки, работая в институте бок о бок с харбинцами, встречаясь с ними в командировках, налаживая переписку с Австралией, куда уехали двоюродные братья и сестры, Кравченко вела работу над своей главной темой. Геннадий Падерин вспоминал: «Нежданный тайфун перемен не пощадил ни старых, ни малых, раскидал по всей планете, включая и подворье отчизны. Как их встретила она, как приживались на задворках дальнего зарубежья — весь этот сгусток утрат, сиротства, неприкаянности выпало пропустить писательнице через сердобольное сердце, донести до читателя без художе-

ственных красотей, без подпорок вымысла суровую прозу действительности».

Прожив четверть века правоверным советским гражданином, Кравченко совершила новый подвиг, добившись практически невозможного — поездки в 1979 году в капиталистическую Австралию, к родным и друзьям по ХПИ. Скольких сил, нервов и времени стоило собрать все документы на выезд, доказать, что не собирается оставаться на «зеленом континенте» невозвращенцем! Так, из самой ткани жизни, в 80-х был выстрадан новый человеческий документ — «Пейзаж с эвкалиптами», попытка объять в памяти и в сердце необъятное, воссоединить в себе и своей семье расколотую надвое Отчизну. Первая публикация «Пейзажа с эвкалиптами» — журнал «Сибирские огни», 1985 год. В дальнейшем Лариса Павловна, уже во время открытых границ, еще не раз летала в страну избравших иной путь соплеменников.

А на Родине излюбленным местом творчества и обретения новых сил стал для Кравченко и других новосибирских литераторов поселок Новый, основанный между Бердском и Академгородком в 60-х. Каждое лето Лариса Павловна и ее друзья-писатели — Александр Плитченко, Афанасий Коптелов, Юрий Магалиф, Геннадий Падерин и другие — снимали в Новом дачи. «Она перемежала часы за письменным столом с минутами водных процедур на здешнем пляже, — вспоминал Падерин. — При этом ее не отпугивали отнюдь не сочинские параметры воды, не отталкивал “зеленый бульон” в период цветения водорослей. Она обретала в Новом второе дыхание, отдыхала от ритма большого города, от его суеты и “перебоев его сердца”».

Ныне в поселке библиотека при местной школе, на улице Парижской коммуны, носит имя Ларисы Кравченко. Такое решение утвердил Совет депутатов Берд-

ска в 2005 году. Продвигал эту инициативу председатель Новосибирского отделения Союза писателей России Анатолий Шалин. Он же уберег и сохранил большую часть машинописного архива Кравченко, в том числе — текст третьей части ее эпопеи. В библиотеке есть памятный уголок Ларисы Кравченко, в котором — фотографии, видеокассеты, уникальный экземпляр сборника стихов «Встреча с Родиной», а также ее членский билет Союза писателей СССР. Интересно, что она вступила в СП уже на излете советской власти: билет № 05975 выдан 21 марта 1990 года.

Этот год был для нее вновь переломным, вновь — сродни подвигу. Согласно своему негибкому характеру, она не могла не завершить круг. И впервые за 36 лет вернулась в город детства. В 1990 году в Харбине проживало 22 русских, зарегистрированных в приходе церкви Покрова Пресвятой Богородицы — единственном действующем православном приходе.

— Харбин мне часто снился, — говорила Лариса Кравченко в интервью журналу «Новосибирск». — Это был какой-то навязчивый сон. Я иду, иду по Харбину, ищу свой дом, узнаю какие-то улицы, церкви... Но когда я приехала туда в 1990-м и увидела эти развалины... Харбин перестал для меня существовать. От нашего дома осталась только стена (в ней даже гвоздики от ковра торчали) и она стала оградой соседнего двора... Одна торцовая стена — углом в небо, как сломанный зуб, обрыв стены с глазницей пустой окна моей детской комнаты...

В этом полном отчаяния ответе есть одна «неточность» — Харбин не мог перестать существовать в ней самой, он стал поводом для последней книги, — и одна пронзительно прелестная деталь — «гвоздики от ковра». Из этих деталей, из этих «гвоздиков» и состоит плотно сбитая,

густая, прочная и в то же время внешне очень легкая проза Ларисы Кравченко.

В 2001 году она выиграла грант «Альфа-Банка» на написание и издание книги. Эта книга написана, но до сих пор остается неизданной — не успели. Она носит двойное рабочее название, чем вводит многих в заблуждение. Развеем миф о «двух» оставшихся неопубликованными романах — он один, и называется «Харбинский роман». Вновь это не «роман» в классическом стиле, а «роман в повестях», скрепленных воедино общей темой. Второе название — «Кувшин из раскопа» — это лишь заголовок «Введения в тему».

Вот что написала в аннотации к будущей книге сама Кравченко:

«Харбинский роман» является самостоятельным произведением, продолжающим тему «русской эмиграции на Востоке», затронутую в двух предыдущих романах автора — «Земля за холмом» («Преодоление границы») и «Пейзаж с эвкалиптами», напечатанных в журнале «Сибирские Огни» (1971 г., 1985 г.) и изданных Западно-Сибирским книжным издательством (1988 г.). Отдельные герои и события первых романов упоминаются в представленном романе, но с более современным подходом к вопросу. «Харбинский роман» сюжетно с предыдущими романами не связан. Основная линия — встреча двух людей из разных и несовместимых миров — «Эмиграции» и «Страны Советов», и дальнейшее развитие их судеб. Время действия в романе: военные и послевоенные годы за границей и в России, девятые годы нашего времени, ретроспективный взгляд в исторические корни русской семьи (конец девятнадцатого — начало двадцатого века), по стечению обстоятельств оказавшейся затем в эмиграции. Место действия романа: Харбин, Маньчжурия — станции КВЖД, Украина — Полтава, Казахстан — Целина, Новосибирск, Бердск.

Главы из «Харбинского романа» печатались в городском общественно-художественном журнале «Новосибирск» в 2002 году. В следующем году Кравченко сбила машина. Она еще постаралась переписать роман набело и почти справилась с этой работой, но умерла от последствий травмы 26 августа 2003-го. Похоронена на Заельцовском кладбище.

Напрямую к Ларисе Кравченко можно применить отрывок из ее последней книги: «Сгусток духовности. Сбереженное. Теплившееся. Как мы говорим теперь: “Русское зарубежье”... Но доски нет. И у нас нет — нигде — у соотечественников. Только чуть-чуть горизонт светлеет над их именами...» Она торопилась всю жизнь, а последние годы по-давно (потому-то и машины не заметила) — спешила, потому что знала, что времени — в обрез, а вспомнить надо многое и многих. Несмотря на свою общительность, разговорчивость и гостеприимство, Лариса Павловна — при своей абсолютно заслуженной гордости за свою собирательскую, исторически значимую работу, при ясно осознаваемой глубине своего дара — была очень одинокой. Невероятно одинокой. Настолько, насколько может быть одиноким человек, оставшийся одним из многих. Одним — из целого поколения. Одним — из целой эпохи. Но она с честью до конца исполняла свою миссию, несла этот крест. Мы ведь помним: «Человек — это, в сущности, его эпоха, отраженная в нем в уменьшенном масштабе»!

Валентин Катаев, «Алмазный мой венец»:

...Теперь из всей нашей странной республики гениев, пророков, подлинных поэтов и посредственных стихотворцев, ремесленников и неудачников остался, кажется, я один. Почти все ушли в ту страну вечной весны, откуда нет возврата... нет возврата!.. ...Но, безвозвратно ис-

чезая, они навсегда остались в моей памяти, и я обречен никогда не расставаться с ними...

Она переживала, что — «нет доски», и своим творчеством создавала эту воображаемую доску. К столетию Алексея Ачаира в 1996 году Лариса Павловна написала стихотворение «Ачаир», которое завершалось такими словами:

**...Серый камень в Ельцовском
бору...
Словно ждет — мы придем,
мы придем наконец-то
и вспомним
И о нем, и о прочих —
братьях его по перу.**

Сегодня Ачаир издан полностью и неоднократно, его помнят, и есть «доска» — не просто доска, а чудесный барельеф на здании школы № 29 в центре Новосибирска. В квартире, где Лариса Кравченко жила со своей старшей внучкой, сегодня со своей семьей живет младшая. Доски на доме — нет. И книг — нет. Неужели же нам вновь надо ждать столетие и больше, чтобы — осознавать, собирать по крупицам, вынимать тайны из карманов неуступчивого, но столь поучительного прошлого?

А опыт Харбина — очень поучительный, очень нужный именно сегодняшней России, сегодняшним нам. Это вновь остро осозналось совсем недавно, весной 2014 года, когда возвращался в родную гавань отринутый было «остров» Крым, когда запылали Донецк и Луганск. Сегодня харбинский опыт нашей истории как никогда актуален: Одесса и Септипатинск, Гурьев и Нарва, Усть-Каменогорск и Юрьев — все города и веси, населенные русскими и оставшиеся вне России, от которых она во время очередного развала очередной империи «отошла, как пароход». Она-то отошла,

но русские-то люди там думают, говорят и пишут на русском языке!

Память об Ачаире и Несмелове — восстановлена. Но еще многие и многие харбинцы достойны настоящей памяти, с «досками» и переизданиями. Этой памяти по праву заслуживает Лариса Кравченко, ее творчество, ее поколение, ее эпоха.

Харбинский поэт Михаил Щербаков задавался вопросом: «Мы, Одиссеи без Итаки, каким прельстимся маяком?» У вашего покорного слуги, автора этих строк, посилено пишущего в рифму, под впечатлением от рассказов Ларисы Кравченко когда-то родился другой образ Харбина — Китеж-града — города, которого нет:

**Ты теперь повзрослел, возмужал и раскинулся —
Богатеют и в небо ползут этажи.
Полстолетья, как вычтены, списаны в минусы —
И славянская речь, и колючий пиджин.**

**Внешне — тот же, от центра до ветхой окраины:
Питер в сопках Манчжурии, город-проспект;
Изнутри ты — чужой: православная хранина,
А заходишь — музей коммунизма... Эффект!**

**Ты красив и отвратен, и сладко и больно мне
Видеть радугу люминесцентных обнов.
От земли до креста шит знакомыми формами,
Содержаньем китайским налит до краев.**

**Распрощаемся тихо, сударыни, судари,
Без салютов и спичей, без гимнов и од.
Здесь когда-то стоял русский город на Сунгари;
Он ушел и уже никогда не придет.**

**Вдоль по круглой Земле, во вторичном гонении,
Разлетелись твоих перекрестков послы —
Вольный город Харбин, полоса отчуждения,
Русский Китеж, которому некуда всплыть.**



Владимир РОМАНОВ

«ТАМ, ГДЕ СОЛНЦЕ САДИТСЯ В ТЕЛЕГУ...»

Денисенко А. Провинция. — Новосибирск, 2019.

Александра Ивановича Денисенко я знаю уже лет тридцать. Но за это время ни разу не видел, чтобы он читал свои стихи. На собраниях писателей он молчит. Истолковать это можно по-разному: например — «о чем говорить с непосвященными?»

Но вот я прочел 598 страниц его новой книги «Провинция» — и с этих страниц Александр Денисенко заговорил со мной.

Я не люблю, когда о поэте говорят — талантливый, гениальный. Тем более не принимаю оценок стихов на уровне «нравятся — не нравятся», «плохие — хорошие». В моем понимании самая высокая и единственная оценка поэта — наличие у него индивидуальности, его поэтического лица, его поэтической сущности. А сущностью являются стихотворения, которые трогают душу, которые вызывают неожиданные, непредсказуемые мысли и чувства. Читая стихотворения Александра Денисенко, я испытывал это сильнейшее эмоциональное воздействие.

Белинский говорил: «Признавая поэта существом высшим, всякий в то же время сознает родство с ним». Зарождаюсь в глубине сознания, в тайниках души, поэтическое слово живет во времени и в

пространстве, находит отклик в тысячах душ.

...Тропинка вьется вдоль реки Ини, отец читает стихи Александра Твардовского о бойце-удальце Василии Теркине. Стихи Саша воспринимает, но на станции Льниха стоит старый паровоз, а к нему прицеплены домики, а в домиках плач бычков, у которых на крупных глазах крупные слезы. Пока отец покупает билеты, мальчик знакомится с машинистом, тот не только показывает ему черную блестящую машину, но и дарит кусочек антрацита — сувенир Кузбасса. Позднее Александр вспомнит глаза бычков, которых везли на убой, и скажет, что это были поэты и они его позвали с собой — в поэзию.

Александр Денисенко сохранит в стихах деревенское вечное страдание, деревенскую томящую грусть, любовь к деревенским людям. Его поэзию пропитает ядерный дух провинции, мужицкая правда, мужицкая честность. Он сохранит их даже в своих городских стихах. Его деревенские застенчивость и скромность примут форму иронии и самоиронии.

В предисловии к книге Евгения Иорданского «Уроки Русского» Александр

Денисенко пишет: «Мне легче, я не поэт, я деревенский человек». И там же: «Творчество — это искушение высшего порядка, выбор за творцом: кому в ад, а кому в рай».

Вряд ли подобные теоретические обоснования чем-то обогатят литературоведение, но они определенно свидетельствуют о том, что их автор — поэт, ибо масштаб задан, ставки сделаны. В поэте растворен целый мир, наш обыденный мир, преображенный светом его личности в мир драгоценный, в вечно живущее искусство. Туда он приглашает и нас, делясь золотом и янтарем метафор. Лишь приоткрываю словесную шкатулку поэта: «красным ветром печали гонимый», «готовы к труду, к обороне крест нательный и знак ГТО», «здесь сидят на скамейках старухи, наша гордость и совесть и честь», «боже, какая помада справится с алостью рта?», «на тихом океане ржи и в островах березового леса»...

А это надо цитировать целиком:

**Русалки коммунального моста
И нимфы утомленного затона
Опять плывут, любясь на места,
Где Обь для них играет,
как валторна.**

И еще: «четверостишие летящих облаков», «чистый спирт неразбавленных слез», «здесь по тысячу раз ждущих вдов перекрестят оконные рамы».

Помня завет А. Майкова: «Гармонии стиха торжественные тайны / Не думай разгадать по книгам мудрецов» — я лишь выбираю из стихов Александра Денисенко жемчужные зернышки, которые могут прорасти в воображении читателя. А чем они взойдут — травой ли, деревом, расцветут ли цветком или слезами, это зависит от души, знаний, подготовки читателя.

Только поэзии доступно всего четверья строчками, одним бликом солнечного зайчика нарисовать картину, в кото-

рой память целого поколения встречается с чистой, наивно-провидческой догадкой ребенка:

**И отец золотую литовку,
Победив луговую траву,
Вытрет ветошью, словно винтовку,
И невольно вздохнет про войну.**

А вот еще пронзительно сыновье:

**Отцеплю от ведерка вьюнок,
Что обвил наш журавль из сада,
И достану с водой из-под ног
Два последних родительских взгляда.**

Я не раз бывал в Моткове. Переходишь железную дорогу, спускаешься в небольшую ложбину — и в ней, как в огромном гамаке, качается село.

Направо Иня. В реке растет камыш. Ты видишь, как у камыша встретились мальчик с девочкой, уже знакомые тебе благодаря Денисенко, — встретились, а «что делать, не знают» — так рассказывает поэт об этих невинных встречах, когда она плыла к нему с одного берега, а он к ней навстречу с противоположного.

Пересекаешь село Мотково, выходишь на обрывистый каменистый берег. Местные его называют змеиным. Змей я не видел, но Иня там намного глубже. В омутах окунь. Я ловил именно такого, как в стихах — «И с молоками окунь — горбатый самец, весь в кафтан, как стрелец, разодетый» — и вспоминал другие поэтические строчки Денисенко: «А костер уж во всю сам себя костерит» или «И рыбак сквозь табак уж предчувствует smak».

Все подвластно поэтическому вдохновению Александра — и игра слов, и звукопись:

**Во льну сплелись льняные волосы
у лея,
Но лелю лень лелеять локонов
метель.**

вильным» или «актуальным» приемам, а, как уже говорилось в начале, в самой личности поэта, в духовности, интеллекте и душевной широте творца.

Наша наглухо закрытая поэзия

Жарко молится, да толку

ни на грош.

Чтоб светилось ее жертвенное

лезвие —

Золотую свою голову положь.

Книга «Провинция» издана на средства Евгения Иорданского. Не так давно президент России проводил совещание по культуре. Много было сказано о теа-

трах, музеях, картинных галереях, кино, эстраде — и ни слова о писателях, как будто в России их нет. После Октября правительство Ленина решало, куда отнести писателей, и причислило их к типографским рабочим. И сегодня никого не интересует: как писатели выживают? Как содержат семьи? Союзы писателей отнесли к общественным организациям. Общественным организациям государство средств не дает, это не спорт.

Но несмотря ни на что, солнце поэзии, севшее в телегу в Моткове, объедет Россию, осветит Москву, а возможно — и весь мир.

От редакции. Разделяя в целом озабоченность В. П. Романова, мы должны сообщить читателям, что есть и хорошая новость. Осенью этого года в серии «Библиотека сибирской литературы», патронируемой и финансируемой правительством и министерством культуры Новосибирской области, выходит одно-томник избранных стихов и прозы Александра Денисенко. Книги эти поступят в первую очередь в библиотеки области.



Владимир ЧИРКОВ

СЕРГЕЙ МОСИЕНКО

Искусствоведческие письма

Сергей Сергеевич Мосиенко — известное имя в пространстве современной культуры Новосибирска, Сибири, России. Почему так пафосно — «в пространстве»? Потому что сфера его интересов и приложения собственных талантов обширна. Сергей Мосиенко — художник уважаемый, авторитетный, а для Новосибирска вообще знаковый, поэтому без повторения тут не обойтись: Мосиенко — бренд Новосибирска.

Чтобы не заставлять читателей изучать многочисленные публикации о Сергее, скажу для общего представления, что он в своей жизни, начиная со студенческой поры в НЭТИ, много чем занимался и занимается: дизайном, плакатом, сценографией, карикатурой, станковой графикой, живописью. А еще он общественник — и сам деятельный, и чужих полезных инициатив не сторонящийся.

Про все это уже писано-переписано журналистами и самим Сергеем грамотным языком сказано — как правило, в неспешных раздумьях с редкими по точности и откровенности заключениями. Одно из них приведу: «Почему ничего не меняется [в мире] — нам неизвестно, мы только картинку на эти темы рисуем, причем с превеликим удовольствием...» (газета «Ведомости Законодательного собрания НСО»).

Словом, я не стану пересказывать все то, что и так хорошо известно о Сергее Мосиенко, а постараюсь описать те самые его «картинки», автором созданные «с превеликим удовольствием».

Письмо первое (теоретическое)

Мой ежедневник сохранил первую встречу с Сергеем в его новосибирской мастерской в ноябре 1995 г. — записано: «Художник (Евангелист Лука пишет Мадонну с младенцем)». Этот живописный диптих Мосиенко демонстрировался в Омске на выставке-симпозиуме «Человек в пространстве времени» в 1996 г., и жизнь показала, что Сергей данной работой (одной из ранних своих живописей) наметил для себя генеральную линию творчества и более того — обнародовал, а может быть, предвосхитил развитие личных мировоззренческих предпочтений.

Обращение к истории, к универсальным культурным архетипам — это возможность ответить на актуальные вопросы современности, не прибегая к изображению сюжетов дня нынешнего. Журналисты давно уже закрепили за Сергеем Мосиенко репутацию привлекательного романтика в искусстве, искусствоведы

же «прописали» его в когорте интеллектуальных творцов. И то и другое верно: ведь что такое художник (писатель, поэт, режиссер) интеллектуального толка, как не автор концептуальных художественных текстов, умеющий создавать ассоциативные и метафорические образы?

В случае с композициями Сергея неизбежен культурный контекст восприятия — без этого не обойдешься, и об этом стоит внятно сказать: глядя на его картины, думаешь о других картинах и художниках. Вот эта энциклопедическая способность аккумулировать в себе «другое» (не цитировать, не иллюстрировать, не пересказывать, а синтезировать) и характеризует Сергея Мосиенко как художника универсального, включая его литературные опыты — прозу (про стихи ничего не знаю, может, скрывает) и даже художественную критику.

Письмо второе (про исторические композиции)

Основной массив тем и образов Сергея Мосиенко находится в историческом прошлом, позволяющем автору актуализировать мифологические и культурные архетипы, ассоциирующиеся с классическими представлениями о гармоничном мире. История искусств подсказывает, что образы ангелов, пророков, звездочетов, апостолов и мифологических героев, контаминации сюжетов Рубенса, Рембрандта, Босха актуализируются в кризисные для духовности времена. Трансляция прошлого в настоящее пронизывает все творчество Мосиенко — вот лишь ряд примеров: привычный по композиции «Диалог» (2017) золотой рыбки и райской птицы, вполне литературный, с кружкой с ядом, «Натюрморт памяти Моцарта» (2016), монументальная тематическая композиция из трех частей

«Ночной дозор, или Ночь перед Рождеством» (2015).

Вглядимся в «Ночной дозор»: по воле автора произошло сказочное сошествие человека с вифлеемской звездой, ведущего за собой людей (среди которых даже — парящий космонавт!), сказочных животных, магических птиц и ангелов... В основе картины лежит образ возвышенного, волшебного рождественского праздника, и построению этого образа подчинены все изобразительные элементы холста, а «дисциплинирует» их тектоника храма, устремленного ввысь, к трубящему ангелу.

Стоит заметить, что обращение Сергея Мосиенко в 2010-е гг. к образам христианской архитектуры воспринимается чуть ли не программным. В 2017—2018 гг. художник пишет два холста «Полнолуние в Париже»: на одном изображен собор Нотр-Дам, на втором — базилика Сакре-Кер. В момент их написания холсты воспринимались как романтические архитектурные пейзажи, но ночная трагедия 15 апреля нынешнего года в соборе Парижской Богоматери внесла коррективы в восприятие картины Мосиенко.

Такое бывает: время вскрывает дополнительные смыслы в произведении искусства. Острые, режущие набрызги линий белой эмали по глухому, гладко покрашенному черному фону теперь воспринимаются как-то по-другому, обнажают в холсте трагический образ крушения представлений об общечеловеческих ценностях, что и произошло во время пожара в парижской святыне.

Хочется упомянуть еще об одном холсте — четырехчастном, метафорически вмещающем в себя прошлое и настоящее, реальное. Картина посвящена Павлу Дмитриевичу Муратову — патриарху сибирского искусствознания. Этому высокому определению автор нашел

точное соответствие — Reliquarium — хранилище, ковчег для особо ценных вещей. Муратовский реликварий у Мосиенко — эдакая «субмарина», да еще и с лестницей. Знающие люди тут же представят себе мастерскую искусствоведа, где хранится не только его бесценная библиотека, труды ученого, посвященные искусству Сибири, но, может быть, и еще более важные ценности — мысли и житейские испытания исследователя. Об этом свидетельствуют и умело расставленные в Reliquarium'е смысловые и пластические акценты квадриптиха: холст начинается и завершается портретами Муратова; левый — с изображением черных воронов, правый — с белыми голубями, и это символы полюсов, между которыми пролегла жизнь и судьба. И эта жизнь тем богаче и благодатнее, чем чище и ярче физика света, включенная в текст живописного произведения. Вот об этом и поговорим в следующем письме.

Письмо третье (светлое)

Физика света — понятие, относящееся к компетенции точных наук и начинающее «электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом». Знания о свете у каждого из нас разные и чаще всего поверхностные, но у Мосиенко этих знаний (теоретических — уж точно!) больше, чем у всех гуманитариев; к слову напомним, что Сергей окончил Новосибирский электротехнический институт.

Перебирая в памяти таких «световых» художников, как Рембрандт, Айвазовский, Куинджи, и зная, что в их произведениях свет, оставаясь «электромагнитным излучением», превращен в художественное средство (изображения освещены под разными углами падения — корпусным, прямым, рассеянным

светом или контрсветом), интерес к свету у Мосиенко кратно увеличивается.

В его «Последнем троллейбусе (Окуджава)» (2018) или в более ранней «Чаше» (2000) из цикла «Евангелие» роль света воспринимается вполне привычно, можно сказать — ожидаемо: свет от грунта и отраженный свет растворились в живописной ткани, породив ощущение гармонии. Но несколько иное восприятие художественной ткани в таких работах, как «Инвенция для жалейки» (2001), «Три товарища» (2005), «Художник (Урхол)» (2017): проложенная поверх живописи (особенно по золотистым волосам портретируемого в «Лире» (2017)) белая эмаль без намека на тень неожиданно создает иллюзию трехмерности изображения. Может быть, потому, что, как писал Леонардо да Винчи, «передача объема важнее цвета для плоского изображения».

Как знать, может быть, это и есть некое авторское знание о свете, имеющем свою физику? Это всего лишь моя личная гипотеза, но мне захотелось поделиться ею с читателем: восприятие картин — дело живое, нуждающееся в общении.

Письмо четвертое (портретное)

Замечательный новосибирский искусствовед Светлана Коган первой сказала об информативно-интеллектуальной основе творчества Сергея Мосиенко — еще в 1997 г. она увидела эту основу в русском культурном пространстве. За словом «пространство» стоит предельно широкое явление, вмещающее в себя природу, социум, культуру, и тема эта неисчерпаема, поэтому ограничимся разговором только о двух портретах.

Сначала скажу о композиции «Желтый ангел, лиловый негр» (2008), являющейся своеобразным живописным

симбиозом песенных героев Александра Вертинского и вообще образов русского человека, вынужденного в XX в. скитаться по миру. Квадратный холст в этой работе предполагает статичный образ, но вопреки всему мы видим образ драматический. Две трети вертикали холста занимает изображение ангела в одеянии из желтого китайского шелка, а оставшаяся часть — данный фронтально знаменитый «лиловый негр» Вертинского, чья величественность подчеркнута видом на ночное небо с луной, рядом с которым «печальный желтый Ангел тихо тает без следа»; художник этим достигает возвышенно-драматического звучания картины. «Дискуссия» — вторая портретная композиция, созданная в 2017 г. В ее оформлении есть явные приметы современности, например, фраза: «войнапреступлениемирнаказание» (где не хватает только значка решетки, именуемого хештегом). Мы видим на холсте двух русских гениев, Толстого и Достоевского, живших и творивших в России в одно и то же время, но так и не встретившихся ни разу. В это трудно поверить, но это так — факт исторический: не встречались и даже не написали друг другу ни одного письма. При этом заочно восхищались друг другом, имея разные взгляды на принципиальные вопросы бытия...

Все это я вспоминаю, глядя на картину Сергея Мосиенко: наивное изображение рук писателей и гипертрофированно крупные головы, использование обратной перспективы в изображении трапезного стола с говорящими атрибутами, рыбой — символом Христа... Есть в композиции и интересный драматургический ход — взгляды писателей не пересекаются, что говорит не столько об их несостоявшейся встрече, сколько о том, что они, по словам Д. С. Мережковского, были «противоположные близнецы».

Письмо пятое (об избыточной информативности как творческом методе)

Говоря об индивидуальности любого автора, пытаешься вскрыть природу явления. Думается, избыточная (в хорошем смысле) информативность работ Сергея Мосиенко идет и от образованности автора, и от, как говорил Алан Рикман, «смелости мнение свое иметь... и мудрости скрывать его». Большое знание ищет путей реализации: у природных колористов — это живопись, живописная метафора, у художников же развернутого мышления композиция вмещает краткий или подробный рассказ, активно включающий информативные детали в виде атрибутов, аксессуаров и прочих элементов.

Широта знаний и желание поделиться своими размышлениями с максимально широким кругом зрителей нередко порождает в искусстве такое явление, как циклы, что характерно и для творчества Сергея Мосиенко. Погружаясь в ткань его цикловых работ, с удовлетворением обнаруживаешь, как художник себя «укрошает», и понятно почему: из боязни оказаться в пространстве нежелательной для изобразительного искусства «литературности». Каким же образом Сергей решает эту непростую задачу? Доступным, близким своей личностной природе способом выстраивает он живописное или графическое повествование, «избыточно» насыщенное информацией, — и тут же «приземляет» его постмодернистской иронией и самоиронией, не исключая сарказма и сатиры.

Наследник классической традиции в искусстве, имеющий инженерно организованный мозг, Сергей Мосиенко ищет в графических и живописных произведениях оптимальные соотношения, превращая художественную ткань работ в некий сло-

енный пирог и сопровождая драматургию повествования разной авторской оценкой: одобрительной, ироничной, саркастической, но чаще — доброжелательной шуткой, полной достоинства. Складывается ощущение, что художнику доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие гулять по вербальным и визуальным текстам, искать и находить свою индивидуальную форму высказывания, увлекая и нас, зрителей, в игру. Достаточно взглянуть в серию «Белая жизнь», чтобы в этом убедиться: «Кросс (БГТО)» (2012), «Реникса, или Три сестры и Дядя Ваня ловят Чайку в Вишневом саду» (2014) — или в полноценную портретную композицию в пейзаже «Лепидоптеролог с рампеткой (В. Набоков)» (2011), тут же улыбнувшись писателю с его бабочками, распо-

ложившимися поверх красочного слоя в строгом, скучном порядке.

А впервые замечательный синтез образа и ремесла, мне кажется, проявился у Сергея Мосиенко в серии работ 2006 г., посвященных архангелам, и в цикле 2004 г. «ARTодоксальный алфавит» («Мария», «Хирон»). В максимальном приближении к зрителю (чтобы можно было в них неспешно «вчитаться») фигуративных изображений, в трепетно пульсирующей фактурами красочной поверхности, обогащенной обертонами света, я склонен видеть метафорический образ самого художника, призванного возвышать нас, его современников, над прозой жизни и представляющего пример сочетания «садовника и цветка», о котором говорил поэт Осип Мандельштам.



АВТОРЫ НОМЕРА

Андреев Анатолий Владимирович родился в 1958 г. в Кушве Свердловской области. Окончил Уральский лесотехнический институт. Работал начальником лесопункта, составителем поездов. Автор двух сборников стихов. Публиковался в журналах «Уральский следопыт», «Урал», «Фонтан». Живет в Кушве.

Ахпашева Наталья Марковна родилась в 1960 г. в с. Аскиз, Хакасия. Окончила Абаканский филиал Красноярского политехнического института, Литературный институт им. А. М. Горького. Кандидат филологических наук. Работает в Хакасском государственном университете им. Н. Ф. Катанова. Автор многочисленных журнальных публикаций и нескольких поэтических книг. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Республики Хакасия. Живет в Абакане.

Башкуев Геннадий Тарасович родился в 1954 г. в Улан-Удэ. Окончил филологический факультет Иркутского государственного университета. Прозаик, драматург. Пьесы поставлены в театрах РФ и ближнего зарубежья. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Современная драматургия», «Сюжеты». Член Союза писателей России. Живет в Улан-Удэ.

Васильцов (Пырков) Иван Владимирович родился в 1972 г. в Ульяновске. Доктор филологических наук, профессор Саратовской государственной юридической академии. Автор двух книг поэзии, книги очерков о саратовских писателях и монографии, посвященной русской усадебной литературе XIX в. Лауреат премии имени И. А. Гончарова. Живет в Саратове.

Гербер Денис Владимирович родился в 1977 г. в Ангарске. Окончил факультет филологии и журналистики Иркутского университета. Продюсер и сценарист киностудии «Ретрит фильм», ведущий программ на «Русском радио» (Иркутск). Публиковался в журналах «Дружба народов», «Сибирские огни», «Новый берег» и др. Живет в Ангарске.

Грант Янис родился в 1968 г. во Владивостоке. Автор пяти поэтических книг и книги прозы. Публиковался в журналах «Знамя», «Новый мир», «Урал», «Октябрь» и др. Стихи и проза переведены на французский, латышский и белорусский языки. Живет в Челябинске.

Зельдин Сергей Леонидович родился в 1962 г. в станице Ярославской Краснодарского края. Работал стеклодувом, инкассатором, бизнесменом. Публиковался в журналах «Волга», «Новый берег», «Крещатик», «Дружба народов» и др. Живет в Житомире (Украина).

Куравский Павел Владимирович родился в 1979 г. в Новосибирске. Окончил факультет журналистики Новосибирского государственного университета. Работал в СМИ. Лауреат ряда литературных премий и конкурсов. Участник Всероссийского содействия молодых литераторов при Союзе писателей России (2018). Автор сборника стихов «Зимний круг». Живет в Новосибирске.

Огарков Владислав Борисович родился в 1946 г. в Западной Украине в семье военных. Жил

на о. Сахалин, на Кавказе, в Подмосковье, в Эстонии. Окончил Иркутский госуниверситет. Работал в газетах, на радио. Путешественник, охотник, инструктор по спортивному туризму, резчик по дереву и бересте, журналист, член СП России. Живет в с. Шаманка Иркутской области.

Радашкевич Александр Павлович родился в 1950 г. в Оренбурге, вырос в Уфе. В 70-е годы жил и работал в Ленинграде. Эмигрировал в 1978 г. в США, работал в библиотеке Йельского университета (Нью-Хейвен). В 1984 г. переехал в Париж, где работал редактором в еженедельнике «Русская мысль». В 1991—1997 гг. был личным секретарем Великого князя Владимира Кирилловича и его семьи. Автор 11 книг поэзии, прозы и переводов. Член Союза российских писателей и Союза писателей XXI века, официальный представитель Международной Федерации русскоязычных писателей во Франции. Стихи переведены на английский, французский, немецкий, сербский, болгарский и арабский языки. Живет в Париже.

Романов Владимир Павлович родился в 1937 г. в Амурской области. Окончил Новосибирский педагогический институт. Работал в школах Сибири. Член Союза писателей России. Автор более 40 стихотворных сборников. Лауреат премии им. Н. Г. Гарина-Михайловского (Новосибирск). Живет в Новосибирске.

Соляная Ирина Владимировна родилась в 1976 г. в Воронежской области. Окончила юридический факультет Воронежского государственного университета. Кандидат юридических наук, действующий судья. Публиковалась в журналах «Аврора», «Южная звезда», «Млечный Путь». Победитель в номинации «Проза» литературной премии «Антоновка 40+». Автор двух поэтических сборников. Живет в Воронежской области.

Трушкина Анна Васильевна родилась в Иркутске. Окончила филологический факультет и аспирантуру Иркутского государственного университета, защитила кандидатскую диссертацию в Литературном институте им. А. М. Горького по творчеству Георгия Иванова. Публиковалась в иркутской периодике, альманахе «Зеленая лампа», журналах «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Дружба народов», «Знамя». Живет в Москве.

Чагин Владимир Васильевич родился в 1950 г. в поселке Таежный Канского района Красноярского края. Окончил отделение журналистики Иркутского государственного университета. Работал в газетах, издательствах. Автор юмористической «Истории Красноярска от основания до перестройки» (2012), ряда краеведческих книг. Живет в Красноярске.

Чирков Владимир Федорович родился в 1947 г. Кандидат философских наук. Заслуженный деятель культуры Омской области, член комиссии по искусствоведению и художественной критике ВТОО СХР, почетный член Российской академии художеств. Автор более 300 публикаций и научных трудов, куратор выставочных и научных проектов. Живет в Омске.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел. (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 12.08.2019. Дата выхода № 9 за 2019 г. в свет 16.09.2019.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.